П. Коганъ.

Очерки по исторіи новѣйшей русской литературы.

Томъ первый

Выпускъ II

П. Коганъ.

Очерки по исторіи новѣйшей русской литературы.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

Выпускъ II.

Изданіе второе

МОСКВА
Книгоиздательство „ЗАРЯ"
1910 г.

Типографія «Общественная Польза». Бол. Тверская-Ямская д. 20.

Предисловіе къ первому изданію.

Настоящій выпускъ представляетъ собою непосредственное продолженіе перваго выпуска „Очерковъ“. Вопреки первоначальному плану, представители чистой поэзіи (Тютчевъ, Фетъ и т. д.) войдутъ въ слѣдующій выпускъ.

Авторъ книги считаетъ своимъ долгомъ выразить глубокую благодарность Владимиру Владимировичу Каллашу, который оказалъ ему содѣйствіе при выполненіи настоящей работы своими цѣнными указаніями и совѣтами.

Май 1909. П. К.

Предисловіе ко второму изданію.

Настоящее второе изданіе печатается съ незначительными поправками и измѣненіями.

Іюнь 1910. П. К.

ОТДѢЛЪ IV.

Кающееся дворянство.—Лишніе люди.—И. С. Тургеневъ.—Л. Н. Толстой.—Д. В. Григоровичъ.

I.

Роль дворянства въ литературѣ 40-хъ и 60-хъ годовъ.—Появленіе разночинца въ литературѣ. — Его происхожденіе и міровоззрѣніе.—Зарожденіе крупной буржуазіи. — Идеологія дворянства и отношеніе писателей-дворянъ къ разночинской идеологіи: Тургеневъ.—Эстетическое направленіе: Тютчевъ, Фетъ и Майковъ.—Изображеніе буржуазіи въ литературѣ: Островскій и Гончаровъ. — Роль разночинцевъ въ исторіи развитія русской литературы.

Главныя общественно - литературныя направленія, охарактеризованныя выше, свидѣтельствуютъ о томъ, что русская литература въ 40-хъ и 50-хъ годахъ оставалась по преимуществу дворянской. До декабрьскихъ событій дворянство было единственнымъ классомъ, который могъ руководить политической и умственною жизнью народа. Мы уже видѣли, что послѣ 1825 г. правительство приняло энергичныя мѣры для того, чтобы парализовать умственную жизнь общества. Съ другой стороны возникла оффиціальная идеологія, консервативное общественно-литературное направленіе, въ которомъ правительственная система нашла свое философское литературное выраженіе. Разгромъ декабристовъ пробилъ глубокую брешь въ дворянскомъ классѣ. Лучшіе элементы сословія были выброшены за бортъ, сосланы или запуганы. Реакціонеры подняли голову и почувствовали свою силу. Дворянство, если такъ можно выразиться, разбилось на группы, но при всемъ своемъ различіи эти группы продолжали оставаться впо-

нѣ или въ своихъ преобладающихъ настроеніяхъ дворянскими и послѣ 14-го декабря. Оффиціальное народничество, славянофильство и западничество,—эти три главныхъ теченія 40-хъ годовъ, представители которыхъ сломали столько копій во взаимной борьбѣ,—имѣли одинъ общій признакъ: подавляющее большинство писателей, стоявшихъ во главѣ каждаго изъ этихъ теченій, принадлежало къ дворянскому сословію, и тѣ идеи, которыя они проводили, были вскормлены либо долгой привычкой къ политическому командованію, либо атмосферой усадебной культуры, либо скорбью о начинающемся разложеніи этой культуры. Крѣпостное право, а вмѣстѣ съ нимъ и усадебный бытъ пали въ 60-хъ годахъ, но періодъ между декабрьскимъ бунтомъ и 60-ми годами былъ преддверіемъ новой жизни, предчувствіемъ гибели отживающаго дворянскаго строя. Новыя условія экономической жизни, развитіе мѣнового и денежнаго хозяйства и рядъ другихъ причинъ *) сдѣлали невозможнымъ дальнѣйшее существованіе крѣпостного строя. И разложеніе его давало себя чувствовать задолго до его оффиціальной отмѣны. Какъ всегда бываетъ въ эпохи кризиса, въ моментъ умиранія извѣстной хозяйственной формы жизни, тотъ классъ, который долженъ утратить свое господствующее положеніе, дѣлаетъ послѣднія усилія, чтобы удержать за собою прежнюю роль. Оффиціальная народность была выраженіемъ этихъ усилій дворянства. Глубокая связь, существовавшая между крѣпостнымъ правомъ и идеологіей оффиціальной народности, лучше всего высказалась въ словахъ Уварова, увѣрявшаго, что крѣпост-

---

*) Объ условіяхъ хозяйственной жизни, вызвавшихъ паденіе крѣпостного права, см.: Н. А. Рожковъ, „Экономическое развитіе Россіи въ первой половинѣ XIX в.“ („Ист. Россіи“, изд. Гранатъ).

ное право одно осталось отъ всего, что было „прежде Петра I“, и что оно не можетъ быть тронуто „безъ всеобщаго потрясенія“.

Таково было первое естественное русло, по которому устремилась мысль господствующаго класса, когда смѣна хозяйственныхъ формъ жизни потрясла его господство. Это былъ путь консерватизма, стремленіе спасти то, чего нельзя спасти.

Но, какъ всегда бываетъ въ такія эпохи умиранія, среди господствующей группы оказались и прогрессивные элементы, которые стремились принять участіе въ новой жизни и желали такъ или иначе разрѣшить назрѣвшія новыя задачи. Славянофильство и западничество были выраженіемъ этихъ прогрессивныхъ стремленій. Первое не заключало въ себѣ зерна жизни. Несмотря на прогрессивный характеръ своего ученія, славянофилы могли видѣть русскую жизнь только подъ тѣмъ угломъ зрѣнія, который установился вѣками на основахъ общинно-земледѣльческаго быта. Отвлеченный характеръ ихъ ученія, ихъ идеализмъ, отсутствіе реальныхъ устоевъ въ ихъ идеяхъ,—все это результатъ несоотвѣтствія между ихъ демократическими стремленіями, съ одной стороны, и усадебнымъ бытомъ, въ предѣлахъ котораго они хотѣли осуществить эти стремленія,—съ другой. Нельзя было, съ одной стороны, любить народъ, идеализировать его, желать ему свободы и человѣчески-достойнаго существованія, а съ другой—идеализировать старую православно-монархическую Россію, говорить о смиреніи народа, объ его отвращеніи къ государствованію, объ его индифферентномъ отношеніи къ политической жизни страны. Въ общественномъ смыслѣ славянофильство, его отвлеченная любовь и интересъ къ народу были такимъ же симптомомъ разложенія дворянско-крѣпостническаго строя, какъ и консервативное мракобѣсіе оффиціальнаго народничества.

Зерно жизни, какъ показала послѣдующая исторія таило въ себѣ только то направленіе, которое носил неточное названіе западничества. Но причиной ег жизненности служило то обстоятельство, что оно с самаго начала стало втягивать въ среду своихъ пред ставителей недворянскіе элементы. Именно—кружки культивировавшіе это направленіе, послужили кана лами, черезъ которые мыслящая часть дворянства со вершила переходъ отъ своихъ классовыхъ традицій къ новымъ задачамъ русской общественной мысли Одинъ фактъ появленія Бѣлинскаго среди дворянской интеллигенціи былъ въ этомъ отношеніи яркимъ по казателемъ. Огромное вліяніе, которымъ пользовался этотъ первый великій разночинецъ въ литературѣ, все еще дворянской по настроенію, свидѣтельствовало о томъ, въ какую сторону должна была направиться мыслящая часть дворянства, не желавшая примкнуть къ реакціи или къ славянофильскимъ утопіямъ. Этотъ путь былъ одинъ—сліяніе съ тѣми свѣжими силами, съ тѣми новыми общественными группами, которыя могли разрѣшить проблему, непосильную дворянскому классу. Постепенное торжество разночинскаго элемента и идей, принесенныхъ имъ, составляетъ самое характерное явленіе изучаемой эпохи. Если вначалѣ разночинецъ втягивается въ дворянскую литературу и поддается воздѣйствію дворянской идеологіи, то постепенно разночинскій элементъ усиливается, затѣмъ пріобрѣтаетъ господствующее положеніе и втягиваетъ въ кругъ своихъ идей прогрессивные элементы дворянства. Вотъ почему въ тѣхъ кружкахъ, которые мы встрѣчаемъ въ 40-хъ годахъ, сливаются старыя усадебныя традиціи и новыя демократическія идеи. Первая встрѣча прогрессивныхъ, мыслящихъ дворянъ и разночинцевъ привела къ своеобразной поэзіи, въ которой сенъ-симонизмъ уживался рядомъ съ тайной, а иногда и явной тоской о патріархальныхъ формахъ

крѣпостного быта. Вотъ почему западническое направленіе даже не можетъ быть причислено къ дворянскимъ теченіямъ. Оно завоевывало себѣ все болѣе господствующее положеніе по мѣрѣ освобожденія отъ дворянскихъ традицій и усиленія разночинскаго элемента и новыхъ идей, принесенныхъ разночинцами.

Что такое разночинство? Возникновеніе его вызвано тоже разложеніемъ формъ крѣпостного хозяйства. До паденія этого послѣдняго разночинцы существовали въ литературѣ, но они представляли незначительное меньшинство. Съ паденіемъ крѣпостного права они властно заявляютъ о себѣ. Подъ разночинцами слѣдуетъ разумѣть нечиновную и недворянскую интеллигенцію и ту часть мыслящаго дворянства, которая отрѣшилась отъ своихъ классовыхъ традицій. Только интеллигентный пролетарій органически чувствовалъ необходимость уничтоженія стараго строя отношеній, въ которомъ онъ не находилъ простора для примѣненія своихъ силъ. Бѣлинскій — первая ласточка этой весны. Онъ былъ первымъ яркимъ представителемъ той группы, которой принадлежало ближайшее будущее. Онъ не имѣлъ въ своемъ распоряженіи тѣхъ наслѣдственныхъ земель, которыя достались Герцену и другимъ его сверстникамъ. Ему приходилось тяжелымъ трудомъ завоевывать себѣ средства къ существованію. Его знанія и талантъ были его единственнымъ оружіемъ въ борьбѣ за жизнь. Правда, Бѣлинскій не доставилъ еще торжества разночинскому міросозерцанію. Онъ жилъ въ эпоху преобладанія дворянской идеологіи и самъ въ значительной мѣрѣ втягивался въ кругъ идей прогрессивнаго дворянства. Но это не помѣшало ему стать предшественникомъ Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева, которые въ качествѣ представителей разночинской интеллигенціи въ 60-хъ годахъ заняли господствующее положеніе въ литературѣ. У Бельтова („За

двадцать лѣтъ") мы находимъ мѣткую характеристику разночинца. „Жить зря", бродить „разочарованнымъ" безъ всякаго дѣла онъ не можетъ уже потому, что онъ не помѣщикъ, а пролетарій, хотя бы и дворянскаго происхожденія. Онъ долженъ въ потѣ лица своего зарабатывать хлѣбъ свой. Нашъ разночинецъ прежде всего спеціалистъ,—химикъ, механикъ, медикъ, ветеринаръ и т. п. Правда, при современныхъ порядкахъ въ Россіи онъ также часто, почти всегда, оказывается „скованнымъ для дѣйствительности", если только не хочетъ входить со своей совѣстью въ постыдныя сдѣлки. Въ этомъ-то и заключается трагизмъ его положенія, потому-то голова его полна „проклятыхъ" вопросовъ. Но онъ уже не складываетъ рукъ передъ окружающими его препятствіями, онъ смѣется надъ безплоднымъ разочарованіемъ, онъ ищетъ практическаго выхода, стремится передѣлать общественныя отношенія. Поэтому общественные интересы преобладаютъ у него надъ всѣми прочими. Чисто литературные вопросы занимаютъ его сравнительно очень мало. На первыхъ порахъ онъ совершенно отрицалъ эстетику, смѣялся надъ Пушкинымъ, а позднѣе хотя и отказался отъ этихъ крайностей, но восхищался искусствомъ и поэзіей только мимоходомъ, не считая ихъ за настоящее дѣло и предпочитая имъ статьи по общественнымъ вопросамъ и изслѣдованіе народной жизни. Жестоко ошибаются, однако, тѣ, которые считаютъ его „грубымъ матеріалистомъ". Онъ какъ нельзя болѣе далекъ отъ нравственнаго матеріализма. Въ своей нравственности онъ—чистокровный идеалистъ, но его идеализмъ благодаря особенностямъ его общественнаго и историческаго положенія носитъ особенный отпечатокъ. Онъ—протестантъ и борецъ по самому своему положенію. Его вниманіе поглощено борьбой, и ему просто „некогда заниматься словесностью" ради словесности, „боготворить красоту", наслаждаться ис-

кусствомъ. Онъ увлекается той поэзіей, которая „проявляется въ подвигахъ, а не въ словахъ“. И его общественная дѣятельность чрезвычайно богата примѣрами того, что можно назвать поэзіей подвига. Отсюда его пренебреженіе къ отдѣльной рѣчи, его неуклюжій и грубый, иногда неправильный языкъ. Онъ презираетъ философію, не любитъ Гегеля, не знаетъ иностранныхъ языковъ, и все это отличаетъ его отъ идеалистовъ 40-хъ годовъ, съ которыми онъ сходится только въ одномъ, что такъ же, какъ и они „честенъ мыслью сердцемъ чистъ“.

Таковы были главныя группы, оказавшія вліяніе на развитіе русской литературы въ изучаемую эпоху. Рядомъ съ ними слѣдуетъ отмѣтить появленіе крупной буржуазіи, которая въ эпоху паденія крѣпостного права еще не составляла особаго класса съ специфическими особенностями, свойственными капиталисту нашего времени. Въ то время трудъ и капиталъ еще не стояли враждебно другъ противъ друга, и капиталисты не представляли изъ себя могущественной группы, психика которой въ ея главныхъ основахъ опредѣлялась опасностью пролетарскаго движенія. Въ этой нарождающейся группѣ уже въ изучаемую эпоху обозначались разнородныя теченія. Рядомъ съ образованнымъ купечествомъ выступали самодуры-торговцы. Первые, въ родѣ Боткина, представители крупнаго купечества, желали развитія въ Россіи буржуазіи по примѣру Запада, гдѣ она стояла во главѣ умственной и экономической жизни страны. Они были заражены общимъ идеализмомъ эпохи, склонны были внести поправки въ экономическія отношенія Запада, выражали сочувствіе рабочему классу, но выше всего цѣнили духъ дѣловитости и честнаго предпринимательства и въ его развитіи видѣли выходъ и спасеніе Россіи. Классовыя противорѣчія между трудомъ и капиталомъ еще не были ясны, и потому представители

образованнаго купечества еще не имѣли предъ собою въ конкретной формѣ той новой проблемы, которая должна была народиться вмѣстѣ съ развитіемъ капитализма, именно рабочаго вопроса. Вотъ почему, быть можетъ, даже и не слѣдуетъ выдѣлять тогдашнюю образованную часть буржуазіи въ особую группу, и правильнѣе было бы разбить все мыслящее общество на двѣ группы: дворянскую и недворянскую. Темныя стороны тогдашняго купечества развивались на основахъ патріархальныхъ формъ, которыхъ держалась еще торговля. Эти темныя стороны заключались въ самодурствѣ и деспотизмѣ въ семьѣ и въ лавкѣ, въ мелкихъ и крупныхъ мошенничествахъ, культивируемыхъ на почвѣ отсутствія строгихъ юридическихъ отношеній, на почвѣ патріархальнаго довѣрія, взяточничества и бюрократическаго произвола.

Отмѣтивъ главныя общественныя группы, опредѣлявшія ходъ русской литературы въ 40-хъ и 60-хъ годахъ, необходимо, хотя бы въ краткихъ чертахъ, выяснить, какъ встрѣтились въ литературѣ различныя идеологіи, выросшія на почвѣ этихъ групповыхъ интересовъ и какія общественно-литературныя направленія возникли благодаря ихъ встрѣчѣ.

Писатели, принадлежавшіе къ группѣ мыслящаго прогрессивнаго дворянства, создали своеобразную поэзію умирающей барской культуры,—поэзію, полную трогательной грусти. Въ ихъ изображеніи исчезающаго міра часто больше тоски объ этомъ мірѣ, чѣмъ яснаго сознанія новыхъ нарождающихся формъ жизни. Тургеневъ — лучшій представитель этого теченія въ русской литературѣ. Поэзія Тургенева — величайшій памятникъ этой эпохи. Она увѣковѣчила важный моментъ въ исторіи русской общественности, показала, какъ всѣ общественныя движенія, всѣ идеи, выдвигавшіяся различными группами, нарождавшимися въ теченіе 40-хъ и 60-хъ годовъ, преломлялись въ умѣ

прогрессивнаго русскаго дворянина, воспитавшагося на идеалахъ 40-хъ годовъ. Онъ не только отразилъ тоску этого дворянина въ лицѣ своихъ „лишнихъ людей", въ лицѣ Рудиныхъ и Лаврецкихъ. Онъ всю жизнь искалъ „настоящаго" человѣка, того, кто поведетъ общество впередъ, того, кто укажетъ выходъ, и не находилъ этого человѣка среди новыхъ людей или не могъ понять его.

Это разочарованіе и этотъ безсильный порывъ къ дѣлу были однимъ изъ главныхъ мотивовъ поэзіи прогрессивнаго дворянства. Разсмотримъ теперь, какъ встрѣтились въ литературѣ дворянская и разночинская идеологія. Мы уже указывали на то, что эта встрѣча въ общемъ носила дружественный характеръ. Но, можетъ-быть, нигдѣ не сказывается такъ ярко живучесть классовой психики, какъ именно въ этой встрѣчѣ. Въ изображеніи разночинца писателями-дворянами всегда сохранялся барскій оттѣнокъ и извѣстная доля непониманія. Лучшій примѣръ—тургеневскій Базаровъ. Въ отношеніи къ нему автора чувствуется скорѣе нѣчто въ родѣ изумленія къ чуждой натурѣ, чѣмъ глубокое пониманіе ея. И въ произведеніяхъ Л. Толстого, который сталъ совѣстью новаго человѣчества, мы встрѣтимъ на первыхъ порахъ тотъ же преобладающій мотивъ и тотъ же типъ кающагося дворянина, старающагося уплатить вѣковой долгъ дворянства народу. Какъ великій моралистъ и художникъ, Толстой сумѣетъ впослѣдствіи расширить тоску своей дворянской совѣсти въ великое нравственное ученіе, сумѣетъ окинуть весь міръ окомъ привилегированнаго человѣка, постигшаго всю глубину нравственнаго паденія господствующихъ классовъ, питающихся трудомъ народныхъ массъ и взявшихъ себѣ право командованія этими массами. Но въ изучаемую эпоху Толстой тоже, подобно Тургеневу, является прежде всего пѣвцомъ той тоски, тѣхъ сомнѣній и порывовъ

къ дѣлу, которые овладѣли душой мыслящаго дворянина. Народъ является не столько предметомъ главнаго вниманія Толстого, сколько фономъ, на которомъ развертывается душевная драма дворянина. Никто не станетъ отрицать, что образы крестьянъ, выведенныхъ въ „Утрѣ помѣщика", нарисованы кистью геніальнаго художника. Но, съ другой стороны, можно ли спорить о томъ, что ихъ назначеніе заключается въ томъ, чтобы помочь автору глубоко проникнуть во внутренній міръ центральнаго героя Нехлюдова. Точно также и Платонъ Каратаевъ въ „Войнѣ и мирѣ", это раннее воплощеніе будущихъ нравственныхъ идеаловъ Толстого, является въ качествѣ эпизодическаго лица для того, чтобы сыграть крупную роль въ исторіи нравственнаго развитія Пьера Безухова. При всемъ различіи талантовъ Тургенева и Толстого, при всемъ несходствѣ путей, по которымъ направилась ихъ мысль, поэзія того и другого выросла на почвѣ этого интереса къ тоскѣ кающагося дворянина, его стремленія послужить народу, на почвѣ пробудившагося въ немъ, съ потрясеніемъ крѣпостного строя, сознанія, что въ основѣ его жизни лежитъ ложь. Неудивительно поэтому, что, рисуя ужасы крѣпостного права, и Тургеневъ, и Толстой останавливаютъ свое вниманіе не на самомъ фактѣ эксплоатаціи крестьянства, не на противорѣчіи классовыхъ интересовъ крестьянства и дворянства, — словомъ, не на томъ фактѣ, который былъ первоосновой всѣхъ темныхъ сторонъ тогдашней жизни. Они предпочитаютъ изображать Рудиныхъ, Лаврецкихъ и Нехлюдовыхъ, т.-е. людей благородныхъ, умѣющихъ идеально любить женщинъ, литературу, философію и справедливость. Въ совершающемся на ихъ глазахъ великомъ историческомъ процессѣ ихъ взоръ останавливается съ любовью и сочувствіемъ на мукахъ, которыми сопровождается умираніе прошлаго, но этотъ взоръ не всегда ясно различаетъ элементы будущаго.

На этой же почвѣ выросли и два прославленныхъ разсказа Григоровича, который своими искусственными мужиками, изображенными кистью нѣсколько сантиментальнаго барина, пытался послужить народу, душу котораго ему трудно было понять глубоко.

Въ эпохи крушенія сложившихся формъ хозяйственной жизни, пессимизмъ и эстетизмъ часто шли рука-объ-руку. Для просвѣщенной части господствующаго класса, не умѣющей по своему общественному положенію, по своимъ вкусамъ и традиціямъ сразу слиться съ новыми общественными группами, остается выходъ не только въ тоскѣ и пессимизмѣ. Эта просвѣщенная группа, не нашедшая своимъ силамъ примѣненія въ возникающемъ мірѣ новыхъ отношеній, часто находитъ для этихъ силъ выходъ въ отвлеченной философской дѣятельности, въ чистомъ искусствѣ, въ повышенномъ интересѣ къ эстетическимъ и философскимъ проблемамъ. Байронъ и Шатобріанъ, жившіе въ эпоху ликвидаціи феодальныхъ отношеній, были одновременно эстетами и пессимистами, поэтами міровой скорби и романтиками. Неудивительно поэтому, что рядомъ съ меланхолически-нѣжной поэзіей умирающаго барства, рядомъ съ пессимизмомъ и разочарованіемъ Рудиныхъ мыслящая часть дворянства выдвигаетъ поэтовъ чистаго искусства, которымъ жизнь и природа представляются отраженіемъ высшей гармоніи, блѣднымъ снимкомъ сверхчувственнаго міра. Поэты этого направленія, Фетъ, Майковъ, Тютчевъ, свято охраняютъ неприкосновенность искусства, стоятъ въ сторонѣ отъ общественной и политической борьбы. Они—пѣвцы того заоблачнаго міра, въ который всегда можетъ уйти мысль человѣка, утомленнаго жизнью, утратившаго вѣру въ силы общества, въ его власть надъ ходомъ этой жизни. Эта поэзія всегда выдвигается обществомъ въ эпохи кризисовъ, является для

него утѣшеніемъ въ разочарованіяхъ, поддерживая представленіе о надземной гармоніи, въ которой разрѣшаются противорѣчія скорбнаго земного существованія. Этимъ объясняется, почему эстетическое направленіе нашего времени, вскормленное кризисомъ современнаго буржуазнаго строя жизни, снова съ любовью обратило свой взоръ къ этимъ поэтамъ, которые воплотили въ безсмертные стихи безсильное томленіе по идеальной гармоніи.

Разсмотримъ теперь, какъ отнеслась дворянская литература къ другимъ общественнымъ теченіямъ, выдвинутымъ русской дѣйствительностью. Городской пролетаріатъ, который начиналъ завоевывать себѣ первые шаги въ художественной литературѣ, почти не затронутъ писателями-дворянами. Въ то время, какъ Успенскій уже изображалъ городской пролетаріатъ въ „Нравахъ Растеряевой улицы", а Чернышевскій и теоретически, и въ художественной формѣ разрабатывалъ вопросы соціализма, для Тургенева и Толстого пролетарскій классъ и то направленіе соціализма, которое связано съ его появленіемъ на исторической аренѣ, оставались чуждыми. Тургеневъ почти не касается городского пролетаріата. Даже въ его перепискѣ съ Герценомъ, по поводу соціалистическихъ идей этого послѣдняго, вопросъ идетъ только о мужикѣ. Само собою разумѣется, что въ эту эпоху нельзя было предвидѣть грядущаго значенія городского пролетаріата, и поскольку писатели-дворяне въ родѣ Герцена развивали соціалистическія идеи,—эти идеи они старались осуществить въ формахъ того уклада жизни, который сложился въ русской деревнѣ въ эпоху крѣпостничества. Это неумѣніе типичныхъ писателей-дворянъ разобраться въ новыхъ направленіяхъ, обнаружившихся въ русской общественной мысли, ярко характеризуется самымъ заглавіемъ тургеневскаго романа „Дымъ". Тургеневъ нашелъ слово, опре-

дѣлявшее съ точки зрѣнія стараго барства смыслъ общественной борьбы, разыгравшейся внѣ предѣловъ усадебной и деревенской психики. Это слово—дымъ. Дымомъ представлялись рѣчи и споры новыхъ людей писателю, который и въ этомъ романѣ не могъ скрыть своей симпатіи къ старымъ дворянскимъ гнѣздамъ. Дальше мы увидимъ, что Толстой въ эту эпоху былъ склоненъ рисовать патріархально-идиллическія картины деревенской жизни и такъ же далеко стоялъ отъ новыхъ теченій умственной жизни. Къ революціоннымъ кружкамъ дворянская литература отнеслась отрицательно. Въ „Нови“ революціонное движеніе представлено въ качествѣ безпочвенной затѣи, непродуманныхъ попытокъ. Революціонеры изображены либо незрѣлыми энтузіастами, либо узкими фанатиками идеи. И здѣсь талантъ Тургенева достигаетъ своего прежняго блеска, главнымъ образомъ при изображеніи страданій кающагося дворянина, его разочарованія въ революціонной дѣятельности.

Мы намѣтили тѣ главные мотивы, которые должны были звучать въ художественномъ творчествѣ писателей-дворянъ. Это были меланхолическіе мотивы, выражавшіе тоску просвѣщенной части стараго барства, или культъ чистаго искусства, или безсильный порывъ къ дѣлу. Сталкиваясь съ представителями другихъ общественныхъ классовъ, лучшіе художники дворянскаго класса умѣли улавливать ихъ типичныя черты, нерѣдко выводили ихъ въ качествѣ людей настоящаго дѣла, предвидѣли ихъ грядущее общественное значеніе. Но въ общемъ въ томъ изображеніи буржуазіи, разночинца, революціонера, народа, которое мы встрѣчаемъ въ дворянской литературѣ, всегда оставался элементъ непониманія и отчужденія, и нужно было появленіе писателей изъ буржуазной среды, писателей-разночинцевъ, писателей изъ народа для того,

чтобы буржуазія, разночинцы и народъ нашли своихъ собственныхъ правдивыхъ бытописателей, пѣвцовъ своихъ чувствъ и настроеній.

Выяснивъ отношеніе прогрессивной дворянской литературы къ различнымъ общественнымъ группамъ и ихъ идеологіи, разсмотримъ теперь, какъ, въ свою очередь, общественно-литературныя теченія, созданныя этими послѣдними, отнеслись къ дворянству, къ самимъ себѣ и другъ къ другу. Лучшими изобразителями возникающаго класса крупной буржуазіи были Островскій и Гончаровъ. Первый увѣковѣчилъ нравы купечества, сохранявшаго патріархальныя формы отношеній, деспотизмъ и самодурство, возникшія на основахъ этихъ формъ. Гончаровъ вывелъ передъ нами мыслящихъ представителей зарождающагося капитализма, далъ, если можно такъ выразиться, идеологію этого класса. Гончаровъ перенесъ центръ вниманія изъ деревни въ городъ, и сообразно съ этимъ литература пріобрѣла другой колоритъ. Меланхолія и трогательная поэзія умиранія, вѣющая надъ романами Тургенева, смѣняется дѣловой атмосферой въ романахъ Гончарова. Къ старому барству идеологъ буржуазіи отнесся безпощадно. Въ лицѣ Обломова онъ категорически осудилъ Рудиныхъ и Лаврецкихъ, тѣхъ лишнихъ людей, которыхъ Тургеневъ не могъ не окружить поэтическимъ ореоломъ. Въ лицѣ Адуева и Штольца онъ возвеличилъ тотъ умѣренный либерализмъ, практицизмъ, тотъ культъ полезнаго и дѣлового, который должна была воздвигнуть просвѣщенная часть буржуазіи на мѣсто отживающихъ представленій. Такъ же сурово отнеслась буржуазная мысль къ нигилисту и вообще революціонеру, что ярко сказалось въ фигурѣ Марка Волохова, который изображенъ Гончаровымъ далеко въ не привлекательныхъ чертахъ. Перенеся въ „Обыкновенной исторіи“ дѣйствіе снова изъ города въ деревню, Гончаровъ склоненъ даже къ

идеализаціи барства на счетъ революціонера Волохова, хотя и здѣсь, какъ всегда, его симпатіи склоняются на сторону трезвыхъ и дѣловитыхъ людей, въ родѣ Штольцевъ и Тушиныхъ. Въ общемъ, однако, буржуазная идеологія въ изучаемую эпоху не получила своего полнаго выраженія, хотя въ ней обозначились уже типичныя черты класса, которому предстояло занять господствующее положеніе въ слѣдующія десятилѣтія.

Болѣе крупное вліяніе на ходъ русской литературы оказало появленіе разночинца. Мы видѣли уже, что встрѣча прогрессивной части дворянства съ разночинцемъ въ лицѣ Бѣлинскаго носила на первыхъ порахъ совершенно дружескій характеръ. Черезъ разночинцевъ даже совершался переходъ мыслящаго дворянства къ новымъ идеямъ. Но тѣмъ не менѣе какъ въ изображеніи разночинца писателями-дворянами скрывалась доля отчужденности и непониманія, такъ съ своей стороны писатели-разночинцы проявляли съ самаго начала извѣстное отрицательное отношеніе къ барской идеологіи, а въ 60-хъ годахъ это отношеніе перешло въ открытую вражду. Достаточно вспомнить некрасовскую „Родину", чтобы понять, въ какомъ свѣтѣ рисовались разночинцу дворянскія гнѣзда, съ такой любовью обрисованныя Тургеневымъ. Если Рудинъ и Лаврецкій представляютъ собою „лишнихъ людей" передъ мягкимъ судомъ „своего" же брата-дворянина, если Обломовъ воплощаетъ тѣхъ же героевъ передъ болѣе суровымъ судомъ просвѣщеннаго идеолога дѣловитой буржуазіи, то некрасовскій Агаринъ—лишній человѣкъ, заклейменный безпощаднымъ приговоромъ разночинца, подошедшаго къ нему съ желчью и горечью. Въ концѣ 50-хъ и въ началѣ 60-хъ годовъ происходитъ открытый разрывъ разночинцевъ въ лицѣ Добролюбова и Чернышевскаго съ идеалистами 40-хъ годовъ. Особенно жестоко обру-

шивается на „лишнихъ людей“ Добролюбовъ. Рѣзкому осужденію подвергается ихъ непригодность къ дѣлу, ихъ склонность къ отвлеченному философскому мышленію. Писаревъ, чувствовавшій связь между прогрессивными тенденціями разночинской литературы и идеализмомъ предшествовавшаго поколѣнія, былъ, однако, воплощеннымъ отрицаніемъ этого мечтательнаго безпочвеннаго идеализма, которому онъ противопоставилъ прямолинейный матеріализмъ и „разрушеніе эстетики“. Впослѣдствіи, когда кончился этотъ великій споръ между „отцами и дѣтьми“, стало ясно, что тоска „лишнихъ людей“ и мятежный пылъ разрушителей вытекали изъ одного и того же горячаго чувства любви къ правдѣ и народу, и генетическая пріемственность между обоими направленіями стала безспорнымъ фактомъ.

Если писатели-разночинцы отнеслись въ общемъ отрицательно къ тоскѣ просвѣщенныхъ дворянъ, оставшихся не у дѣлъ, если по отношенію къ идеологіи, созданной этими послѣдними, писатель-разночинецъ занялъ положеніе разрушителя,—зато литература, возникшая съ появленіемъ разночинца, дала яркую картину быта и глубокое освѣщеніе внутренняго міра тѣхъ общественныхъ слоевъ, которые не могли найти правильнаго освѣщенія у писателей-дворянъ. Городская бѣднота, чиновничій пролетаріатъ, наконецъ, самъ разночинецъ, интеллигентъ, профессіоналъ, пробивающій себѣ дорогу,—эти элементы общества, остававшіеся въ тѣни у писателей-дворянъ, становятся любимыми героями писателей-разночинцевъ. Мы встрѣтимъ ихъ въ раннихъ разсказахъ Достоевскаго, у Успенскаго, Помяловскаго, въ пѣсняхъ Некрасова. Наконецъ, и всѣ прежнія общественно-литературныя направленія пріобрѣтаютъ новую окраску подъ перомъ писателя-разночинца. Соціализмъ пріобрѣтаетъ болѣе опредѣленныя формы у Чернышевскаго, который въ своемъ ро-

манѣ „Что дѣлать“ проводитъ идеи Фурье и у котораго мы не встрѣчаемъ мечтательнаго оттѣнка, окрашивавшаго соціалистическія идеи Герцена. Разночинская литература иначе отнеслась къ революціонному движенію, чѣмъ писатели-дворяне, обнаружила больше интереса къ нарождающемуся пролетаріату, придала болѣе демократическую окраску народничеству. Даже та моральная струя въ русской художественной литературѣ, которая нашла свое благороднѣйшее выраженіе въ философскихъ трудахъ Толстого, окрашена въ произведеніяхъ разночинца Достоевскаго горечью и страданіемъ *).

Таковы общественныя группы, настроенія и чувства которыхъ отразились въ литературѣ изучаемой эпохи. Только ознакомившись съ этими общественными группами и съ тѣми отношеніями, въ которыя они стали другъ къ другу, можно перейти къ изученію отдѣльныхъ писателей и литературныхъ направленій. Мы не имѣемъ въ виду дать полный обзоръ русской художественной литературы изучаемой эпохи. Наша задача заключается въ томъ, чтобы охарактеризовать литературную дѣятельность главныхъ представителей трехъ вышеуказанныхъ общественныхъ группъ. Причемъ въ настоящемъ выпускѣ мы ограничимся наиболѣе крупными художниками, отразившими въ своихъ твореніяхъ настроенія и чувства стараго барства. Выдающимся представителямъ литературы, отразившей первые шаги нарождающейся буржуазіи и міровоззрѣніе разночинца, будетъ посвященъ слѣдующій выпускъ. Писатели этихъ группъ очень часто являются почти сверстниками или выступленіе ихъ на литературное поприще приходится на близкіе другъ къ другу пері-

*) Въ настоящемъ томѣ мы имѣли въ виду охарактеризовать только тѣхъ писателей, литературная дѣятельность которыхъ типична для 40-хъ годовъ. Вотъ почему идеологіи 60-хъ гг. мы касаемся лишь вскользь, поскольку она уясняетъ идеологію 40-хъ гг. Характеристика 60-хъ гг. будетъ дана въ слѣдующемъ томѣ.

оды. Тургеневъ родился въ 1818, Л. Толстой —въ 1828, Григоровичъ—въ 1822, представители чистой поэзіи, Фетъ и Майковъ, родились: первый—въ 1820, второй—въ 1821 г., Алексѣй Толстой родился въ 1817, Тютчевъ—въ 1803 г. Наконецъ, два писателя, у которыхъ мы находимъ наиболѣе яркое изображеніе представителей буржуазіи, Гончаровъ и Островскій, родились: первый—въ 1812, а второй—въ 1823 г. Творенія этихъ писателей являются великимъ памятникомъ, увѣковѣчившимъ чувства и настроенія русскаго общества въ изучаемую эпоху.

II.

Тургеневъ. -Впечатлѣнія дѣтства и юности.—Крѣпостное право, усадебная обстановка, университетъ, Бѣлинскій.—«Записки охотника» и аннибалова клятва.—Роль „Записокъ охотника" въ развитіи антикрѣпостническихъ идей.—Разсказы, проникнутые духомъ протеста противъ крѣпостного права.—Разсказы, освѣщающіе лучшія черты русскаго крестьянства, его идеализмъ, его нравственныя представленія и творческую силу.

Тургеневъ—лучшій представитель той поэзіи, которая отразила настроеніе мыслящаго барства въ эпоху разложенія крѣпостного хозяйства. Онъ принадлежалъ къ числу просвѣщеннѣйшихъ людей своего времени. На всю жизнь сохранилъ онъ ту привычку, которую усвоили люди сороковыхъ годовъ,—привычку отводить всякое явленіе къ общему началу. До конца жизни онъ оставался не только великимъ художникомъ, но и мыслителемъ, который стремился разобраться въ совершающихся явленіяхъ, стремился установить общую точку зрѣнія на нихъ. Ни одно крупное общественное или философское теченіе не прошло мимо Тургенева. Онъ чутко откликался на каждое, старался занять по отношенію къ каждому опредѣленную позицію. Благодаря этому, оставленное имъ литературное наслѣдіе—не только крупный художественный памятникъ, озарившій съ новыхъ сторонъ внутренній міръ человѣка. Его произведенія — великій культурно-историческій памятникъ, увѣковѣчившій важный періодъ въ исторіи

нашей общественности. Всѣ вопросы, волновавшіе русское общество начиная съ сороковыхъ годовъ и кончая шестидесятыми, затронуты Тургеневымъ. Различныя общественныя группы, принявшія участіе въ умственной работѣ, подготовлявшей дѣло освобожденія русскаго народа отъ устарѣвшихъ формъ хозяйственной и политической жизни, выведены Тургеневымъ, хотя не всегда онъ могъ вѣрно понять ихъ. И надъ всей этой полосой русской общественной жизни, воспроизведенной въ его творчествѣ, лежитъ грустный колоритъ, который наложила на нее кисть художника-дворянина, воспитаннаго въ обстановкѣ усадебнаго быта,—художника, который въ изображаемомъ имъ процессѣ лучше умѣлъ чувствовать закатъ догорающаго міра, чѣмъ первые яркіе проблески зари будущаго.

Жизнь Тургенева, впечатлѣнія дѣтства и юности обусловили характеръ этой поэзіи. Это тѣ впечатлѣнія, которыя разбудили не одного барчука той эпохи. Ужасы крѣпостного права, свѣтлое воспоминаніе о какомъ-нибудь дворовомъ, который своими качествами навсегда поселилъ доброе чувство къ народу, гувернеры и гувернантки, отвращеніе къ гнету и насилію и въ то же время извѣстная привычка къ барской праздности, которой вполнѣ нельзя было искоренить уже никогда впослѣдствіи, несмотря на усилія просвѣщеннаго ума и чуткой совѣсти,—эти впечатлѣнія общи и для Тургенева, и для Герцена, и для славянофиловъ, выросшихъ въ усадебной атмосферѣ, въ обстановкѣ стараго барства.

Если Герцену не пришлось видѣть самыхъ страшныхъ картинъ крѣпостного быта, такъ какъ въ его семьѣ сравнительно хорошо обращались съ людьми, то Тургеневъ не могъ этого сказать о себѣ. Отецъ его былъ свѣтскимъ человѣкомъ, гусарскимъ офицеромъ, который прельстилъ его мать своей необыкновенной красотой и изяществомъ. Въ смыслѣ внутренняго со-

держанія красивый жуиръ былъ, повидимому, довольно безцвѣтнымъ существомъ. Зато мать Тургенева обладала властной и жестокой натурой. Не только къ крѣпостнымъ, но и къ дѣтямъ она была безпощадна. Тургенева, по его собственнымъ словамъ, „драли“ безъ всякой жалости чуть ли не каждый день. Однажды старая приживалка за что-то донесла на него матери. „Мать безъ всякаго суда и расправы тотчасъ же начала меня сѣчь, сѣкла собственными руками и на всѣ мои мольбы сказать, за что меня наказываютъ, приговаривала: самъ знаешь, самъ долженъ знать, самъ догадайся, за что я сѣку тебя“. Мальчика довели до того, что онъ хотѣлъ бѣжать изъ родного дома. Если мать Тургенева такъ обращалась съ дѣтьми, то нетрудно представить себѣ, что продѣлывала жестокая помѣщица со своими крѣпостными. Здѣсь царила система издѣвательствъ и утонченнаго мучительства. Дѣтей отнимали отъ родителей, раздѣляли любящихъ людей, не жалѣли розогъ и побоевъ. Такъ же обращались въ этомъ гнѣздѣ самодурства и деспотизма съ учителями, которыхъ не стѣснялись увольнять по всякому поводу, а при случаѣ подвергали жестокой расправѣ. Въ этомъ темномъ царствѣ свѣтлымъ лучомъ для Тургенева былъ дворовый человѣкъ Лобановъ. Благодаря ему мальчикъ услышалъ звуки настоящей русской рѣчи въ домѣ, гдѣ даже слуги должны были говорить на иностранныхъ языкахъ. Лобановъ изображенъ въ разсказѣ „Пунинъ и Бабуринъ“, имѣющемъ, несомнѣнно, автобіографическое значеніе. Онъ научилъ мальчика любить русскую рѣчь, русскіе стихи и литературу: „невозможно передать чувство, которое я испытывалъ, когда онъ внезапно, словно сказочный пустынникъ или добрый духъ, появлялся предо мною съ извѣстной книгой подъ мышкой“. Они уходили въ глушь сада, куда никто не могъ проникнуть за ними, гдѣ зеленые листья и высокія травы

укрывали ихъ отъ всего міра. И Пушинъ-Лобановъ читалъ „торжественно, заливчато, закатисто“, читалъ Сумарокова, Кантемира и „Россіаду“ Хераскова, которая особенно восхитила мальчика.

Таковы впечатлѣнія дѣтства. Далѣе московскіе пансіоны и, наконецъ, университетъ, куда Тургеневъ поступаетъ въ 1833 году. Недолго пробылъ Тургеневъ въ московскомъ университетѣ, такъ какъ въ 1834 году Тургеневы переѣхали въ Петербургъ. Но едва ли можно сомнѣваться, что идеалистическій паѳосъ, который царилъ въ это время среди университетской молодежи, не могъ не коснуться Тургенева. Если тамъ, въ глуши Орловской губерніи, въ родовомъ имѣніи матери, онъ черпалъ матеріалъ для трагедій, изображенныхъ въ „Запискахъ охотника“ и въ „Муму“, то здѣсь онъ видѣлъ Рудиныхъ, Покорскихъ и Михалевичей, видѣлъ гегеліанцевъ, спорившихъ до утра, съ ихъ восторженностью, съ ихъ наивнымъ, но благороднымъ идеализмомъ. Станкевичъ еще былъ въ это время въ университетѣ. Тургеневъ сблизился съ нимъ позднѣе въ Римѣ, по его письма свидѣтельствуютъ о томъ, какъ умѣлъ авторъ „Рудина“ цѣнить благороднаго мечтателя, бывшаго яркимъ воплощеніемъ идеалистическихъ стремленій эпохи. „Насъ постигло великое несчастье, Грановскій, — писалъ Тургеневъ изъ Берлина 4-го іюля 1840 года.—Едва я могу собраться съ силами писать. Мы потеряли человѣка, котораго мы любили, въ кого мы вѣрили, кто былъ нашей гордостью и надеждой. 24-го іюня въ Нови скончался Станкевичъ. Я бы могъ, я бы долженъ здѣсь кончить письмо... Что остается мнѣ сказать—къ чему вамъ теперь мои слова?.. Я сблизился съ нимъ въ Римѣ; я его видѣлъ каждый день и началъ оцѣнять его свѣтлый умъ, теплое сердце, всю прелесть его души“... Въ Петербургѣ, гдѣ Тургеневъ продолжалъ свое университетское образованіе, онъ познакомился съ тогдашнимъ

литературнымъ міромъ благодаря профессору русской словесности Плетневу. Въ „Литературныхъ воспоминаніяхъ“ Тургенева мы находимъ любопытный эпизодъ, который свидѣтельствуетъ о могучемъ вліяніи Бѣлинскаго на умы. Вмѣстѣ со всей молодежью Тургеневъ пришелъ въ восторгъ отъ вышедшей въ 1836 году книжки стиховъ Бенедиктова. Но вотъ однажды утромъ студентъ-товарищъ сообщаетъ Тургеневу о появленіи въ кондитерской Беранже номера „Телескопа“ со статьей Бѣлинскаго, въ которой этотъ „критиканъ“ осмѣлился посягнуть на того, кто сталъ общимъ идоломъ. „Я немедленно отправился къ Беранже,—разсказываетъ Тургеневъ,—прочелъ всю статью отъ доски до доски и, разумѣется, тоже воспылалъ негодованіемъ. Но—странное дѣло!—и во время чтенія, и послѣ къ собственному моему изумленію и даже досадѣ что-то во мнѣ невольно соглашалось съ критиканомъ“, находило его доводы убѣдительными... „неотразимыми“. Напрасно Тургеневъ съ юношескимъ упрямствомъ продолжалъ въ кругу товарищей рѣзко нападать на Бѣлинскаго. Что-то шептало ему, что „онъ“ былъ правъ. И вскорѣ Тургеневъ пересталъ читать Бенедиктова.

По окончаніи филологическаго факультета петербургскаго университета Тургеневъ отправился дополнять свое образованіе въ Берлинъ. Здѣсь онъ встрѣтилъ Станкевича, Грановскаго, Бакунина и, по его собственнымъ словамъ, „съ особеннымъ рвеніемъ изучалъ Гегеля подъ руководствомъ профессора Вердера“. Здѣсь онъ убѣдился, какую слабую подготовку далъ ему петербургскій университетъ, здѣсь, повидимому, укрѣпился онъ на всю жизнь въ своемъ западничествѣ, такъ какъ къ этому моменту относится знаменитое мѣсто его „Воспоминаній“, въ которомъ онъ противопоставляетъ Европу своей родинѣ. На этой послѣдней ничто не могло удержать его. „Почти все,

что я видѣлъ вокругъ себя, возбуждало во мнѣ чувство смущенія, негодованія, — отвращенія, наконецъ. Долго колебаться я не могъ. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дорогѣ; либо отвернуться разомъ, оттолкнуть отъ себя „всѣхъ и вся", даже рискуя потерять многое, что было дорого моему сердцу. Я такъ и сдѣлалъ... Я бросился — внизъ головою въ „нѣмецкое море", долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я, наконецъ, вынырнулъ изъ его волнъ, я все-таки очутился „западникомъ" и остался имъ навсегда".

По возвращеніи изъ-за границы Тургеневъ пытался посвятить себя ученой дѣятельности, затѣмъ пробовалъ служить, но, наконецъ, набрелъ на свой настоящій путь. Мы уже видѣли, что первый замѣтный литературный шагъ его получилъ благословеніе Бѣлинскаго, которому русская литература обязана открытіемъ многихъ великихъ талантовъ. Мать его, которая отождествляла писателя и писца и считала литературу отнюдь не дворянскимъ дѣломъ, была не особенно довольна появленіемъ „Параши" и пришла въ негодованіе, когда узнала, что на одно изъ сочиненій ея сына написана критика и что такимъ образомъ поповичъ имѣлъ дерзость судить дворянина. Она вымещала свое возмущеніе на сынѣ, и ему приходилось терпѣть большую нужду.

Въ 1847 году въ журналѣ „Современникъ" въ отдѣлѣ „Смѣсь" былъ напечатанъ разсказъ „Хорь и Калиныч". Разсказъ, который редакція, точно стыдясь его и скрывая отъ взоровъ читателя, помѣстила на задворкахъ журнала, произвелъ огромное впечатлѣніе и сразу выдвинулъ Тургенева въ первые ряды русской литературы. И западники, и славянофилы сошлись въ оцѣнкѣ этого произведенія. „Вотъ что значитъ,—писалъ К. Аксаковъ,—прикоснуться къ землѣ и народу: вмигъ дается сила!.. Талантъ, таившійся въ

сочинителѣ, скрывавшійся во все время, пока онъ силился увѣрить другихъ и себя въ отвлеченьи и потому небывалыхъ состояніяхъ души, — этотъ талантъ вмигъ обнаружился, и какъ сильно и прекрасно, когда онъ заговорилъ о другомъ". Бѣлинскій нѣсколько позднѣе по поводу этого же и другихъ разсказовъ отмѣтилъ замѣчательный талантъ Тургенева и его основное качество—глубокій реализмъ. Тургеневу, по словамъ Бѣлинскаго, никогда не удалось бы создать такой характеръ, котораго онъ не встрѣтилъ бы въ дѣйствительности. Остановимся подробнѣе на „Запискахъ охотника". Послѣ 1847 года они продолжали появляться въ „Современникѣ", а въ 1852 году вышли отдѣльнымъ изданіемъ.

„Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ, для этого у меня, вѣроятно, недоставало надлежащей выдержки, твердаго характера. Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага затѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ—крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца—съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибалова клятва; и не я одинъ далъ ее себѣ тогда".

Эти безсмертныя слова вошли впослѣдствіи во всѣ учебники литературы. Они вспоминались всякій разъ, когда заходила рѣчь о „Запискахъ охотника", и служили эпиграфомъ къ первому крупному творенію Тургенева. И даже въ настоящее время, когда мы можемъ болѣе объективно взглянуть на отодвинувшееся отъ насъ прошлое, когда мы знаемъ, что „аннибалова клятва" была далеко не единственнымъ и даже не главнымъ стимуломъ тургеневскаго творчества,—даже теперь эти слова остаются лучшими словами, какія

когда-либо были сказаны великимъ художникомъ, остаются свидѣтельствомъ благороднаго порыва, пламеннаго стремленія послужить родному народу. Въ послѣднее время критика достаточно выяснила истинную роль „Записокъ охотника“ и ихъ автора въ исторіи освобожденія крестьянъ [1]). Теперь эта роль уже не представляется такой боевой, какой она казалась современникамъ, и тѣмъ не менѣе „Записки охотника“ и въ нашихъ глазахъ остаются не только замѣчательнымъ художественнымъ произведеніемъ, но и выдающимся памятникомъ въ исторіи развитія русской общественной мысли.

Правда, общій тонъ „Записокъ“ не боевой. Количество разсказовъ, которые проникнуты духомъ протеста противъ крѣпостного права, не велико. Можно даже сказать, что они теряются среди разсказовъ, которые навѣяны наслѣдственными симпатіями Тургенева къ патріархальной сторонѣ отношеній, взрощенныхъ крѣпостническимъ бытомъ. Отчасти боевой тонъ былъ смягченъ благодаря внѣшнимъ причинамъ. Въ своихъ письмахъ (см. „Первое собраніе писемъ И. С. Тургенева“. Спб. 1885) Тургеневъ не разъ упоминаетъ о давленіи цензуры. Такъ, въ письмѣ къ Я. П. Полонскому 13-го января 1874 г. онъ предлагаетъ для сборника „Складчина“ изъ ненапечатанныхъ, но сохранившихся у него разсказовъ изъ „Записокъ охотника“. „Всѣхъ ихъ,—говоритъ онъ,—напечатано 22, но заготовлено было около 30. Иные очерки остались недоконченными изъ опасенія, что цензура ихъ не пропуститъ“. Далѣе мы имѣемъ свидѣтельство, что Тургеневъ умѣлъ видѣть не только патріархальныя идилліи, возникавшія на почвѣ крѣпостнего права, не

---

[1]) См. особенно: Н. М. Гутьяръ, Иванъ Серг. Тургеневъ. Юрьевъ. 1907, и А. Е. Грузинскій. Къ исторіи „Записокъ охотника“ (Статья въ его „Литературныхъ очеркахъ“. М. 1908).

только забитыхъ и смиренныхъ крестьянъ, которыхъ онъ выводилъ даже въ разсказахъ, проникнутыхъ враждой и ненавистью въ рабству. Такъ, Тургеневъ началъ, но не закончилъ разсказъ „Землеѣдъ“, потому что зналъ, что „никакая тогдашняя цензура его не пропустила бы“. Сюжетомъ для этого разсказа послужилъ дѣйствительный случай: крестьяне уморили своего помѣщика, который ежегодно урѣзывалъ у нихъ землю и котораго они прозвали за то землеѣдомъ, „заставивъ его скушать фунтовъ восемь отличнѣйшаго чернозему“. Въ своихъ придиркахъ цензура дошла до того, что въ „Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда“ улучшила наружность двухъ военныхъ (авторъ писалъ: „съ благородными, но нѣсколько изношенными лицами“, послѣ цензурнаго туалета осталось: „съ весьма благородными лицами“, — см. А. Е. Грузинскій, 1. с.). Но даже въ томъ видѣ, въ какомъ „Записки охотника“ появились передъ современниками, онѣ произвели сильное впечатлѣніе на всѣ слои образованнаго общества. Графиня Растопчина сказала про нихъ Чаадаеву: „Voilà un livre incendiaire“. И. С. Аксаковъ удивлялся тому, какъ цензура пропустила эту книгу, которая представлялась ему „стройнымъ рядомъ нападеній, цѣлымъ батальнымъ огнемъ противъ помѣщичьяго быта“. Даже отставка цензора Львова послѣдовала въ связи съ пропускомъ „Записокъ охотника“. Наконецъ, самымъ вѣскимъ свидѣтельствомъ общественнаго значенія „Записокъ охотника“ служитъ заявленіе императора Александра II. По словамъ Тургенева, императоръ велѣлъ сказать ему, что его книга „была однимъ изъ главныхъ двигателей его рѣшенія“ освободить крестьянъ. По другимъ свидѣтельствамъ, императоръ выразился еще опредѣленнѣе и лично заявилъ Тургеневу, что мысль о необходимости освобожденія крестьянъ ни на минуту не оставляла его съ тѣхъ поръ, какъ онъ прочелъ „Записки охотника“.

Не только своимъ художественнымъ созданіемъ, но и своей практической дѣятельностью Тургеневъ доказалъ, какъ глубоко было его сочувствіе къ закрѣпощенному народу. По смерти матери онъ отпустилъ на волю своихъ дворовыхъ, которые изъявили на то согласіе. Когда появились первыя извѣстія о готовящейся реформѣ, Тургеневъ внимательно слѣдилъ за ходомъ ея. Когда же стало извѣстно о предстоящемъ опубликованіи манифеста, Тургеневъ писалъ изъ Парижа П. В. Анненкову: „Когда мое письмо къ вамъ дойдетъ, вѣроятно, уже великій указъ,—указъ, ставящій царя на такую высокую и прекрасную ступень, выйдетъ". Онъ называетъ этотъ день „великимъ днемъ". И послѣ реформы онъ приложилъ немало силъ, устраивая богадѣльню, школу и другія учрежденія для своихъ крестьянъ.

Всѣ эти факты и вліяніе „Записокъ охотника" на умы не оставляютъ сомнѣнія относительно гуманныхъ и просвѣщенныхъ воззрѣній Тургенева. Они навсегда утвердятъ за нимъ почетную роль въ исторіи общественнаго движенія въ Россіи. Тѣмъ съ большей смѣлостью, не опасаясь упрековъ, можно отмѣтить, что творецъ „Записокъ охотника" въ своемъ первомъ твореніи былъ не бойцомъ, а художникомъ, душа котораго тѣсно сроднилась съ усадебнымъ бытомъ. Ему дорогъ былъ тотъ міръ, который долженъ былъ рушиться вмѣстѣ съ паденіемъ крѣпостного права. Онъ былъ не столько врагомъ, сколько другомъ и поэтомъ этого міра. Великій художникъ не нуждается въ оправданіи, и его слава не померкнетъ отъ того, что мы признаемъ, что въ его первомъ твореніи чувствовался поэтъ-дворянинъ, который любилъ смиреніе страдалицы Лукерьи, наивную мечтательность Касьяна и идеализмъ Калиныча. Цензура и внѣшнія причины могли повліять на смягченіе боевого тона разсказовъ, но они не могли пере-

создать художника, не могли навязать ему того любовнаго чувства, съ которымъ онъ воспѣваетъ свѣтлые моменты патріархальнаго быта, сложившагося на основахъ крѣпостническаго строя. Мы знаемъ, что и послѣ освобожденія крестьянъ онъ любилъ во время пріѣздовъ въ Спасское собирать ихъ передъ террасой барскаго дома, поддерживая старый русскій обычай. Онъ предлагалъ имъ угощеніе, дарилъ крестьянкамъ платки и ленты, слушалъ ихъ пѣсни, любовался ихъ хороводами. Едва ли нужно повторять, что Тургеневъ, какъ просвѣщенный человѣкъ своего времени, пламенно желалъ отмѣны крѣпостного права. Но, съ другой стороны, трудно отрицать, что благодаря воспитанію, благодаря унаслѣдованнымъ вѣковымъ традиціямъ и вкусамъ его художественный геній проявлялъ особенную чуткость къ тѣмъ настроеніямъ и чувствамъ, которыя переживала лучшая часть мыслящаго барства въ эпоху кризиса старыхъ формъ хозяйственной жизни. Вся послѣдующая литературная дѣятельность Тургенева, который почти уже не возвращался къ крестьянину и рисовалъ тоску Рудиныхъ и Лаврецкихъ,—эта дѣятельность подтверждаетъ, въ какой сферѣ талантъ его чувствовалъ свою родную стихію. Въ этомъ разладѣ, въ этомъ неумѣньи разобраться въ отдѣльныхъ моментахъ совершающагося переворота заключается причина той грусти, того меланхолическаго колорита, которымъ окрашены всѣ его творенія. Недаромъ его дворянское происхожденіе и меланхолическая грусть прежде всего бросились въ глаза такому тонкому психологу, какъ Брандесъ. „Какъ писатель, — говоритъ датскій критикъ, — онъ сохранилъ дворянскій отпечатокъ... У Тургенева незамѣтно и тѣни того, что прямо указывало бы на аристократа; но читатель выноситъ изъ его произведеній то впечатлѣніе, что авторъ обладаетъ природной душевной деликатностью и что онъ всегда жилъ въ хорошемъ обществѣ. Онъ былъ свѣт-

скій человѣкъ, и въ его произведеніяхъ всюду чувствуется жизненный опытъ свѣтскаго человѣка... Скорбь Тургенева въ одно и то же время скорбь патріота, пессимиста и друга человѣчества. Несмотря на свой кажущійся космополитизмъ, онъ былъ патріотъ, но патріотъ, грустящій о своемъ отечествѣ и сомнѣвающійся въ его судьбахъ. Онъ не раздѣлялъ энтузіазма къ русскому народу своихъ болѣе наивныхъ и менѣе знающихъ соотечественниковъ. Онъ находилъ, что у него нѣтъ великаго прошлаго". Мы, ближе знающіе Тургенева, можемъ видѣть преувеличеніе, скрывающееся въ этой тирадѣ. Но мнѣніе датскаго критика очень цѣнно, такъ какъ оно—результатъ непосредственнаго впечатлѣнія и опредѣляетъ сущность настроенія, преобладающаго въ тургеневской поэзіи. Важное значеніе происхожденія Тургенева для пониманія его поэзіи отмѣчаетъ и проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскій, который въ слѣдующихъ словахъ характеризуетъ общественную группу, выставившую Тургенева. Это были „добрые господа", интересовавшіеся всѣмъ на свѣтѣ, читавшіе умныя книги на иностранныхъ языкахъ и толстые русскіе журналы. Это былъ цвѣтъ тогдашней интеллигенціи. Разносторонне образованные, съ широкими общечеловѣческими интересами, истинные „европейцы"—въ русскомъ смыслѣ этого слова, они были лучшими представителями просвѣщенія, мысли и совѣсти своего времени. А такъ какъ они по своему спеціальному положенію, воспитанію и образу жизни были — *бары, господа*, то просвѣщеніе, мысль и совѣсть, представляемыя ими, носили на себѣ нѣкоторый отпечатокъ *барственности*".

Таковъ преобладающій тонъ и „Записокъ охотника". И тѣмъ не менѣе въ нѣсколькихъ разсказахъ раскрываются ужасы крѣпостного права, развертываются невидимыя снаружи трагедіи, обнаруживаются мрачныя скрытыя жестокости. Попирается человѣческое

достоинство, льются крестьянскія слезы, любящія существа отрываются другъ отъ друга для удобства и удовольствія наивныхъ людей, которые въ унаслѣдованной привычкѣ къ командованію и эксплоатаціи часто не сознаютъ того, что творятъ. Простъ разсказъ помѣщика Звѣркова о горничной его жены Аринѣ („Ермолай и мельничиха"), наивная искренность звучитъ въ его негодованіи. Случайно проѣзжала его жена черезъ деревню, случайно увидѣла „прехорошенькую дочь" старосты, которая особенно понравилась господамъ тѣмъ, что у нея было что-то подобострастное въ манерахъ. „Она мнѣ нравится, Коко, возьмемъ ее". — „Съ удовольствіемъ", — и плачущую дѣвочку, „сдуру" не понявшую своего счастья, увезли изъ родного дома. Но облагодѣтельствованная дѣвочка такъ и не могла оцѣнить благодѣянія. Десять лѣтъ прослужила, пользуясь господской лаской, и вдругъ бросилась въ ноги Звѣркову, который „терпѣть не могъ" подобнаго униженія человѣческаго достоинства, и стала молить его объ одной милости: о разрѣшеніи выйти замужъ, обѣщая при этомъ по-прежнему служить барынѣ. Мастерскими красками изобразилъ авторъ негодованіе наивнаго деспота, возмутившагося черной неблагодарностью дѣвушки. „Доложу вамъ, я такой человѣкъ: ничто меня такъ не оскорбляетъ, смѣю сказать, такъ сильно не оскорбляетъ, какъ неблагодарность". Когда бѣдная дѣвушка обратилась съ той же просьбой вторично, благовоспитанный Звѣрковъ, такъ боявшійся унизить человѣческое достоинство, не выдержалъ и „съ сердцемъ прогналъ ее". Когда же несчастная послушалась голоса своего сердца вопреки волѣ барина, послѣдній вышелъ изъ себя, приказалъ остричь ее и сослать въ деревню. Въ „Малиновой водѣ" передъ нами другой типъ помѣщика, хлѣбосола. Графъ Петръ Ильичъ любилъ пожить. Гости, пиры и музыка не покидали его дома. „Кафтаны шитые, па-

рики, трости, духи, ладеколонъ перваго сорта, табакерки, картины этакія большущія, изъ самаго Парижа выписывалъ, — разсказываетъ о немъ его дворовый Туманъ.—Задастъ банкетъ—Господи, владыко живота моего! Фейвирки пойдутъ, катанья! Даже изъ пушекъ палятъ!" Казалось бы, ничего трагическаго нѣтъ въ этой картинѣ, кромѣ мысли о разореніи, которое рано или поздно ждало графа. Но въ свой разсказъ Туманъ вставляетъ одну подробность,—и кажется, будто долгій стонъ народнаго горя и муки ворвался въ хоромы графа и заглушилъ ликующіе звуки барскаго разгула. Графъ приближалъ къ себѣ „матресокъ", какъ выразился Туманъ, и подпадалъ подъ ихъ власть. Особенно свирѣпствовала одна, Акулина. „Племяннику моему лобъ забрила: на новое платье щеколадъ ей обронилъ... и не одному ему забрила лобъ". Дорого обходилась распущенность графа его крѣпостнымъ. Въ разсказѣ „Льговъ"—немудрая повѣсть Сучка, шестидесятилѣтняго старика, отставного двороваго, „босоногаго, оборваннаго и взъерошеннаго". Но въ этой простой исторіи издѣвательство надъ человѣческой личностью достигаетъ апогея. Несчастный перебывалъ во всевозможныхъ должностяхъ. Онъ былъ и поваромъ, и кучеромъ, и кофишенкомъ, и актеромъ, и рыболовомъ. Каждый новый владѣлецъ имѣнія игралъ этой человѣческой душой по своей прихоти. Одной барынѣ не понравилось имя Сучка, и она велѣла замѣнить его настоящее имя Кузьма Антономъ. Другая застала его кучеромъ и, презрительно бросивъ ему: „Ну, какой ты кучеръ, посмотри на себя!"—повелѣла ему быть рыболовомъ. Изъ актеровъ его разжаловали въ повара за то, что его братъ убѣжалъ. Былъ онъ и въ казачкахъ, и „фалеторомъ", и садовникомъ, и доѣзжачимъ. Особенно трагическое впечатлѣніе производитъ краткій разсказъ Сучка объ его артистической дѣятельности: „На кеятрѣ игралъ. Барыня наша у себя

кеятеръ завела... Вотъ меня возьмутъ и нарядятъ; я такъ и хожу наряженный, или стою, или сижу, какъ тамъ придется. Говорятъ: вотъ что говори—я и говорю. Разъ слѣпого представлялъ... Подъ каждую вѣку мнѣ положили по горошинѣ". Ему было двадцать лѣтъ, когда его выпороли за то, что онъ, упавъ съ лошади, зашибъ ее, и отдали въ ученье въ Москву. Словомъ, самое утонченное воображеніе не въ состояніи изобрѣсти тѣхъ пытокъ, которымъ въ своей наивно-простодушной жестокости подвергали Сучка часто незлые люди. Потрясающее впечатлѣніе производитъ разсказъ „Бурмистръ", въ которомъ Тургеневъ вывелъ самый отталкивающій типъ крѣпостника. Аркадій Павловичъ Пѣночкинъ -- человѣкъ благовоспитанный, безукоризненно говоритъ по-французски, любитъ повторять, что о подданныхъ своихъ печется и наказываетъ ихъ для ихъ же блага. Пѣночкинъ не любитъ рѣзкихъ движеній, не повышаетъ голоса — и даже, въ случаѣ такъ-называемой печальной необходимости, тычетъ рукой прямо, спокойно приговаривая: „вѣдь я тебя просилъ, любезный мой" или: „что съ тобою, другъ мой, опомнись", причемъ только слегка стискиваетъ зубы и кривитъ ротъ. Но за его мягкимъ и пріятнымъ голосомъ, за его деликатностью скрывается холодная жестокость и безпощадный тупой эгоизмъ. Плотно позавтракавъ, онъ налилъ себѣ рюмку краснаго вина, поднесъ ее къ губамъ и вдругъ нахмурился. Произошла слѣдующая безобразная сцена.

— Отчего вино не нагрѣто? — спросилъ онъ довольно рѣзкимъ голосомъ одного изъ камердинеровъ.

Камердинеръ смѣшался, остановился, какъ вкопанный, и поблѣднѣлъ.

— Вѣдь я тебя спрашиваю, любезный мой? — спокойно продолжалъ Аркадій Павловичъ, не спуская съ него глазъ.

Несчастный камердинеръ помялся на мѣстѣ, по-

крутилъ салфеткой и не сказалъ ни слова. Аркадій Павловичъ потупилъ голову и задумчиво посмотрѣлъ на него исподлобья.

— Pardon mon cher,—промолвилъ онъ съ пріятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колѣна, и снова уставился на камердинера.—Ну, ступай, — прибавилъ онъ послѣ небольшого молчанія и позвонилъ. Вошелъ человѣкъ, толстый, смуглый, черноволосый, съ низкимъ лбомъ и совершенно заплывшими глазами.

— Насчетъ Ѳедора... распорядиться,—проговорилъ Аркадій Павловичъ вполголоса и съ совершеннымъ самообладаніемъ.

— Слушаю-съ,—отвѣчалъ толстый и вышелъ.

И пока пороли несчастнаго камердинера, забывшаго нагрѣть вино, Пѣночкинъ напѣвалъ какой-то французскій романсъ и обдумывалъ, какъ лучше провести день. Еще ярче выступаетъ фигура этого благовоспитаннаго „европейца", когда онъ выслушиваетъ жалобу двухъ крестьянъ на бурмистра Софрона. Одинъ былъ старикъ лѣтъ шестидесяти, другой—малый лѣтъ двадцати, оба въ домашнихъ заплатанныхъ рубахахъ на босу ногу и подпоясанные веревками. „Батюшка, разорилъ въ конецъ,—говорилъ старикъ.—Двухъ сыновей, батюшка, безъ очереди въ некруты отдалъ, а теперя и третьяго отнимаетъ. Вчера, батюшка, послѣднюю коровушку со двора свелъ и хозяйку мою избилъ". Сначала Пѣночкинъ съ неудовольствіемъ взглянулъ на бурмистра, но когда послѣдній упомянулъ о недоимкѣ, числящейся за старикомъ, помѣщикъ пришелъ въ бѣшенство, осыпалъ его бранью и чуть было не бросился съ кулаками на его сына, и только присутствіе гостя удержало „европейца" отъ некультурнаго поведенія. Страшно становится за мужиковъ Пѣночкина, когда одинъ крестьянинъ сообщаетъ Тургеневу о неизбѣжныхъ послѣдствіяхъ этого инцидента.

„Заѣстъ онъ его теперь; заѣстъ человѣка совсѣмъ Староста теперь его забьетъ. Экой безталанный, подумаешь, бѣдняга!"

Фигуру Пѣночкина дополняетъ Мардарій Аполлоновичъ Стегуновъ („Два помѣщика"). Вотъ знаменитая сцена, поражающая, какъ и всѣ картины самоуправства, нарисованныя въ „Запискахъ охотника", добродушіемъ истязателей:

Между тѣмъ воздухъ затихъ совершенно. Лишь изрѣдка вѣтеръ набѣгалъ струями и, въ послѣдній разъ замирая около дома, донесъ до нашего слуха звукъ мѣрныхъ и частыхъ ударовъ, раздававшихся въ направленіи конюшни. Мардарій Аполлоновичъ только-что донесъ къ губамъ налитое блюдечко и уже расширилъ было ноздри, безъ чего, какъ извѣстно, ни одинъ коренной русакъ не втягиваетъ въ себя чая, но остановился, прислушался, кивнулъ головой, хлебнулъ и, ставя блюдечко на столъ, произнесъ съ добрѣйшей улыбкой и какъ бы невольно вторя ударамъ: „Чюки-чюки-чюкъ! Чюки-чюкъ! Чюки-чюкъ!"

— Это что такое?—спросилъ я съ изумленіемъ.

— А тамъ по моему приказанію шалунишку наказываютъ... Васю буфетчика изволите знать?

— Какого Васю?

— Да вотъ что намедни за обѣдомъ намъ служилъ. Еще съ такими большими бакенбардами ходитъ.

Самое лютое негодованіе не устояло бы противъ яснаго и кроткаго взора Мардарія Аполлоновича.

Приведенные разсказы, если присоединить къ нимъ извѣстные „Муму" и „Постоялый дворъ", составляютъ не только въ „Запискахъ охотника", но и вообще въ творчествѣ Тургенева почти все, въ чемъ можно уловить негодующій протестъ противъ рабства, заглушенный звукъ революціонной трубы. Этихъ разсказовъ немного. Ихъ было бы, вѣроятно, больше и ихъ тенденція была бы яснѣе, если бы драконовская ни-

колаевская цензура не наложила на нихъ свою тяжелую руку. Но выигралъ ли бы отъ этого Тургеневъ какъ художникъ? Мы думаемъ, что нѣтъ. Общій колоритъ „Записокъ“ свидѣтельствуетъ о томъ, что авторъ и по самому складу своего таланта не могъ быть боевымъ пѣвцомъ народнаго горя. Если не считать ненапечатаннаго „Землеѣда“, эпизода въ разсказѣ „Контора“ и еще двухъ—трехъ менѣе яркихъ типовъ и эпизодовъ, мы не видимъ ни одной попытки нарисовать типъ протестующаго крестьянина, въ которомъ пробудилась человѣческая личность. А исторія говоритъ намъ, что такихъ было немало, и исторія зарегистрировала не одинъ фактъ, напоминающій „Землеѣда“. Не одни цензурныя условія, но и сама натура Тургенева заставляла его съ любовью останавливаться на типахъ смиренныхъ крестьянъ, вскормленныхъ крѣпостнымъ бытомъ, на той психикѣ, которая являлась, быть-можетъ, незамѣтно для автора, опорой сложившихся отношеній.

Его крестьяне—смиренники, носители той идеи смиренія, которую ставили въ заслугу русскому народу славянофилы. Тургеневъ противопоставляетъ ихъ угнетателямъ, и при всей объективности великаго художника нетрудно видѣть, что именно эта черта въ русскомъ народѣ поразила болѣе всего его воображеніе. Эти люди, нищіе, оборванные, „на босую ногу“, люди, надъ которыми вѣчно свиститъ бичъ деспота и эксплоататора, съ благоговѣніемъ цѣлуютъ бичущую ихъ руку. Сучекъ, надъ которымъ такъ жестоко издѣвались его многочисленные собственники, ни разу не возвысилъ голоса. Ни одинъ жестъ его не выдалъ, что въ несчастномъ старикѣ гнѣздится хотя бы неясное сознаніе несправедливости, хотя бы глухое чувство обиды. Покорность, самоотверженіе, стремленіе занять какъ можно меньше мѣста на землѣ и отреченіе отъ своей личности ради удобствъ другого,—эти качества, которыя возвеличитъ Л. Н. Тол-

стой въ Платонѣ Каратаевѣ, „работникѣ“ и въ многочисленныхъ герояхъ,—эти качества составляютъ сущность натуры и Сучка, и Васьки буфетчика, и всѣхъ этихъ истязуемыхъ и поруганныхъ героевъ Тургенева. Вспомните переходъ вбродъ черезъ прудъ: „Сучокъ карабкался, болталъ ногами, прыгалъ и таки-выбирался на болѣе мелкое мѣсто, но даже въ крайности не рѣшался хвататься за полу моего сюртука“. Подобно Каратаеву, онъ принимаетъ факты такъ, какъ они есть. Мысль о критическомъ отношеніи къ нимъ не приходитъ ему въ голову. На изумленный вопросъ, какое же можетъ быть ученье въ двадцать лѣтъ, онъ находитъ только одинъ отвѣтъ: „Стало-быть, ничего, можно, коли баринъ приказалъ“. Разсказывая о своихъ истязателяхъ, не сознавая трагическаго смысла своего разсказа, онъ относится съ благоговѣніемъ къ ихъ памяти. „Покойница Татьяна Васильевна — царство ей небесное! — никому не позволяла жениться“. Онъ благодаритъ Бога равно за все: и за рѣдкія минуты маленькой радости, и за долгіе дни безпросвѣтнаго горя. „А я, батюшка, не жалуюсь. И слава Богу, что въ рыболовы произвели. А то вотъ другого, такого же, какъ я, старика — Андрея Пупыря — въ бумажную фабрику, въ черпальную, барыня приказала поставить“. Или: „Какое, батюшка, жалованье... Харчи выдаются— то слава Тебѣ Господи! много доволенъ. Продли Богъ вѣка нашей госпожѣ“. А что отвѣчаетъ на вопросъ автора о причинѣ наказанія буфетчикъ Васька, безотвѣтная жертва Стегунова: „А подѣломъ, батюшка, подѣломъ. У насъ по пустякамъ не наказываютъ; такого заведенья у насъ нѣту — ни, ни. У насъ баринъ не такой; у насъ баринъ... такого барина въ цѣлой губерніи не сыщешь“.

„Вотъ она старая Русь!“—подумалъ авторъ, выслушавъ слова Васьки. И эта старая Русь не многими поэтами была воспѣта такъ, какъ Тургеневымъ. Онъ

постигъ практику и философію этого смиренія и воплотилъ ихъ въ яркія фигуры. Его Ѳома Кузьмичъ („Бирюкъ") — фанатикъ долга. Онъ не умѣетъ подходить къ фактамъ съ критическимъ анализомъ. Онъ воспринялъ свои нравственныя представленія безъ провѣрки и слѣпо слѣдуетъ тому, что признано установившимся строемъ. Тщетно умоляетъ его о пощадѣ несчастный мужичонка, котораго онъ захватилъ во время кражи лѣса. Его не трогаетъ печальный видъ мужика „мокраго, въ лохмотьяхъ, съ длинной растрепанной бородой". Его не трогаютъ ссылки пойманнаго на нужду и разореніе, его отчаянье, почти безумные вопли. Ему и въ голову не могъ придти вопросъ, почему онъ долженъ посвятить всѣ свои силы охранѣ господскаго лѣса. „Вязанки хвороста не дастъ утащить, — говорили о немъ мужики; — въ какую бы ни было пору, хоть въ самую полночь, нагрянетъ какъ снѣгъ на голову, и ты не думай сопротивляться — силенъ, дескать, и ловокъ, какъ бѣсъ... И ничѣмъ его взять нельзя: ни виномъ, ни деньгами, ни на какую приманку не идетъ". Такова практика могучихъ натуръ, создававшихся на почвѣ крѣпостническихъ отношеній. Великія силы народныя, достойныя лучшей участи, находили себѣ приложеніе въ беззавѣтномъ служеніи крѣпостническимъ формамъ жизни, и на этихъ покорныхъ натурахъ, на этомъ своеобразномъ величіи по преимуществу останавливался взоръ художника, которому трудно было уловить зародыши будущаго, подслушать еще неясно звучавшіе голоса протеста и злобы. Въ лицѣ бирюка мы видимъ, въ чемъ находилъ себѣ выходъ богатый запасъ силъ, дремавшихъ въ народѣ.

Но, можетъ быть, ни въ чемъ художественный геній Тургенева не проявился такъ ярко, какъ въ изображеніи мечтателей, теоретиковъ смиренія, въ обнаруженіи богатаго своеобразнаго міра идей, о Богѣ, при-

родѣ и правдѣ, міра, который сложился въ душѣ крестьянина... Онъ подслушалъ его поэтическія преданія среди степного простора, и въ заповѣдныхъ лѣсахъ, и ночью при фантастическомъ свѣтѣ костра, когда темное, чистое небо торжественно и необъятно-высоко стоитъ надъ нами со всѣмъ своимъ таинственнымъ великолѣпіемъ; когда сладко стѣсняется грудь, вдыхая тотъ особенный, томительный и свѣжій запахъ,—запахъ русской ночи, когда кругомъ не слышно ни звука и дрожь пробѣгаетъ по тѣлу при внезапномъ шумѣ плеснувшей въ рѣкѣ рыбы или прибрежнаго тростника, поколебленнаго набѣжавшей волной. Онъ умѣлъ передать поэзію великаго смиренія, заглянуть въ наивную душу, населившую міръ живыми силами и духами, перелить въ слова музыку пѣсни,—безбрежной русской пѣсни, отъ которой вѣяло чѣмъ-то роднымъ и необозримо-широкимъ, словно знакомая степь раскрывалась передъ глазами, уходя въ безконечную даль. И не только все поэтическое и идеальное, что вѣками складывалось въ душѣ крѣпостного народа, собралъ онъ. Онъ проникъ въ самую глубь, откуда билъ этотъ богатый родникъ поэзіи. Онъ подслушалъ шопотъ дѣтей ночью у костра, когда жутко становится на душѣ и рождается міръ сказокъ, яркихъ и страшныхъ.

Его смиренники не только страдальцы. Они мыслители, философы. У нихъ своя космологія, своя система морали, которую они развиваютъ во всѣхъ деталяхъ. Сколько глубины таится въ простыхъ словахъ Лукерьи („Живыя мощи"). Нѣкогда первая красавица во всей дворнѣ, полная, высокая, румяная, хохотунья, плясунья и пѣвунья, предметъ обожанія деревенскихъ парней, а теперь страшная мумія съ высохшей одноцвѣтной головой — Лукерья не произноситъ ни одной жалобы, не бросаетъ ни одного упрека Небу. Она полюбила, и, когда душа ея была полна поэзіей любви,

она не умѣла спать и вышла ночью въ садъ слушать пѣвца любви—соловья. И ей почудилось, что въ воздухѣ прозвучалъ любимый голосъ, звавшій ее, она оступилась, упала и навсегда прикована къ подмосткамъ, которые господская доброта какъ милостыню бросила этому живому трупу. Она умѣла любить, какъ умѣютъ немногіе. Она сумѣла и прощать, и потрясенный останавливается читатель передъ этимъ величіемъ духа, не растратившаго своихъ сокровищъ въ страданіи. Тотъ, кого она любила, женился на другой, и она вынесла ему приговоръ, сотканный изъ любви и жертвы: „Очень онъ меня любилъ — да вѣдь человѣкъ молодой — не оставаться же ему холостымъ. И какая ужъ я ему могла быть подруга? А жену онъ нашелъ себѣ хорошую, добрую,—и дѣтки у нихъ есть... И очень ему, слава Богу, хорошо“. Господа, которымъ она служила, безплодно пытавшіеся излѣчить ее, порѣшили, что „въ барскомъ домѣ держать калѣкъ неспособно“, и помѣстили ее въ плетеный сарайчикъ, куда ставятъ ульи на зиму. И она любила и благословляла ихъ. Она развиваетъ своеобразную теорію счастья и морали. Истинная добродѣтель и истинное счастье въ отреченіи. Она лишена радостей жизни, но зато свободна и отъ ея соблазновъ, отъ опасности грѣха. „Многимъ хуже моего бываетъ. Хоть бы то взять: иной здоровый человѣкъ очень легко согрѣшить можетъ; а отъ меня самъ грѣхъ отошелъ“. Природа для нея живой міръ. Она слышитъ, какъ кротъ подъ землею роется, какъ цвѣтетъ липа въ саду или гречиха въ полѣ. Она творитъ поэтическіе міры, которыхъ не знаютъ культурные поэты. Она бесѣдуетъ въ этихъ видѣніяхъ съ Христомъ, и Онъ зоветъ ее къ себѣ: „Не бойся, говоритъ, невѣста Моя разубранная, ступай за Мною; ты у Меня въ царствѣ небесномъ хороводы водить будешь и пѣсни играть райскія“. Здѣсь въ глуши русской деревни родилась эта

философія, которая учитъ, что въ удаленіи отъ міра, въ сліяніи съ природой можно обрѣсти Бога, — философія, которая заставляетъ человѣка считать себя звеномъ въ конечной цѣпи мірозданія, чувствовать свой нравственный долгъ въ служеніи высшему надземному началу. Ту же проповѣдь смиренія слышимъ мы изъ устъ другого простолюдина-мечтателя („Касьянъ съ Красивой Мечи"). Онъ тоже сливается съ природой, чувствуетъ себя частью великаго цѣлаго. И въ его глазахъ видимый міръ есть созданіе благой высшей воли, а потому всякій протестъ есть грѣхъ, всякое убійство, всякая попытка измѣнить жизнь природы есть возстаніе противъ Бога. „Все благо, правъ судьбы законъ". Вездѣ хорошо. „Какъ пойдешь, — говоритъ Касьянъ, — и полегчитъ, право. И солнышко на тебя свѣтитъ, и Богу ты виднѣй, и поется ладнѣй". Касьянъ упрекаетъ охотника за то, что онъ убилъ коростеля. Онъ допускаетъ употребленіе въ пищу рыбы, „нѣмой твари", которая „не веселится и не чувствуетъ", даже домашней птицы, потому что она „Богомъ опредѣлена для человѣка". Но все, что говоритъ его душѣ о ликованіи природы, о трепетѣ жизни, разлитой въ ней, представляется Касьяну святыней. „Коростель—птица вольная, лѣсная. И не онъ одинъ: много ея, всякой лѣсной твари, и полевой, и рѣчной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой, — и грѣхъ ее убивать, и пускай она живетъ на землѣ до своего предѣла"...

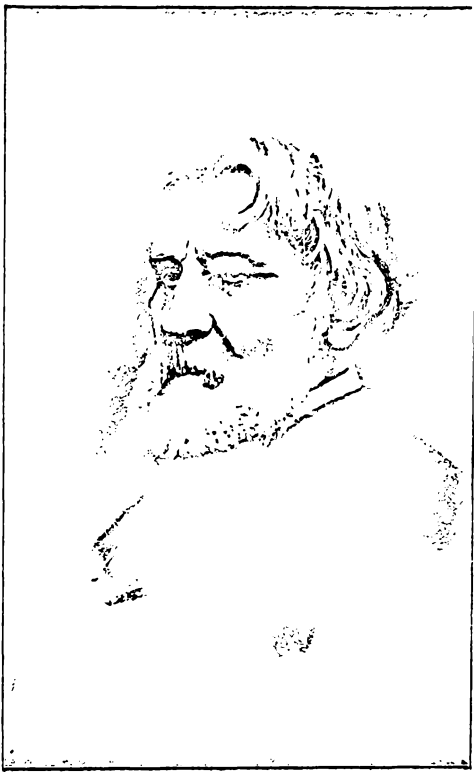
Проникнувъ глубоко въ нравственный міръ крестьянства, Тургеневъ въ разсказѣ „Пѣвцы" въ лицѣ двухъ пѣвцовъ, вступившихъ между собою въ состязаніе, показываетъ богатые родники поэзіи, которые скрываются въ душѣ народа. Особенно захватываетъ пѣсня Якова, вышедшаго побѣдителемъ. Въ его голосѣ была и неподдѣльная глубокая страсть, и молодость, и сила, и слабость, и какая-то

увлекательно-безпечная, грустная скорбь. „Русская правдивая, горячая душа звучала и дышала въ немъ и такъ и хватала васъ за сердце, хватала прямо за его русскія струны. Пѣснь росла, разливалась... Помнится, я видѣлъ однажды, вечеромъ во время отлива, на плоскомъ, песчаномъ берегу моря, грозно и тяжко шумѣвшаго вдали, большую бѣлую чайку: она сидѣла неподвижно, подставивъ шелковистую грудь алому сіянью зари, и только изрѣдка медленно расширяла свои длинныя крылья навстрѣчу знакомому морю, навстрѣчу низкому, багровому солнцу: я вспомнилъ о ней, слушая Якова". „Бѣжинъ лугъ" дополняетъ серію разсказовъ, раскрывавшихъ богатыя силы заложенныя въ русскомъ народѣ. Предъ нами нѣсколько крестьянскихъ ребятишекъ, стерегущихъ табунъ въ лѣтнюю ночь. Они разсказываютъ другъ другу страшныя вещи о домовомъ, котораго одинъ изъ ребятъ слышалъ своими ушами, о русалкѣ, которая манила съ дерева слободскаго плотника Гаврилу и на всю жизнь сдѣлала его „невеселымъ", о покойномъ баринѣ, который выходитъ по ночамъ изъ могилы и ищетъ разрывъ-траву, потому что его давитъ могила. Жутко и страшно становится отъ этихъ разсказовъ, полныхъ мрачной и грустной поэзіи. Таинственные звуки, раздающіеся въ лѣсу, заставляютъ вздрагивать ребятъ и прижиматься другъ къ другу. И на фонѣ этой великолѣпной безлунной ночи вырисовывается безстрашная фигура самаго интереснаго изъ мальчиковъ, Павлуши, который смѣло бросается въ лѣсъ, за собаками, встревоженными какимъ-то шумомъ, и спокойно возвращается, не встрѣтивъ ожидаемаго волка.

Но самымъ драгоцѣннымъ памятникомъ крестьянскаго быта той эпохи остается первый разсказъ — „Хорь и Калиныч". Предъ нами два противоположныхъ типа: одинъ — дѣлецъ, человѣкъ практической инициативы, другой—мечтатель-идеалистъ. Оба при-

ятеля,—разсказываетъ авторъ,—нисколько не походили другъ на друга. Хорь былъ человѣкъ положительный, практическій, административная голова, раціоналистъ; Калинычъ, напротивъ, принадлежалъ къ числу идеалистовъ, романтиковъ, людей восторженныхъ и мечтательныхъ. Хорь понималъ дѣйствительность, т.-е. обстроился, накопилъ деньжонку, ладилъ съ бариномъ и съ прочими властями. Калинычъ ходилъ въ лаптяхъ и перебивался кое-какъ. Хорь расплодилъ большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой онъ боялся, а дѣтей не бывало вовсе. Хорь насквозь видѣлъ г-на Полутыкина, Калинычъ благоговѣлъ передъ своимъ господиномъ. Хорь любилъ Калиныча и оказывалъ ему покровительство. Калинычъ любилъ и уважалъ Хоря. Хорь говорилъ мало, посмѣивался и разумѣлъ про-себя; Калинычъ объяснялся съ жаромъ, хотя и не пѣлъ соловьемъ какъ бойкій фабричный человѣкъ... Калинычъ стоялъ ближе къ природѣ, Хорь же—къ людямъ, къ обществу. Когда Тургеневъ разсказывалъ обоимъ пріятелямъ о своихъ поѣздкахъ за границу, Хорь много разспрашивалъ, но интересовался по преимуществу вопросами административными и государственными, Калиныча больше трогали описанія горъ, водопадовъ, необыкновенныхъ зданій, большихъ городовъ. Хорь не умѣлъ читать, Калинычъ былъ грамотенъ.

Отличительная черта Хоря—умъ, трезвый, дѣловой умъ. Всякій фактъ онъ изслѣдуетъ исключительно съ точки зрѣнія практическихъ послѣдствій и своихъ интересовъ. Онъ не знаетъ никакихъ общихъ принциповъ и точекъ зрѣнія, кромѣ тѣхъ, которыя складываются какъ выводъ, какъ равнодѣйствующая изъ реальныхъ отношеній. Съ практической мѣркой онъ подходитъ ко всѣмъ людямъ и ко всѣмъ явленіямъ. Къ помѣщику Полутыкину онъ относится съ оттѣнкомъ пренебреженія и ироніи, потому что Полутыкинъ



„ему сапоговъ не сошьетъ“. Ему чужды рабскія рѣчи о господской непогрѣшимой волѣ, о преданности, о патріархальныхъ традиціяхъ. Онъ просто смотритъ на Полутыкина какъ на реальный фактъ, съ которымъ нужно считаться и изъ котораго слѣдуетъ извлечь всю возможную пользу. Онъ устроилъ свои отношенія на основахъ взаимной выгоды. Онъ платитъ ему большой оброкъ, за то пользуется полной независимостью. Откупиться на волю онъ не желаетъ, такъ какъ подъ помѣщикомъ онъ лучше защищенъ отъ всякихъ покушеній чиновниковъ и, конечно, это практическое удобство не промѣняетъ на эфемерный идеалъ личной свободы. Выгода, интересъ, — эти могучіе стимулы, возведенные въ культъ буржуазіей, глубоко постигнуты Хоремъ, въ которомъ можно видѣть ранняго представителя идеи честнаго предпринимательства и наживы. Онъ не любитъ ничего, что не относится къ дѣлу, онъ презираетъ бабъ, считаетъ пустяками ихъ ссоры, ради которыхъ „не стоитъ рукъ марать“. Въ этой фигурѣ воплощается то могучее усиліе, сосредоточенное на одной цѣли, которое позволило новымъ людямъ, людямъ иниціативы, овладѣть міромъ и возвести свой престолъ на развалинахъ умирающаго дворянства, съ его практической безпомощностью, съ его романтическими преданіями, барской праздностью и неспособностью понять смыслъ новыхъ зарождающихся отношеній капиталистическаго вѣка. Хорь и Полутыкинъ, это—торжествующее будущее и разлагающееся прошлое.

Въ своемъ цѣломъ „Записки охотника“—правдивая эпопея усадебнаго и крестьянскаго міра, но эпопея, на которую легла не только печать гуманнаго противника рабства, но, можетъ-быть, еще въ большей степени меланхолическая грусть души, сроднившейся со старымъ патріархальнымъ міромъ отношеній, съ поэзіей смиренія, съ мечтательной философіей, съ

жуткимъ чувствомъ, навѣваемымъ таинственными звуками въ лѣсу, — словомъ, съ тѣмъ міромъ, который долженъ былъ рушиться съ паденіемъ крѣпостного права. Если въ „Запискахъ охотника“ протестъ противъ насилія и гнета порою заглушаетъ еще тоску поэта объ умирающемъ мірѣ, то въ слѣдующихъ произведеніяхъ эта тоска становится преобладающимъ чувствомъ, и поэтъ-дворянинъ достигаетъ апогея своей творческой силы. Уже въ „Записки охотника“ была включена повѣсть о внутренней трагедіи „лишняго человѣка“. Въ 1855 году былъ написанъ первый большой романъ Тургенева „Рудинъ“, въ 1858—„Дворянское гнѣздо“.

III.

„Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“ и „Дневникъ лишняго человѣка“.—Происхожденіе и міросозерцаніе „лишняго человѣка“.—„Рудинъ“. - Настроеніе, господствующее въ этомъ романѣ.—Гегеліанство Рудина.—Воспитаніе и исторія Рудина.—Праздность и кружки.—Пафосъ и краснорѣчіе Рудина.—Его практическія попытки и безсиліе.—Отношеніе автора къ герою и роль Рудиныхъ въ жизни.—„Дворянское гнѣздо“, какъ лучшее выраженіе тургеневскихъ настроеній.—Воспитаніе Лаврецкаго.—Практическая дѣятельность Лаврецкаго.—Дала ли она ему удовлетвореніе?

Тургеневъ принадлежитъ къ числу художниковъ-мыслителей. Онъ не только создавалъ художественные образы. Онъ хотѣлъ самъ быть ихъ комментаторомъ. Онъ утвердилъ за своими главными героями имя, ярко опредѣлившее ихъ общественное значеніе. „Гамлеты“ и „лишніе люди“,—эти названія устанавливаютъ ихъ главные признаки. Они — люди мысли и анализа, во-первыхъ, они — люди непригодные къ жизни, во-вторыхъ. Еще до появленія Рудина и Лаврецкаго Тургеневъ заставилъ лишняго человѣка раскрыть передъ нами причины и сущность своихъ страданій. „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“,—желчный представитель мысля-

щаго дворянства. Его исторія — печальная біографія этихъ ненужныхъ людей. Онъ проклинаетъ всѣ этапы того обычнаго пути, который они проходили. Онъ превосходно говоритъ по-французски, еще лучше по-нѣмецки. Три года онъ провелъ за границей, въ одномъ Берлинѣ пробылъ восемь мѣсяцевъ, „Гегеля изучилъ, Гёте зналъ наизусть", былъ „долго влюбленъ въ дочь германскаго профессора, женился на чахоточной барышнѣ, лысой, но весьма замѣчательной личности". Въ такія карикатурныя формы облекаетъ озлобленный умъ доморощеннаго Гамлета обычный путь, который проходилъ идеалистъ 40-хъ годовъ. Несмотря на карикатурный характеръ разсказа, этапы этого пути ярко обрисованы „Гамлетомъ": Гегель, заграница и любовь,— любовь нелѣпая съ точки зрѣнія разсудка, но расцвѣченная богатыми узорами наивнаго и восторженнаго идеалиста,—таковы эти этапы. „Гамлетъ" не щадитъ себя и своего поколѣнія. Онъ указываетъ безплодность эстетическаго и идеалистическаго направленія. „Посудите сами... какую пользу могъ я извлечь изъ энциклопедіи Гегеля? Что общаго, скажите, между этой энциклопедіей и русской жизнью? И какъ прикажете примѣнить ее къ нашему быту, да не ее одну, энциклопедію, а вообще нѣмецкую философію... Зачѣмъ же ты таскался за границу? Зачѣмъ не сидѣлъ дома да не изучалъ окружающей тебя жизни на мѣстѣ? Ты бы и потребности ея узналъ, и будущность, и насчетъ своего, такъ сказать, призванія тоже въ ясность бы пришелъ... Я бы и радъ былъ брать у ней уроки, у русской жизни-то,—да молчитъ она, голубушка. Пойми меня, дескать, такъ; а мнѣ это не подъ силу". Такова была трагедія передового дворянства 40-хъ годовъ. Не тому они учились, чему слѣдовало учиться. Да и не могли они учиться тому, чему слѣдовало: молчала передъ ними русская жизнь, и „не подъ силу" имъ было понять ее. Не всегда такъ суровъ къ грѣху дворян-

ства Тургеневъ. Даже въ озлобленныхъ рѣчахъ „Гамлета“ слышится не столько бичующій голосъ, сколько жалость къ себѣ и мрачный пессимизмъ передъ неразрѣшимой загадкой жизни. Въ „Дневникѣ лишняго человѣка“ этотъ пессимизмъ, это отчаяніе становятся еще болѣе безысходными, и авторъ не находитъ отвѣта на вопросъ, почему гибнутъ въ безплодныхъ порывахъ лучшіе умы и благородныя сердца. „О, Боже мой, Боже мой! Я вотъ умираю... Сердце, способное и готовое любить, скоро перестанетъ биться... И неужели же оно затихнетъ навсегда, не извѣдавъ ни разу счастья, не расширяясь ни разу подъ сладостнымъ бременемъ радости? Увы!—это невозможно“...

И Тургеневъ въ цѣлой вереницѣ поэтическихъ образовъ увѣковѣчилъ картину страданій идеалиста 40-хъ годовъ. Рудинъ былъ самымъ яркимъ изъ этихъ образовъ и принадлежитъ къ числу прекраснѣйшихъ созданій Тургенева. „Вѣдь ужъ мало остается насъ, братъ,—говоритъ Рудину Лежневъ въ концѣ романа,—вѣдь мы съ тобою послѣдніе могикане! Мы могли расходиться, даже враждовать въ старые годы, когда еще много жизни оставалось впереди; но теперь, когда толпа рѣдѣетъ вокругъ насъ, когда новыя поколѣнія идутъ мимо насъ къ не нашимъ цѣлямъ, намъ надобно крѣпко держаться другъ за друга“. Этими грустными словами опредѣляется настроеніе, проникающее первый большой романъ Тургенева. Это поэзія осенняго очарованія, послѣднихъ яркихъ лучей солнца, озаряющихъ золотой дождь опадающихъ листьевъ. Весь запасъ паѳоса, вся жажда добра и дѣла, всѣ муки наслѣдственнаго грѣха и проснувшейся совѣсти, все безсиліе и отчаяніе умирающаго класса, наконецъ, могучій порывъ къ высшей гармоніи,—порывъ, создающій титановъ на высотахъ отвлеченной мысли и безпомощныхъ пигмеевъ на низинахъ жизни,—все это вылилось въ Рудинѣ. Его творецъ — не врагъ своего

героя. Они — свои. Они говорятъ однимъ языкомъ и живутъ въ общемъ кругѣ понятій. Тургеневу приписывали двойственное отношеніе къ Рудину. Но въ этой двойственности скрывается глубокое единство. Онъ вѣренъ себѣ и въ тѣ моменты, когда казнитъ Рудина за его слабости, и въ тѣ моменты, когда рисуетъ его искренній паѳосъ, зажигательное дѣйствіе его рѣчей. Онъ казнитъ его какъ свой своего, и скорбь родственной натуры, тоска товарища по дѣлу чувствуется въ этомъ бичеваніи. Они могли „враждовать въ старые годы“, но теперь, „когда новыя поколѣнія идутъ мимо нихъ, не къ ихъ цѣлямъ“, они чувствуютъ больше, чѣмъ когда-нибудь, сродство своихъ душъ, и общая тоска по умирающей культурѣ, общая скорбь о взрощенныхъ вѣками привычкахъ и вкусахъ, о ненужномъ, но дорогомъ кругѣ понятій отодвигаетъ на второй планъ тѣ различія и ту вражду, которая отдѣляетъ ихъ другъ отъ друга. Много внутренней трогательной нѣжности вложилъ Тургеневъ въ изображеніе Рудина. Она чувствуется и тогда, когда звучатъ рѣчи Рудина, и этой нѣжностью затушевывается легкая иронія, съ которой временами подходитъ къ нимъ авторъ. Слезы неподдѣльнаго умиленія звенятъ въ описаніи ночныхъ студенческихъ споровъ, кружка Покорскаго, точно списаннаго съ кружка Станкевича. И пусть жизнь насмѣялась надъ паѳосомъ Рудина и метафизическими увлеченіями студенческихъ кружковъ,—безпочвенная жажда добра и дѣла, гегеліанство съ его гармонической картиной міра, все, чѣмъ питалась мысль идеалистовъ 40-хъ годовъ, оторванныхъ отъ реальной жизни и жившихъ своей грезой объ абсолютномъ разумѣ и гармоніи, — надъ всѣмъ этимъ не смѣется Тургеневъ. Онъ не бичуетъ этихъ усилій и порывовъ. Погребая ихъ, онъ хоронитъ свои собственныя святыни, справляетъ тризну о томъ мірѣ, съ которымъ умретъ самое дорогое и интимное его собствен-

наго духа. Онъ не попытается оживить того, въ комъ нѣтъ жизни, но онъ проводитъ его въ могилу сочувственнымъ словомъ, разскажетъ міру объ его предсмертныхъ страданіяхъ, раскроетъ предъ нами богатый міръ страстей и чувствъ, выросшихъ на почвѣ этой догорающей культуры, окинетъ новымъ взглядомъ и природу, и человѣка, и мірозданіе.

Рудинъ представляетъ собою самое яркое воплощеніе типа „лишняго человѣка", съ которымъ мы уже познакомились въ лицѣ Бельтова. Его характернѣйшая черта — своеобразный умъ, — умъ, склонный къ апріорнымъ построеніямъ, усвоившій метафизическіе методы мышленія. Начиная съ Онѣгина и кончая Обломовымъ, всѣ „лишніе люди" въ умственномъ отношеніи стоятъ цѣлой головой выше окружающаго ихъ общества. Умъ Рудина — особый, отвлеченный умъ. Онъ — истинное дитя, этой идеалистической эпохи, ея привычки искать проявленія абсолютнаго разума въ частныхъ явленіяхъ, ея философіи безъ фактовъ. Первое столкновеніе Рудина съ Пигасовымъ—раннее проявленіе будущаго конфликта отцовъ и дѣтей. „Смерть моя общія разсужденія... всякій толкуетъ о своихъ убѣжденіяхъ",—говоритъ Пигасовъ. „Стало-быть, по-вашему убѣжденій нѣтъ". —„Нѣтъ".—„Это ваше убѣжденіе?" — „Да". — „Какъ же вы говорите, что ихъ нѣтъ? Вотъ вамъ уже одно на первый случай". Въ этомъ столкновеніи, изъ котораго Рудинъ такъ остроумно вышелъ побѣдителемъ, отразился весь смыслъ возникающей борьбы между идеализмомъ и матеріализмомъ. Гдѣ путь къ познанію истины? Въ чувственномъ мірѣ, въ мірѣ явленій, или въ мірѣ сверхчувственномъ, въ мірѣ, который открывается намъ въ прирожденныхъ идеяхъ, въ непреложныхъ убѣжденіяхъ, живущихъ внутри насъ. Кто правъ, Рудинъ или Пигасовъ, гегеліанецъ, ищущій внутри себя отвѣта на вопросъ о тайнахъ міра, или матеріалистъ Пигасовъ, кото-

рый вѣрить только „опыту, собственному чувству“ „Стремленіе къ отысканію общихъ началъ въ частныхъ явленіяхъ есть одно изъ коренныхъ свойствъ человѣческаго ума“,—таковъ былъ девизъ Рудина и его эпохи. Этотъ строй мысли былъ навѣянъ философіей Гегеля и Шеллинга, и воспоминанія современниковъ говорятъ намъ, что, онъ создавалъ возвышенное настроеніе, тотъ паѳосъ который былъ отличительной чертой Рудина. „Съ какой юношеской и благородной гордостью, — говоритъ біографъ Станкевича,—понималась тогда часть, предоставленная человѣку въ этой всемірной жизни! По свойству и праву мышленія, онъ переносилъ видимую природу въ самого себя, разбиралъ ее въ нѣдрахъ собственнаго сознанія,—словомъ, становился ея центромъ, судьей и объяснителемъ... Чѣмъ свѣтлѣе отражался въ немъ самомъ вѣчный духъ, всеобщая идея, тѣмъ полнѣе понималъ онъ ея присутствіе во всѣхъ другихъ сферахъ жизни“. Герценъ въ „Быломъ и Думахъ“ не безъ ироніи вспоминалъ объ этомъ наивномъ стремленіи московскихъ гегеліанцевъ искать въ каждомъ явленіи слѣдовъ мірового разума. „Все *въ самомъ дѣлѣ* непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной алгебраической тѣнью... Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмелькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ „гемюту“ или къ „трагическому въ сердцѣ“. Рудинъ—лучшее въ литературѣ отраженіе этого идеалистическаго настроенія. Онъ обладалъ удивительной

способностью подходить къ каждому явленію съ точки зрѣнія отвлеченной категоріи, озирать его съ высотъ того космоса, гдѣ земныя страсти и житейскія драмы окрашивались въ своеобразные причудливые цвѣта. Къ какому бы факту ни прикоснулся Рудинъ, онъ запутывалъ его метафизическими умствованіями, и если активно вмѣшивался въ жизнь,—это вмѣшательство превращало простыя и ясныя вещи въ загадочные сфинксы. Отношенія и интересы, которые легко разрѣшились бы при помощи здраваго смысла, превращаются въ неразрѣшимыя проблемы передъ лицомъ космоса. Когда его другъ Лежневъ влюбился, Рудинъ сдѣлалъ изъ этого обыкновеннаго событія фактъ міроваго значенія. „Онъ пришелъ въ восторгъ неописанный,—разсказываетъ Лежневъ, — поздравилъ, обнялъ меня и тотчасъ же пустился вразумлять меня, толковать мнѣ всю важность моего новаго положенія“. Въ концѣ-концовъ Рудинъ разбилъ счастье своего пріятеля. „Вслѣдствіе своей проклятой привычки каждое движеніе жизни, и своей и чужой, припиниливать словомъ, какъ бабочку булавкой, онъ пустился обоимъ намъ объяснять насъ самихъ, наши отношенія, какъ мы должны вести себя, деспотически заставлялъ отдавать себѣ отчетъ въ нашихъ чувствахъ и мысляхъ, хвалилъ насъ, порицалъ, вступилъ даже въ переписку съ нами, вообразите! Сбилъ насъ съ толку совершенно!“

Мы видѣли выше, какія общественныя условія породили типъ гегеліанца въ русской общественной жизни. Безъ Рудина мы не имѣли бы живой фигуры, конкретнаго образа, увѣковѣчившаго цѣлую полосу нашей общественности. Тѣ черты, которыя въ разрозненномъ видѣ сохранились въ историческихъ документахъ эпохи, облечены здѣсь въ плоть и кровь. И не только наивный идеалистъ эпохи воскресаетъ предъ нами изъ дали прошлаго, воскресаетъ и обстановка,

въ которой складывались и развивались подобныя натуры.

Исторія Рудина, это—исторія самого Герцена, Тургенева, ихъ героевъ Бельтова, Лаврецкаго и сотенъ другихъ представителей пробудившагося дворянства. Различны частности, но неизмѣненъ общій фонъ картины. Одни изъ нихъ были богаты, другіе бѣдны, у однихъ были просвѣщенные, у другихъ невѣжественные родители. Но ходъ развитія одинаковъ во всѣхъ случаяхъ. Усадебная обстановка и дворянская праздность въ дѣтствѣ, университетъ, Гегель и заграница въ юности, муки мысли, благородныя пламенныя исканія потомъ, практическая непригодность къ жизни, безсиліе и разочарованіе въ итогѣ. Рудинъ былъ сынъ бѣдныхъ помѣщиковъ. Но мать замѣнила ему средства: „толокномъ однимъ питалась, и всѣ, какія были у ней денежки употребила на него“. Рудинъ былъ бѣденъ, но заботы матери привели къ тому, что къ нему вполнѣ были примѣнимы слова Некрасова: „Благо наслѣдье богатыхъ отцовъ освободило отъ малыхъ трудовъ“. Послѣ дѣтства въ уютной обстановкѣ усадебнаго барства подъ крыломъ матери—университетъ. И здѣсь забота о насущномъ хлѣбѣ невѣдома Рудину. Сначала дядя, потомъ какой-то князь. Бѣдные родственники, приживалы и прихлебатели, этотъ старый міръ, въ которомъ сливается искреннее простодушіе и наивное попраніе человѣческаго достоинства, оживаетъ передъ нами въ брошенныхъ вскользь словахъ Лежнева. Барскіе вкусы, привычку къ праздности, близко соприкасавшейся съ тунеядствомъ, усвоивали себѣ не только владѣльцы огромныхъ помѣстій, но и ихъ бѣдные родственники и штаты приживаловъ и приживалокъ. Университетъ!.. Московскій университетъ 30-хъ и 40-хъ годовъ! При одномъ упоминаніи о немъ воскресаетъ благородная фигура Станкевича, студенческіе кружки, горячіе споры

и пламенное стремленіе къ истинѣ, воскресаетъ вся эта атмосфера наивнаго идеализма, общественное движеніе, еще не дифференцировавшееся, скорѣе предвѣстіе настоящаго общественнаго движенія. „Какъ вспомню я наши сходки,—разсказываетъ Лежневъ,—ну, ей Богу же, много въ нихъ было хорошаго, даже трогательнаго. Вы представьте: сошлись человѣкъ пять—шесть мальчишекъ, одна сальная свѣча горитъ, чай подается прескверный и сухари къ нему старые-престарые; а посмотрѣли бы вы на всѣ наши лица, послушали бы рѣчи наши! Въ глазахъ у каждаго восторгъ, и щеки пылаютъ, и сердце бьется, и говоримъ мы о Богѣ, о правдѣ, о будущности человѣчества, о поэзіи,—говоримъ иногда вздоръ, восхищаемся пустяками; но что за бѣда!.. Покорскій сидитъ, поджавъ ноги, подпираетъ блѣдную щеку рукой; а глаза его такъ и свѣтятся. Рудинъ стоитъ посрединѣ комнаты и говоритъ, говоритъ прекрасно, ни дать, ни взять—молодой Демосѳенъ передъ шумящимъ моремъ; взъерошенный поэтъ Субботинъ издаетъ невременамъ и какъ бы во снѣ отрывистыя восклицанія; сорокалѣтній буринъ, сынъ нѣмецкаго пастора Шеллеръ, прослывшій между нами за глубочайшаго мыслителя, по милости своего вѣчнаго, ничѣмъ ненарушимаго молчанія, какъ-то особенно торжественно безмолвствуетъ; самъ веселый Щитовъ, Аристофанъ нашихъ сходокъ, утихаетъ и только ухмыляется; два—три новичка слушаютъ съ торжественнымъ наслажденіемъ... А ночь летитъ тихо и плавно, какъ на крыльяхъ. Вотъ уже и утро сѣрѣетъ, и мы расходимся, тронутые, веселые, честные, трезвые (вина у насъ и въ поминѣ тогда не было), съ какой-то пріятной усталостью на душѣ... и даже на звѣзды какъ-то довѣрчиво глядишь, словно онѣ и ближе стали и понятнѣе... Эхъ! славное было тогда время, и не хочу я вѣрить, чтобы оно пропало даромъ!“

Рудинъ прошелъ обѣ стадіи, обычныя въ исторіи развитія мыслящаго дворянина той эпохи: дѣтство, пріучившее его къ праздности, не давшее ему основъ для практической дѣятельности, и юность, развившую въ немъ безплодный паѳосъ и отвлеченный энтузіазмъ. Его жизнь соотвѣтствовала этой подготовкѣ. Разсмотримъ тѣ черты, которыя раскрывались въ этомъ „лишнемъ человѣкѣ“ при столкновеніи съ дѣйствительностью.

Рудинъ — вдохновенный ораторъ. Изъ его рѣчи трудно извлечь практическіе выводы. Онъ держится больше общихъ разсужденій. Но внутренне онъ сливается съ тѣмъ космосомъ, съ тѣмъ міровымъ абсолютнымъ разумомъ, присутствіе котораго всегда чувствовала душа восторженнаго гегеліанца; и потому рѣчь Рудина, несмотря на ея приподнятый тонъ, дышала искренностью, заражала его паѳосомъ окружающихъ, и особенно сильно дѣйствовала на молодежь. Онъ говорилъ мастерски, увлекательно, не совсѣмъ ясно... но самая эта неясность придавала особую прелесть его рѣчамъ. Обиліе мыслей мѣшало Рудину выражаться опредѣлительно и точно. Образы смѣнялись образами; сравненія, то неожиданно смѣлыя, то поразительно вѣрныя, возникали за сравненіями. Не самодовольной изысканностью опытнаго говоруна—вдохновеніемъ дышала его нетерпѣливая импровизація. Онъ не искалъ словъ: они сами послушно и свободно приходили къ нему на уста, и каждое слово, казалось, такъ и лилось прямо изъ души, пылало всѣмъ жаромъ убѣжденія. Рудинъ владѣлъ едва ли не высшей тайной—музыкой краснорѣчія. Онъ умѣлъ, ударяя по однѣмъ струнамъ сердецъ, заставлять смутно звенѣть и дрожать всѣ другія. Иной слушатель и не понималъ въ точности, о чемъ шла рѣчь; но грудь его высоко поднималась, какія-то завѣсы разверзались передъ его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди. Рудинъ говорилъ о томъ, что придаетъ вѣчное значеніе

временной жизни человѣка. Вѣчное во временномъ, раскрытіе абсолютной идеи въ преходящихъ явленіяхъ жизни, обнаруженіе міровой гармоніи въ повседневныхъ фактахъ, — эти исканія русскихъ гегеліанцевъ давали имъ тотъ паѳосъ краснорѣчія, которымъ владѣлъ Рудинъ. Его рѣчи, такъ же, какъ и все его существо, были предчувствіемъ будущаго, симптомомъ пробужденія мысли, уже родившейся, уже зовущей къ правдѣ.

Въ жизни Рудинъ безпомощенъ и несостоятеленъ. Онъ кончаетъ полнымъ банкротствомъ, и его разсказъ въ эпилогѣ—печальная повѣсть идеалиста, не нашедшаго примѣненія своимъ богатымъ силамъ. Онъ пытался дѣйствовать, приносить пользу, вліять на ходъ жизни, но эти попытки остались безрезультатными Онъ встрѣтилъ богатаго чудака, бездарнаго, но одержимаго неутомимымъ рвеніемъ къ наукѣ. Рудинъ увлекся планами широкихъ практическихъ затѣй, которыя можно было осуществить на средства богатаго пріятеля. Онъ накупилъ агрономическихъ книгъ, хотя и не прочелъ ихъ, затѣялъ рядъ усовершенствованій и нововведеній. Другъ дорожилъ его каждой мыслью, принималъ всѣ его предложенія, хотя и смотрѣлъ на него съ тайнымъ недовѣріемъ. Два года Рудинъ почти безконтрольно распоряжался средствами, два года онъ пользовался рѣдко встрѣчающимися въ жизни благопріятными условіями для примѣненія своихъ силъ. И онъ не создалъ ничего. Дѣло шло плохо. Начались ссоры съ богатымъ пріятелемъ. Гегель оказался безполезнымъ для сельскаго хозяина, а къ практической дѣятельности Рудинъ не готовился. И какъ знать, почему постигла Рудина неудача. Авторъ ничего не говоритъ объ ея причинахъ. Онъ не упоминаетъ о томъ, что крѣпостное хозяйство сотрясалось въ своихъ основахъ, и не въ деревнѣ нужно было искать себѣ дѣла лучшимъ силамъ страны, не въ заплатахъ на ветхомъ

платьѣ стараго дворянскаго общества. Не по тѣмъ же ли причинамъ скучалъ всю жизнь предшественникъ Рудина Онѣгинъ, который тоже пробовалъ реформировать сельское хозяйство?

Чтобъ только время проводить,
Сперва задумалъ нашъ Евгеній
Порядокъ новый учредить.

Геніальный поэтъ въ безсмертной строфѣ увѣковѣчилъ трагедію реформаторскихъ стремленій просвѣщеннаго и скучающаго дворянства. Отъ скуки замѣняли они легкимъ оброкомъ „яремъ барщины старинной", врѣзываясь клиномъ въ сложившіяся формы хозяйственныхъ отношеній, не создавая ничего для крушенія этихъ формъ и пріобрѣтая репутацію „опаснѣйшихъ чудаковъ" въ глазахъ сосѣдей. По этимъ же причинамъ Лаврецкій, подводя итоги своему прошлому, съ грустью призналъ безполезной свою жизнь, хотя сознательно работалъ надъ улучшеніемъ быта своихъ крестьянъ.

Но Рудинъ пытался примѣнить свои силы не только въ деревнѣ. Онъ столкнулся и съ той сферой, куда устремлялось въ это время вниманіе Штольцевъ и Соломиныхъ, гдѣ иниціативѣ, уму и изобрѣтательности былъ открытъ широкій просторъ. Онъ захотѣлъ быть предпринимателемъ, войти въ ту новую только еще нарождавшуюся группу крупной буржуазіи, которая не состояла изъ чистыхъ хищниковъ, а представляла собою людей мыслящихъ, органически связывающихъ идею общаго блага съ мыслью о развитіи буржуазіи. Рудинъ сошелся съ нѣкимъ Курбеевымъ. Это былъ, по его словамъ, человѣкъ удивительно ученый, „творческая голова въ дѣлѣ промышленности и предпріятій торговыхъ". У нихъ возникъ рядъ смѣлыхъ проектовъ и между прочимъ идея превратить одну рѣку въ судоходную. Умный Лежневъ однимъ вопросомъ опредѣляетъ причину неудачи: „Этотъ

Курбеевъ былъ капиталистъ?“ Идеалисты и гегеліанцы не понимали роли капитала въ промышленной жизни. Рудинъ началъ дѣло безъ денегъ, онъ думалъ дѣйствовать однимъ убѣжденіемъ, онъ вѣрилъ, что его затѣя есть „общеполезное дѣло“, — обычная ошибка людей отживающаго класса, не умѣющихъ разобраться въ новыхъ формахъ жизни. Столь же печальное фіаско потерпѣла и третья попытка Рудина. Онъ обладалъ знаніями, владѣлъ рѣчью и способностями, онъ сталъ преподавателемъ гимназіи. Свою первую лекцію онъ прочелъ точно въ лихорадкѣ: вниманіемъ, участіемъ и изумленіемъ свѣтились лица его юныхъ слушателей. Но дальше - та же неспособность къ медленному, кропотливому труду, къ „малымъ дѣламъ“. Ученики плохо понимали вдохновеннаго оратора, въ рѣчи котораго было мало фактовъ и много горячаго увлеченія. Товарищи не взлюбили страннаго педагога, который хотѣлъ „коренныхъ преобразованій“. Учитель математики сбилъ его на какомъ-то памятникѣ XV вѣка. Словомъ, произошелъ обычный конфликтъ между тѣмъ, кто „дѣла себѣ исполинскаго ищетъ“, и тѣми, кто принужденъ такъ или иначе влачить существованіе среди „малыхъ трудовъ“. Рудинъ оказался непригоднымъ ни къ какому дѣлу. Въ жизни ему оставалось только влачить праздное существованіе. „Очень страненъ,— говоритъ А. К. Бороздинъ,—тотъ упрекъ, который дѣлается ему нѣкоторыми критиками за то, что онъ не поладилъ во имя блага учениковъ съ разными закорузлыми педантами и интриганами, такъ какъ поладить съ ними значило отказаться отъ мысли о преобразованіяхъ“. Съ этой точки зрѣнія А. К. Бороздинъ считаетъ несправедливымъ упрекать Рудина и за разрывъ его съ богатымъ чудакомъ-помѣщикомъ, и за всѣ остальныя его неудачи. Если критикъ имѣетъ въ виду Добролюбова, произнесшаго безпощадный приговоръ надъ „лишними людьми“, и вообще „дѣтей“,

сурово осудившихъ „отцовъ“, то онъ упускаетъ изъ виду, что Рудина и его сверстниковъ упрекали совсѣмъ не за это. Не въ томъ заключался недостатокъ этихъ людей, что они не умѣли поддѣлываться къ „закорузлымъ“ людямъ. Ихъ вина состояла въ отсутствіи умѣнья, способности и охоты для правильной борьбы съ этими людьми. Они не видѣли тѣхъ общественныхъ силъ, въ сліяніи съ которыми они могли бы отыскать прочный базисъ для плодотворнаго и полезнаго дѣла. Да и едва ли примѣнимо здѣсь слово „вина“. Нельзя винить людей, которыхъ традиція, воспитаніе и крѣпостническій строй жизни сдѣлали неприспособленными къ жизни. Рудинъ страдаетъ отъ своего неумѣнья взяться за дѣло, отъ непониманія жизни. Но едва ли можно спорить противъ того, что человѣкъ, не сумѣвшій осуществить въ гимназіи ни одного изъ задуманныхъ имъ „коренныхъ преобразованій“, ничего не сумѣвшій сдѣлать въ теченіе двухъ благопріятныхъ лѣтъ въ деревнѣ своего богатаго друга, оказавшійся наивнымъ мечтателемъ въ затѣянномъ имъ крупномъ предпріятіи, — что такой человѣкъ непригоденъ къ жизни. Всюду носителямъ лучшихъ идей и стремленій приходится сталкиваться съ „закорузлыми“ людьми, и выходъ не всегда состоитъ въ томъ, чтобы „ладить“ съ ними. Рудинъ не умѣлъ „ладить“, и это— свѣтлая сторона его натуры. Но Рудинъ не умѣлъ бороться и дѣйствовать, и въ этомъ его вина и его трагедія. Онъ былъ баріномъ по натурѣ, несмотря на свою бѣдность.

Мы видѣли, что представляетъ собою Рудинъ какъ мыслитель и членъ общества. Но, быть-можетъ, ни въ чемъ специфическія особенности его натуры не проявились такъ рѣзко, какъ въ его отношеніи къ своему личному счастью. У него была дѣвушка, которая его любила, дѣвушка необыкновенная, и предъ ней онъ оказался тѣмъ же безсильнымъ трусомъ, тѣмъ же без-

помощнымъ мечтателемъ, какимъ былъ въ жизни. Даже для того, чтобы осуществить свое право на личное счастье, не хватило силъ у этого человѣка. Наталья съ захватывающимъ интересомъ слушала его вдохновенныя рѣчи. Она полюбила его потому, что для нея слово и дѣло было одно, и она не сомнѣвалась, что за этими горячими рѣчами скрывается сильная воля и способность къ дѣлу. Въ первый разъ она смутилась и задумалась, когда онъ сказалъ ей, что ему пора отдохнуть. „Вамъ пора отдыхать... Отдыхать могутъ другіе, а вы... вы должны трудиться, стать полезнымъ. Кому же какъ не вамъ“... Она была потрясена, она поняла, кто былъ передъ ней, когда на ея вопросъ „что дѣлать?“ послѣ отказа со стороны матери онъ отвѣтилъ: „покориться“. Да и что могъ отвѣтить Рудинъ? Что дѣлалъ онъ всю свою жизнь, какъ не покорялся обстоятельствамъ. Онъ могъ говорить пламенныя рѣчи о любви, пока отъ него требовались только рѣчи. Но онъ оказался малодушнымъ, жалкимъ трусомъ, когда и личное счастье потребовало отъ него дѣла. „Такъ вотъ, вы примѣняете на дѣлѣ ваши толкованія о свободѣ, о жертвахъ“. Наташа даетъ жестокій урокъ Рудину: „Вы такъ часто говорили о самопожертвованіи, но знаете ли, если бы вы сказали мнѣ сегодня, сейчасъ: „я тебя люблю, но я жениться не могу, я не отвѣчаю за будущее, дай мнѣ руку и ступай за мной“, знаете ли, что я бы пошла за вами, знаете ли, что я на все рѣшилась“.

Намъ остается сказать еще нѣсколько словъ о роли Рудиныхъ въ жизни. У Рудина много достоинствъ. Онъ бережетъ свою свободу, онъ не уживается тамъ, гдѣ приходится вступать въ компромиссъ. Но его безпомощность и непригодность къ жизни лишаютъ его независимости, заставляютъ идти на компромиссы иного рода, мелкіе и постыдные. Онъ живетъ на чужой счетъ и не замѣчаетъ, что нерѣдко попадаетъ въ

положеніе приживала. Его самолюбіе, его желаніе всегда облекаться въ нарядъ необыкновеннаго человѣка заставляютъ его искать убѣжища въ позѣ и въ искусственномъ паѳосѣ. Рудинъ всегда позируетъ, и тогда, когда ни съ того, ни съ сего пріѣхалъ къ Волынцеву со своимъ непрошеннымъ довѣріемъ и уваженіемъ, и тогда, когда пишетъ свое прощальное письмо Наталіи, и тогда, когда приходитъ проститься съ Дарьей Михайловной. И въ самой рисовкѣ, въ самой позѣ Рудина много искренности. Есть люди, для которыхъ поза является ихъ естественнымъ состояніемъ, слово — ихъ единственнымъ дѣломъ. Таковъ Рудинъ. Оставляютъ ли слѣдъ по себѣ подобные люди? Отвѣтомъ можетъ служить восторженное поклоненіе юнаго Басистова: „Клянусь, этотъ человѣкъ не только умѣлъ потрясти тебя, онъ съ мѣста тебя сдвигалъ, онъ не давалъ тебѣ останавливаться, онъ до основанія переворачивалъ, зажигалъ тебя!“ Много споровъ возбудилъ вопросъ объ отношеніи самого Тургенева къ своему герою. Авторъ строже судитъ его въ первой половинѣ романа и мягче—во второй. Раздраженіе Лежнева противъ Рудина въ концѣ-концовъ превращается въ восторженный панегирикъ ему. Но эта двойственность только кажущаяся. Она — правдивое выраженіе мятущагося ума, страстно ищущаго истины, отраженіе колебаній той эпохи. Не въ паденіи заключается высшее несчастье человѣка: оно—въ сознаніи паденія. И не было противорѣчія въ томъ, что чувство раздраженія и негодованія противъ героя смѣшивалось въ душѣ Тургенева съ чувствомъ нѣжной жалости къ нему и преклоненія передъ его благороднымъ, хотя и безплоднымъ энтузіазмомъ. Творецъ Рудина умѣлъ негодовать при видѣ пропадающей силы, но умѣлъ цѣнить самую силу.

Каждая эпоха оставляетъ поучительный урокъ человѣчеству, произноситъ свое слово, ставитъ личность

въ новое, раньше невѣдомое отношеніе къ міру, открываетъ въ человѣческой душѣ новый уголокъ. И то вѣчное, что извлечетъ исторія изъ думъ и настроеній идеалиста 40-хъ годовъ, нашло свое воплощеніе въ лицѣ Рудина. Его имя уже стало нарицательнымъ именемъ, символомъ ума, который въ отчаяніи видитъ, что перерѣзанъ таинственный нервъ, отдѣляющій его отъ воли. „Онъ не сдѣлаетъ самъ ничего именно потому, что въ немъ натуры, крови нѣтъ; но кто въ правѣ сказать, что онъ не принесетъ и не принесъ уже пользы; что его слова не заронили много добрыхъ сѣмянъ въ молодыя души, которымъ природа не отказала, какъ ему, въ силѣ дѣятельности, въ умѣньѣ исполнять собственные замыслы?“

Въ „Рудинѣ“ Тургеневъ изобразилъ внутренній міръ „лишняго человѣка“. Въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ онъ увѣковѣчилъ обстановку, въ которой подготовлялась и развертывалась его психологическая трагедія. Тусклыми красками осени окрашена эта повѣсть. Мы въ мірѣ мягкихъ проселочныхъ дорогъ, своенравныхъ старушекъ, рукъ которыхъ никогда не покидаютъ проворно бѣгающія спицы, въ мірѣ „Символовъ и Эмблемъ“ Максимовича-Амбодика съ изображеніями въ родѣ „купидона и медвѣдя, лижущаго своего медвѣжонка“, въ мірѣ религіозныхъ и любящихъ пѣсенъ, сказки которыхъ съ трепетомъ слушаетъ на ночь барчонокъ. Сюда не доносился шумъ города, первый говоръ машинъ, первые радостные крики рождающагося общества. И странными кажутся здѣсь оторвавшіяся отъ стараго гнѣзда блудныя дѣти, когда они возвращаются на родину, обожженныя огнемъ страстей, чуждыхъ этимъ мирнымъ полямъ, потрясенныя идеями, непонятными въ этихъ пріютахъ традиціи и вѣры. Имъ никогда уже не слиться гармонически съ этой усадебной атмосферой, но имъ никогда и не уйти отъ ея могучей власти. Всегда одинокими будутъ блуждать они по океану

жизни и здѣсь, и въ столицѣ, не приставъ ни къ одной пристани, повсюду принося свою тоску. Приложившись головой къ подушкѣ и скрестивъ руки на груди, Лаврецкій глядѣлъ на пробѣгавшіе вѣеромъ загоны полей, на медленно мелькавшія ракиты, на глупыхъ воронъ и грачей, съ тупой подозрительностью взиравшихъ бокомъ на проѣзжавшій экипажъ, на длинныя межи, заросшія чернобыльникомъ, полынью и полевой рябиной; онъ глядѣлъ... и эта свѣжая, степная, тучная голь и глушь, эта зелень, эти длинные холмы, овраги съ приземистыми дубовыми кустами, сѣрыя деревеньки, жидкія березы,—вся эта, давно имъ невиданная, русская картина навѣвала на его душу сладкія и въ то же время почти скорбныя чувства, давила грудь его какимъ-то пріятнымъ давленіемъ. Образы прошедшаго не спѣша поднимались, всплывали въ его душѣ, мѣшаясь и путаясь съ другими представленіями. Лаврецкій, Богъ знаетъ почему, сталъ думать о Робертѣ Пилѣ... о французской исторіи... о томъ, какъ бы онъ выигралъ сраженіе, если бы былъ генераломъ. Ему чудились выстрѣлы и крики.

Это настроеніе царитъ въ романѣ. Выстрѣлы и крики сливаются въ причудливую амальгаму съ воспоминаніями дѣтства. Образы Роберта Пиля и французской исторіи врываются въ мирный просторъ безпредѣльныхъ полей. Шумъ міровой жизни, разъяренный ревъ волнующагося человѣческаго моря впервые достигъ до слуха сонныхъ обитателей „дворянскихъ гнѣздъ“ и смутилъ ихъ покой, смутилъ безплодно. Лаврецкіе и Рудины принесли съ собою знанія, пробудившуюся мысль и совѣсть передового дворянства. Но они натолкнулись на вѣковыя традиціи, на глубоко укоренившіяся формы крѣпостного быта. Они ничего не могли сдѣлать для его потрясенія, потому что ихъ сердца сочувственнымъ крикомъ отзывались на каждый ударъ колокола сельской церкви, звавшій къ заутренѣ,

на шопотъ листьевъ въ старомъ саду. „Сладкія и въ то же время скорбныя“ чувства навѣвала на душу эта картина, „давила его грудь какимъ-то пріятнымъ давленіемъ“. Не этимъ людямъ предстояло разрушить міръ отношеній, который былъ ихъ роднымъ міромъ. То, что они принесли съ собою изъ другого міра, только нарушило гармонію въ ихъ собственной душѣ, поселило въ ней разладъ, но не дало имъ побѣды надъ прошлымъ. Исторія Лаврецкаго вскрываетъ предъ нами новую сторону общей картины. Лаврецкій и Рудинъ—типы одного порядка. Хотя въ ихъ общественномъ положеніи, во внѣшнихъ событіяхъ ихъ жизни много несходнаго, но строй мыслей того и другого обусловленъ традиціями и настроеніями усадебнаго барства.

Воспитаніе Лаврецкаго подготовило его къ тому, чтобы онъ всю жизнь провелъ въ разладѣ съ самимъ собою. Его колыбель окружала атмосфера мрачныхъ ужасовъ и патріархальныхъ идиллій крѣпостничества. Его прадѣдъ былъ человѣкъ „бѣшенаго нрава, безумной щедрости и алчности неутолимой“. Онъ былъ богатъ. Преданія объ его самоуправствѣ и жестокостяхъ долго сохранялись въ его помѣстьѣ. Дѣдъ Лаврецкаго былъ хлѣбосолъ и самодуръ. Какъ тараканы, сползались знакомые и незнакомые люди въ его обширныя, теплыя и неопрятныя хоромы, „все это наѣдалось, чѣмъ попало, но досыта, напивалось допьяна и тащило вонъ, что могло, прославляя и величая ласковаго хозяина; и хозяинъ, когда былъ не въ духѣ, тоже величалъ своихъ гостей дармоѣдами и прохвостами, а безъ нихъ скучалъ“. Таковы типы предковъ—эти яркіе этапы процесса разоренія дворянства. Отецъ Лаврецкаго Иванъ воспитывался у богатой тетки подъ руководствомъ цѣлаго штата учителей и француза-гувернера, и когда явился въ деревню къ отцу, то сразу возбудилъ его неудовольствіе своими столичными привычками и костюмами и своими „вольтерьян-

скими" идеями. Лаврецкій былъ плодомъ его связи съ крѣпостной дѣвушкой Малашей, на которой Иванъ Лаврецкій женился на-зло взбѣшенному отцу. Ставши по смерти отца владѣльцемъ имѣнія, Иванъ Лаврецкій вернулся изъ-за границы англоманомъ. Но его англоманство выразилось не въ переустройствѣ имѣнія, гдѣ все, кромѣ нѣсколькихъ внѣшнихъ перемѣнъ, осталось по-старому, а въ системѣ воспитанія, которую онъ примѣнилъ къ сыну. Онъ рѣшилъ сдѣлать изъ него „спартанца". Онъ одѣлъ сына по-шотландски, двѣнадцатилѣтній мальчикъ сталъ ходить съ обнаженными икрами и съ пѣтушьимъ перомъ на складномъ картузѣ; воспитателемъ его сталъ молодой швейцарецъ, изучившій гимнастику до совершенства; музыку, какъ занятіе, недостойное мужчины, изгнали навсегда; естественныя науки, международное право, математика, столярное ремесло, по совѣту Жанъ-Жака Руссо, и геральдика для поддержанія рыцарскихъ чувствъ,—вотъ чѣмъ долженъ былъ заниматься будущій „человѣкъ"; его будили въ четыре часа, тотчасъ же окачивали холодной водой и заставляли бѣгать вокругъ столба на веревкѣ. Отецъ счелъ долгомъ поселить въ немъ съ раннихъ лѣтъ презрѣніе къ женщинѣ. Нелѣпое воспитаніе исказило натуру Лаврецкаго, и онъ вступилъ въ жизнь, совершенно неподготовленный къ ней. Если барская усадьба вообще давала мало матеріала для пониманія жизни, то Лаврецкій, благодаря воспитанію, вдвойнѣ оказывался „умной ненужностью" въ Россіи. Съ людьми онъ не умѣлъ сходиться, женщинамъ не смѣлъ взглянуть въ глаза. Далѣе университетъ... Фигура Михалевича, энтузіаста и стихотворца, имѣвшаго вліяніе на Лаврецкаго,—лучшее свидѣтельство того, что и Лаврецкаго коснулось то дыханіе идеализма, та атмосфера споровъ и отвлеченныхъ словопреній, которыми дышали тогдашніе студенческіе кружки.

Лаврецкій оказался въ жизни тѣмъ же „лишнимъ человѣкомъ“, что и Рудинъ. Его личная жизнь была разбита съ первыхъ же шаговъ. Онъ не зналъ женщинъ и принялъ за божество недостойную женщину. Варвара Павловна насмѣялась надъ его любовью, и онъ ушелъ отъ своей жены. Его жажда дѣла, его стремленіе разобраться въ окружающей жизни и выполнить свой долгъ передъ обществомъ принесли ему не больше удовлетворенія, чѣмъ Рудину его попытки къ практической дѣятельности. Правда, вернувшись въ деревню, онъ какъ-будто имѣетъ въ виду опредѣленную программу дѣйствій. Когда Паншинъ его спрашиваетъ, что онъ намѣренъ дѣлать, Лаврецкій отвѣчаетъ: „Пахать землю и стараться какъ можно лучше ее пахать“. Мало того,—онъ развиваетъ эту программу, приближаясь къ славянофильскимъ идеямъ. Онъ доказалъ Паншину „невозможность скачковъ и надменныхъ передѣлокъ, не оправданныхъ ни знаніемъ родной земли, ни дѣйствительной вѣрой въ идеалъ, хотя бы отрицательный, привелъ въ примѣръ свое собственное воспитаніе, требовалъ прежде всего признанія народной правды и смиренія передъ нею,—того смиренія, безъ котораго и смѣлость противу лжи невозможна, не отклонялся, наконецъ, отъ заслуженнаго, по его мнѣнію, упрека въ легкомысленной растратѣ времени и силъ“. Въ этой кратко формулированной программѣ много неопредѣленнаго. Изъ нея съ непреложной ясностью вытекаетъ лишь одно, что Лаврецкій не представлялъ себѣ дѣла внѣ своей усадьбы. Ни одного слова о крѣпостномъ правѣ, какъ первоисточникѣ всѣхъ золъ, ни одного намека на знаменитыя слова Тургенева: „въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ — крѣпостное право“. Тургеневъ не изображаетъ намъ своего героя съ точки зрѣнія того соціальнаго конфликта, который принялъ та-

кую острую форму. Мы почти не видимъ Лаврецкаго въ роли помѣщика. Мы не знаемъ, какъ онъ осуществлялъ свою программу. Тоскующій дворянинъ обрисованъ передъ нами съ той стороны, съ которой мы видимъ, что онъ умѣетъ любить и глубоко чувствовать, умѣетъ тонко понимать искусство. Только вскользь упоминаетъ авторъ о попыткахъ Лаврецкаго „порядокъ новый учредить". Но зато онъ сливается въ одно цѣлое со своимъ героемъ, сочувственный откликъ родственной романтической натуры звучитъ въ его душѣ, когда онъ уноситъ своего героя въ царство любовнаго упоенія или въ міръ грезъ. И чудится, будто романтическое томленіе было истинной стихіей и Лаврецкаго, и его творца, общественный пылъ ихъ растворялся въ этой стихіи, и романъ превращается въ печальный гимнъ умирающей культурѣ, въ погребальную пѣсню, въ которой звенятъ слезы тоски о старомъ мірѣ, въ которомъ очарованное око уже не видитъ истязуемыхъ рабовъ, а усматриваетъ однѣ только счастливыя идилліи, и до человѣческаго слуха доносятся не стоны крестьянства, а пѣвучій потокъ торжествующихъ звуковъ великаго, непонятаго Лемма. Тургеневу, гуманному врагу крѣпостного права, пришлось сыграть особую роль въ борьбѣ съ этимъ страшнымъ врагомъ. Ему предстояло оплакать умирающее царство, и можно ли бросить упрекъ великому художнику, что онъ по-своему сдержалъ свою „аннибалову клятву", что въ процессѣ начинавшагося освобожденія онъ съ особенной любовью прислушивался къ звону тѣхъ душевныхъ струнъ, которыя звучали въ его собственной душѣ. Торжественно лилась музыка Лемма. „Сладкая, страстная мелодія съ перваго звука охватывала сердце; она вся сіяла, вся томилась вдохновеніемъ, счастьемъ, красотою; она росла и таяла; она касалась всего, что есть на землѣ дорогого, тайнаго, святого; она дышала безсмертной грустью и ухо-

дила умирать въ небеса". Эта мелодія, „уходившая умирать въ небеса, — символъ „дворянскаго гнѣзда", символъ идеалистическаго воодушевленія 40-хъ годовъ, предчувствіе новой жизни и похоронная пѣснь старой. И недаромъ Лаврецкій слушалъ похолодѣлый и блѣдный отъ восторга, недаромъ „эти звуки такъ и впивались въ его душу, только-что потрясенную счастьемъ любви". Вотъ въ чемъ состояла истинная стихія этихъ людей. Правда, въ эпилогѣ еще въ двухъ—трехъ словахъ упоминается о дѣятельности Лаврецкаго въ деревнѣ. Онъ „имѣлъ право быть довольнымъ: онъ сдѣлался дѣйствительно хорошимъ хозяиномъ, дѣйствительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя, онъ, насколько могъ, обезпечилъ и упрочилъ быть своихъ крестьянъ". Но такая дѣятельность не могла удовлетворить мыслящій умъ просвѣщеннаго человѣка. Даже лучшій хозяинъ въ крѣпостномъ хозяйствѣ едва ли могъ найти удовлетвореніе. „Мы,—говоритъ Леврецкій, обращаясь въ молодому поколѣнію,—хлопотали о томъ, какъ бы уцѣлѣть,—и сколько изъ насъ не уцѣлѣло!--а вамъ надобно дѣла дѣлать, работать",—значитъ, не считалъ свое дѣло Лаврецкій настоящимъ дѣломъ. Иначе не сказалъ бы онъ въ заключеніе своей жизни: „Здравствуй, одинокая старость! Догорай, безполезная жизнь!" Не считалъ его дѣла настоящимъ дѣломъ и чуткій правдивый художникъ. Иначе не сказалъ бы Тургеневъ о немъ: „Что сказать о людяхъ, еще живыхъ, но ушедшихъ съ земного поприща". Рудинъ погибъ на баррикадѣ безъ цѣли въ чужой странѣ и въ чужой борьбѣ, и эта случайная смерть избавила его отъ необходимости влачить безплодное существованіе. Лаврецкій дожилъ до старости, но для жизни и дѣла онъ умеръ такъ же рано, какъ и Рудинъ.

IV.

Тургеневъ и Віардо.—Разрывъ съ русскимъ обществомъ.—Примиреніе съ обществомъ и послѣдніе годы жизни.—Общее настроеніе, которымъ проникнутъ романъ „Наканунѣ".—Инсаровъ среди русскихъ интеллигентовъ. — Характеристика Инсарова.—Заглавіе романа.—Происхожденіе „Отцовъ и дѣтей", отношеніе Тургенева и критики къ Базарову. — „Отцы": Павелъ Петровичъ Кирсановъ. — Міросозерцаніе Базарова и характеръ его.—Послѣдователенъ ли онъ? — Общее настроеніе, царящее въ „Отцахъ и дѣтяхъ".

Когда въ „Современникѣ" появился „Хорь и Калиныч", Тургеневъ уже находился за границей. Въ 1850 г. онъ вернулся въ Россію, получивъ извѣстіе о смерти матери. Именно въ это время онъ занимался устройствомъ своихъ крестьянъ, и въ этотъ періодъ времени его постигла та „непріятность", которая входитъ въ качествѣ обычнаго факта въ біографическій формуляръ почти каждаго русскаго писателя. Послѣ появленія „Записокъ охотника" на Тургенева стали смотрѣть косо. Его пребываніе за границей и близкія отношенія къ лицамъ, не пользовавшимся репутаціей благонадежныхъ людей,—все это навлекло на Тургенева неудовольствіе властей, и ничтожнаго предлога было достаточно для его ареста, послѣдовавшаго въ 1852 году. Тургеневъ былъ сосланъ въ свое село Спасское безъ права выѣзда. Добившись, наконецъ, свободы, онъ уѣхалъ въ 1855 году за границу. Съ этого времени его жизнь тѣсно связана съ семействомъ знаменитой въ свое время артистки Віардо-Гарсіа, съ которой Тургеневъ познакомился еще въ срединѣ сороковыхъ годовъ и съ которой его разлучила на время ссылка. Исторія отношеній Тургенева къ этой семьѣ еще и въ настоящее время не выяснена вполнѣ. До смерти матери, когда Тургеневъ страшно бѣдствовалъ, почти лишившись поддержки деспотической старухи, недовольной его литературными занятіями, онъ нашелъ въ семьѣ Віардо гостепріимство. Онъ находился у нихъ во Франціи въ этотъ тяжелый періодъ своей

жизни, и, несомнѣнно, гостепріимству этой семьи онъ обязанъ тѣмъ, что могъ приняться за работу. „Здѣсь,— говорилъ онъ Фету,—не имѣя средствъ жить въ Парижѣ, я провелъ всю зиму въ полномъ одиночествѣ, питаясь бульономъ изъ курицы и яичницей, которые мнѣ готовила старая служанка. Здѣсь, чтобы заработать себѣ денегъ, я написалъ большую часть „Записокъ охотника“.

Трудно въ настоящее время установить опредѣленно характеръ отношеній Тургенева къ этой семьѣ, съ которой онъ ѣздилъ изъ города въ городъ, но большинство біографовъ сходится на томъ, что у супруговъ Віардо Тургеневъ искалъ того, чего ему недоставало на родинѣ. Ихъ сорокалѣтняя дружба до конца жизни нашего писателя сохранила характеръ артистической и интеллектуальной симпатіи. Тургеневъ былъ одинокимъ съ дѣтства въ домѣ матери, онъ не разъ подвергался впослѣдствіи жестокимъ нападкамъ со стороны печати и молодежи, не разъ заявлялъ о томъ, что мрачная дѣйствительность, которую онъ видѣлъ передъ собою въ Россіи, отталкивала его отъ себя дѣлала его чуждымъ этой дѣйствительности, одинокимъ. Онъ былъ горячимъ западникомъ, и въ Европѣ онъ нашелъ ту развитую художественную, литературную и научную жизнь, которой онъ не находилъ у себя на родинѣ. Въ семьѣ Віардо, жившей въ атмосферѣ артистическихъ и умственныхъ интересовъ, Тургеневъ могъ найти надлежащую оцѣнку своей тонкой и изящной натурѣ и вкусамъ,—оцѣнку, которой онъ часто не находилъ у себя на родинѣ. Повидимому, главной основой его привязанности къ семьѣ Віардо было то, что въ лицѣ ея онъ встрѣтилъ понимающихъ его людей, близкихъ ему по своимъ вкусамъ и кругу его интересовъ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ его письма къ супругамъ Віардо. Здѣсь и разсужденія объ артистическихъ успѣхахъ г-жи Віардо, тонкія замѣчанія и со-

вѣты относительно ея игры, сообщенія о новыхъ прочитанныхъ книгахъ, отвѣты на высказанныя въ ея письмахъ замѣчанія о Мендельсонѣ, о музыкѣ и литературѣ, здѣсь детальные отчеты о мысляхъ и настроеніяхъ, навѣянныхъ той или другой книгой, сообщенія о посланныхъ къ Віардо книгахъ, о политическихъ событіяхъ и т. д. Та нѣжность, которой проникнуты письма, написанныя Тургеневымъ въ тяжелыя минуты его жизни, свидѣтельствуетъ о томъ, что у Віардо онъ встрѣчалъ или всегда надѣялся встрѣтить сочувственный откликъ и участіе. Имъ онъ сообщаетъ о своемъ арестѣ и въ письмѣ отъ 1-го мая 1852 года проситъ хранить „все это“ втайнѣ, такъ какъ малѣйшей замѣтки въ газетѣ „будетъ достаточно, чтобы окончательно погубить“ его. При этомъ онъ прибавляетъ слѣдующія характерныя строки: „Ваши письма и воспоминанія о прошедшихъ дняхъ, о Куртавенелѣ,—въ нихъ все мое богатство. Я долго не останавливаюсь на этомъ изъ боязни расчувствоваться. Вы хорошо знаете, что мое сердце всегда съ вами, и сказать это я могу особенно теперь... Моя жизнь кончена, въ ней нѣтъ больше очарованія; я съѣлъ весь свой бѣлый хлѣбъ: будемъ жевать оставшійся пеклеванный“.

Несмотря на подобныя признанія, нестрящія въ письмахъ Тургенева къ Віардо, остается подъ сомнѣніемъ, нашелъ ли онъ въ этой семьѣ вполнѣ тотъ откликъ, котораго искалъ. Его тоска и чувство одиночества не разсѣялись до конца жизни. Такъ, въ письмѣ къ Я. П. Полонскому отъ 7-го апрѣля 1877 года онъ пишетъ, что одно стихотвореніе Полонскаго привело его въ глубокое уныніе. „А чтобы ты понялъ, почему,—прибавляетъ дальше Тургеневъ, — я выписываю нѣсколько строкъ изъ своего дневника: „Полночь. Сижу я опять за своимъ столомъ... а у меня въ душѣ темнѣе темной ночи... Могила словно торопится проглотить меня; какъ мигъ какой, пролетаетъ день, пустой,

безцѣльный, безцвѣтный. Смотришь: опять вались въ постель. Ни права жить, ни охоты нѣтъ, дѣлать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать". Дальше Тургеневъ даже не хочетъ выписывать,—„очень ужъ уныло",—и называетъ себя и Полонскаго „двумя черепками разбитаго сосуда". Мы не знаемъ фактовъ, но несомнѣнно, что повременамъ по крайней мѣрѣ Тургеневъ чувствовалъ себя очень тяжело у своихъ друзей...

„Рудинъ", „Дворянское гнѣздо", „Наканунѣ" (1860 г.) доставили Тургеневу громкую славу, и появленіе каждаго изъ этихъ романовъ было выдающимся литературнымъ событіемъ. Но появленіе въ 1862 году „Отцовъ и дѣтей" вызвало цѣлую бурю и ожесточенныя нападки на Тургенева. Были недовольны и „отцы", и „дѣти". Старое поколѣніе обвиняло самого Тургенева въ нигилизмѣ, въ томъ, что онъ создалъ чуть ли не сатиру на это поколѣніе и солидаренъ съ Базаровымъ. Молодежь, напротивъ того, усматривала въ типѣ Базарова карикатуру на молодое поколѣніе и называла Тургенева отступникомъ, который измѣнилъ дѣлу свободы. Герценъ рѣзко порицалъ этотъ романъ, и между нимъ и Тургеневымъ возникаютъ враждебныя отношенія. Разрывъ Тургенева съ „Современникомъ", имѣвшій мѣсто незадолго до этого, и нападки на него, послѣдовавшія затѣмъ въ этомъ журналѣ, — все это сильно повліяло на настроеніе Тургенева. Еще недавно кумиръ молодежи, писатель съ огромнымъ общественнымъ вліяніемъ, онъ почувствовалъ, что между нимъ и русскимъ обществомъ легла глубокая пропасть. Его пессимизмъ усилился. Одинокимъ и ненужнымъ почувствовалъ себя великій писатель, и свое настроеніе онъ излилъ въ поэтическомъ отрывкѣ „Довольно". „Полно метаться, полно тянуться, сжаться пора: пора взять голову въ обѣ руки и велѣть сердцу молчать. Полно нѣжиться сладкой нѣгой неопредѣленныхъ, но

плѣнительныхъ ощущеній, полно бѣжать за каждымъ новымъ образомъ красоты, полно ловить каждое трепетаніе ея тонкихъ и сильныхъ крылъ. Все извѣдано— все перечувствовано много разъ... усталъ я. Что мнѣ въ томъ, что въ это самое мгновенье заря все шире, все ярче разливается по небу, словно распаленная какою-то всепобѣдною страстью? Что въ томъ, что въ двухъ шагахъ отъ меня, среди тишины и нѣги и блеска вечера, въ росистой глубинѣ неподвижнаго куста, соловей вдругъ сказался такими волшебными звуками, точно до него на свѣтѣ не водилось соловьевъ, и онъ первый запѣлъ первую пѣснь о первой любви? Все это было, было, повторялось, повторяется тысячу разъ— и какъ вспомнишь, что все это будетъ продолжаться такъ цѣлую вѣчность—словно по указу, по закону— даже досадно станетъ!" Все потускнѣло вокругъ, вся жизнь поблекла, и Тургеневъ чувствовалъ, что состарѣлся, что не быть ему больше тѣмъ, какимъ онъ былъ „въ счастливые дни, когда онъ самъ разгорался какъ заря и пѣлъ какъ соловей".

Въ срединѣ 60-хъ годовъ Тургеневъ переселяется въ Баденъ, гдѣ онъ прожилъ по сосѣдству съ Віардо въ выстроенномъ имъ домѣ до 1870 года. Здѣсь Тургеневъ могъ видѣть многочисленныхъ съѣзжающихся сюда представителей русскаго общества, и эти наблюденія дали ему матеріалъ для слѣдующаго его крупнаго романа „Дымъ", который былъ напечатанъ въ 1867 году. Романъ этотъ тоже вызвалъ оживленные толки въ обществѣ и немало нападокъ на автора. Послѣ 1870 года Тургеневъ жилъ въ Парижѣ. Изъ-за границы онъ продолжалъ слѣдить за русской жизнью, чутко откликаясь на всѣ новыя теченія въ русскомъ обществѣ. Въ 70-хъ годахъ развилась соціалистическая пропаганда въ народѣ. Молодежь толпами уходила въ деревни пропагандировать революціонныя идеи, и Тургеневъ, внимательно изучавшій это дви-

женіе, печатаетъ въ 1877 году послѣднее изъ своихъ большихъ произведеній, романъ „Новь“. Романъ, въ которомъ движеніе изображалось въ видѣ затѣи незрѣлой молодежи, не могъ возстановить симпатій молодого поколѣнія къ знаменитому автору. Между тѣмъ слава его въ Европѣ росла. Оксфордскій университетъ поднесъ ему почетный дипломъ доктора обычнаго права, въ литературномъ мірѣ Франціи Тургеневъ пользовался всеобщимъ признаніемъ.

Въ февралѣ 1879 года Тургеневъ прибылъ въ Россію, и въ этотъ пріѣздъ кончилась великая распря между нимъ и русскимъ обществомъ. Онъ зналъ, что его популярность упала, и даже не хотѣлъ идти въ засѣданіе Общества любителей россійской словесности, опасаясь какой-нибудь враждебной выходки. Но произошло нѣчто совершенно неожиданное. Когда крупная фигура Тургенева съ характерной сѣдой головой появилась въ залѣ, раздался громъ рукоплесканій, одинъ изъ студентовъ обратился къ писателю съ импровизированной рѣчью, а предсѣдатель Общества тутъ же провозгласилъ автора „Записокъ охотника“ почетнымъ членомъ Общества, что вызвало новую бурю овацій. „Возстановилась,—замѣчаетъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ Н. Я. Стечкинъ,—его популярность, поруганная неизвѣстно почему послѣ „Отцовъ и дѣтей“. Тургеневъ сдѣлался теперь предметомъ безпрерывныхъ овацій въ Москвѣ и Петербургѣ. Реакціонная печать обрушилась на романиста, но тѣ оваціи, предметомъ которыхъ былъ Тургеневъ въ 1880 г., въ знаменитые „пушкинскіе дни“, во время открытія памятника Пушкину въ Москвѣ, доказали, что миръ между писателемъ и обществомъ былъ теперь прочёнъ. Московскій университетъ избралъ его своимъ почетнымъ членомъ, а публика проявленіемъ своихъ восторговъ заставила забыть даже 1879 годъ. 22-го августа 1883 г. не стало автора „Рудина“. Онъ умеръ за границей, и

его смерть дала поводъ къ грандіозной сочувственной манифестаціи всего образованнаго міра. Европейская и американская печать посвятила Тургеневу восторженные некрологи. Многочисленная публика, представители науки, искусства и литературы прощались съ его тѣломъ на вокзалѣ въ Парижѣ. Въ Петербургѣ похоронная процессія растянулась на нѣсколько верстъ, сотни вѣнковъ и депутацій слѣдовали за гробомъ. Несмѣтныя толпы народа покрывали не только улицы, но балконы, заборы, даже крыши домовъ на прилегающихъ улицахъ.

Въ „Рудинѣ“ и „Дворянскомъ гнѣздѣ“ Тургеневъ выразилъ тоску лишняго человѣка, пропѣлъ отходную умирающей усадебной культурѣ. Возбужденіе и жажда дѣла, овладѣвшія русскимъ обществомъ съ воцареніемъ Александра II, дали толчокъ къ повороту въ творчествѣ Тургенева. „Наканунѣ“ былъ первымъ крупнымъ романомъ, въ которомъ Тургеневъ выступаетъ съ новой задачей: онъ стремится отыскать „настоящаго человѣка“,—человѣка дѣла, активную личность. Тургеневъ чувствовалъ, что нарождаются новыя силы, которыя придутъ на смѣну Рудинымъ и Лаврецкимъ, что въ обществѣ уже зрѣетъ тотъ типъ, въ которомъ нуждается Россія, человѣкъ воли, типъ больше дѣйствующей, чѣмъ мыслящей и анализирующей личности. Гамлеты думаютъ, но не дѣйствуютъ, Донъ-Кихоты дѣйствуютъ, не раздумывая, очертя голову, бросаются въ опасность, не охлаждая своего пыла анализомъ. Тургеневъ въ своей статьѣ „Гамлетъ и Донъ-Кихотъ“ развилъ эту мысль о дѣйствующихъ и анализирующихъ натурахъ. Онъ отдалъ предпочтеніе Донъ-Кихоту передъ Гамлетомъ. Его Рудины и Лаврецкіе — натуры гамлетовскія. Его Инсаровъ — воплощеніе той активной силы, которую видѣлъ Тургеневъ въ Донъ-Кихотѣ. „Наканунѣ“, это—радостный крикъ предчувствія, нетерпѣливое стремленіе художника

найти конкретный образъ, котораго еще не было въ русской дѣйствительности и котораго она ждала, требовала. Это было наканунѣ великихъ реформъ. Казалось, что теперь дѣло только за людьми, за сильными личностями, которыя сумѣютъ растворить въ общенародномъ дѣлѣ, получить могучія силы и желѣзную волю въ служеніи ясному народному дѣлу. Этотъ порывъ, это нетерпѣливое сознаніе потребности въ сильныхъ людяхъ воплотилъ Тургеневъ въ своемъ романѣ.

Въ чемъ заключается обаяніе Инсарова? Что даетъ ему могучую власть надъ окружающими и покоряетъ ему сердце такой дѣвушки, какъ Елена? Въ Инсаровѣ нѣтъ ничего необыкновеннаго, и въ то же время онъ окруженъ въ романѣ особымъ ореоломъ, всѣ относятся къ нему какъ къ существу необыкновенному. Его обаяніе заключается только въ той задачѣ, которой онъ служитъ. Его обаяніе—только въ ясномъ сознаніи цѣли, которое даетъ ему желѣзную волю и неопреодолимую силу. Въ немъ есть то, чего недоставало русскимъ людямъ и чего они такъ пламенно искали. Онъ знаетъ, что нужно дѣлать для своей родины. Его сердце бьется въ унисонъ съ сердцемъ его народа. Великое счастье для мыслящаго человѣка, если онъ сознаетъ, что не безпочвенно работаетъ его мысль, что его идеи вырастаютъ изъ глубины народнаго сердца. Этого счастья не знала русская интеллигенція, состоявшая въ своемъ большинствѣ изъ мыслящаго барства, метавшаяся въ въ своемъ безплодномъ стремленіи послужить народному дѣлу. Сколько образованныхъ русскихъ людей той эпохи пожертвовали бы многимъ, чтобы имѣть право сказать тѣ слова, которыя съ ясной и открытой совѣстью произноситъ Инсаровъ. „Замѣтьте: послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Болгаріи и я,—мы желаемъ одного и того же. У всѣхъ у насъ одна цѣль. Поймите, какую это даетъ увѣренность и крѣпость“. Для русской интеллигенціи отступала на второй планъ

та мысль, что между маленькой Болгаріей и великой Россіей глубокая разница, что простая, хотя и огромная задача, стоявшая передъ небольшимъ народомъ, не можетъ идти въ сравненіе съ сложными политическими, соціальными и нравственными проблемами, волновавшими русское общество. Русская интеллигенція жаждала этой „увѣренности и крѣпости", которой владѣлъ Инсаровъ и которой не было у нея, она искала этой твердой почвы, которая была у него, она чувствовала, что только тогда, когда она также сольется въ нераздѣльное цѣлое съ народомъ, у насъ появятся свои Инсаровы. Спустя десятилѣтіе она бросится къ народу, начнется знаменитое „хожденіе въ народъ". Инсаровъ былъ типомъ будущаго, психологической программой, образцомъ, до котораго не дошелъ еще русскій интеллигентъ.

Именно съ этой точки зрѣнія слѣдуетъ подходить къ Инсарову. Только на фонѣ тогдашней русской дѣйствительности становится понятнымъ обаяніе этого въ сущности ограниченнаго человѣка. Это видятъ всѣ, видитъ Елена, видитъ Берсеневъ, видитъ даже талантливый, но неустойчивый Шубинъ. Инсаровъ не можетъ идти въ сравненіе съ русскими интеллигентами. Онъ не знаетъ тѣхъ широкихъ научныхъ проблемъ, которыя занимаютъ Берсенева. Ему чужды необъятные горизонты и заманчивыя перспективы, поддерживавшія энтузіазмъ въ душѣ русскихъ гегеліанцевъ. Онъ не интересуется искусствомъ, и ему не понять восторговъ и слезъ, полетовъ и паденій Шубина. Но онъ цѣльный человѣкъ, и въ этомъ его сила. Русскіе интеллигенты живутъ безпочвенными идеалами. Все, что они дѣлаютъ, полезно и прекрасно; наука и искусство нужны народу такъ же, какъ и свобода, но народъ еще не знаетъ и не понимаетъ ихъ цѣлей; и въ этихъ цѣляхъ есть что-то ложное, что-то такое, что всегда будетъ отравлять высокія минуты наслажденія наукой

и искусствомъ. Елена сравниваетъ Инсарова съ Берсеневымъ, и ея чуткое сердце сразу отгадало, въ чемъ заключается преимущество послѣдняго. Въ Инсаровѣ нѣтъ лжи въ упомянутомъ выше смыслѣ, нѣтъ искусственности и отвлеченности. „Вотъ, наконецъ, правдивый человѣкъ; вотъ на кого положиться можно. Этотъ не лжетъ; это первый человѣкъ, котораго я встрѣчаю, который не лжетъ; всѣ другіе лгутъ; все лжетъ". Ложь или, вѣрнѣе, отсутствіе реальной почвы придавало трагическій отпечатокъ всѣмъ, даже самымъ благороднымъ стремленіямъ прогрессивнаго дворянства, представлявшаго тогдашнюю русскую интеллигенцію, и Елена чувствовала это. Внѣ народа и безъ народа нѣтъ величія даже въ величайшихъ идеяхъ, въ величайшихъ порывахъ, живущихъ въ душѣ избранной части общества: таковъ былъ тайный голосъ, сжимавшій сердца лучшихъ людей эпохи. „Андрей Петровичъ, — думала Елена, — можетъ-быть, ученѣе его, можетъ-быть, даже умнѣе... Но я не знаю, онъ передъ нимъ такой маленькій. Когда *тотъ* говоритъ о своей родинѣ, онъ растетъ и растетъ, и лицо его хорошѣетъ, и голосъ какъ сталь, и нѣтъ, кажется, тогда на свѣтѣ такого человѣка, передъ кѣмъ бы онъ глаза опустилъ. И онъ не только говоритъ, — онъ дѣлаетъ и будетъ дѣлать". Еще лучше опредѣляетъ недостатки и преимущества Инсарова Шубинъ: „Талантовъ никакихъ, поэзіи нема, способностей къ работѣ пропасть, память большая, умъ не разнообразный и не глубокій, но здравый и живой, суть и сила и даже даръ слова, когда рѣчь идетъ объ его, между нами сказать, скучнѣйшей Болгаріи... Суть, суть, а всѣхъ насъ въ порошокъ стереть можетъ. Онъ со своею землею связанъ — не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся къ народу: влейся, молъ, въ насъ живая вода! Зато и задача его легче, удобопонятнѣе: стоитъ только турокъ вытурить, велика штука!"

Таково значеніе Инсарова въ исторіи русскаго общественнаго движенія. Онъ послужилъ для проясненія общественнаго сознанія. Онъ далъ возможность русскимъ интеллигентамъ оглянуться на себя, увидать богатый запасъ интеллектуальныхъ силъ и идеализма, который придавалъ людямъ 40-хъ годовъ столько нравственной красоты и благородства, и въ то же время сознать то основное несчастье русской интеллигенціи, которое отнимало у этихъ силъ и у этого идеализма ихъ реальное значеніе, подрѣзывало крылья у могучихъ орловъ, превращая ихъ въ безсильныхъ мучениковъ идеи при всей широтѣ ихъ замысловъ и порывовъ.

Нетрудно уловить тѣ свойства характера, которыя дѣлали Инсарова полной противоположностью Рудинымъ и Лаврецкимъ. Онъ прежде всего человѣкъ дѣла, а не слова. Онъ опредѣляетъ человѣка и квалифицируетъ нравственныя цѣнности только по проявленію ихъ въ дѣйствіи. Онъ не принимаетъ совершенно въ расчетъ тѣхъ силъ и того паѳоса, который имѣется на-лицо, но не выразился въ активномъ усиліи. „Вы очень любите свою родину?“—спрашиваетъ Елена. Сколько вдохновенныхъ рѣчей могъ бы сказать на эту тему Рудинъ, который не сумѣлъ бы претворить любовь къ родинѣ въ активный шагъ, въ реальное дѣйствіе. Инсаровъ отвѣчаетъ простой фразой, но фразой, въ которой сказался онъ весь: „Это еще неизвѣстно... Вотъ когда кто-нибудь изъ насъ умретъ за нее, тогда можно будетъ сказать, что онъ ее любилъ“. Чувства и люди квалифицируются въ его глазахъ только по активнымъ проявленіямъ.

Другая черта Инсарова, отдѣляющая его отъ идеалистовъ 40-хъ годовъ, это — почти грубый матеріализмъ, отсутствіе поэзіи, мечтательности и идеализма въ смыслѣ той эпохи. Онъ—почти предшественникъ

Базарова въ своей органической враждебности всякой мечтѣ и всякому романтизму, который мѣшаетъ настоящему дѣлу. Когда онъ „швырнулъ“ въ воду великана-нѣмца, оскорбившаго Елену во время прогулки, ее „перевернуло“. Она точно на минуту почувствовала, что въ немъ нѣтъ того эстетическаго благородства, того внутренняго изящества, которое было преимуществомъ русскихъ интеллигентовъ: „Заступиться онъ умѣетъ,— пишетъ Елена въ своемъ дневникѣ.—Но къ чему же эта злоба, эти дрожащія губы, этотъ ядъ въ глазахъ? Или, можетъ-быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцомъ и остаться кроткимъ и мягкимъ? Жизнь— дѣло грубое, сказалъ онъ мнѣ недавно. Я повторила это слово Андрею Петровичу. Онъ не согласился. Кто изъ нихъ правъ?“ Искусства Инсаровъ не признаетъ. Надъ любовью онъ хотя и не смѣется подобно Базарову, но онъ умѣетъ подавлять въ себѣ это чувство лучше Базарова. Онъ сообщаетъ Берсеневу, что уѣхалъ бы, если бы влюбился, такъ какъ никогда ради личнаго чувства не измѣнитъ своему долгу. Когда онъ почувствовалъ, что полюбилъ Елену, онъ холодно и жестоко сдержалъ свое слово. Онъ хотѣлъ уѣхать, не простившись, не повидавшись съ нею въ послѣдній разъ, даже не сдѣлавъ попытки узнать, какія чувства питаетъ она къ нему. Онъ согласился только тогда соединить ея судьбу со своею, когда она сама отыскала его, когда она растворила свою личность въ его личности и вмѣстѣ съ его личностью растворилась въ дѣлѣ его родины. Онъ, любившій Елену такъ, какъ умѣютъ любить подобныя ему сильныя натуры, ничѣмъ не пожертвовалъ для ея личности, для ея вкусовъ, потребностей и привычекъ. Онъ уничтожилъ совершенно ея личность: „Тебѣ придется разорвать всѣ твои связи съ отечествомъ, съ родными... Ты должна будешь отстать отъ всѣхъ твоихъ привычекъ... тамъ одна между чужими, ты, можетъ-быть, принуждена будешь работать“...

Онъ ни на мгновеніе не задавался вопросомъ, вынесетъ ли любимое имъ существо эту страшную ломку. Онъ, не задумываясь, принесъ бы свою жизнь въ жертву родинѣ, онъ не пощадилъ бы для нея и счастья, и жизни любимой женщины.

Наконецъ, весь обликъ Инсарова, всякій шагъ его есть воплощенное отрицаніе неихикй мыслящаго барства. Онъ разсчитываетъ свое время и силы. Онъ безъ размышленія истратитъ нѣсколько дней для того, чтобы уладить ссору между соотечественниками, возникшую изъ-за пустяка, но онъ подумаетъ о томъ, затратить ли время на чтеніе Фейербаха. Первое имѣетъ прямое отношеніе къ тому дѣлу, которому онъ служитъ, Фейербахъ можетъ оказаться безполезнымъ къ уясненію его задачи. Берсеневъ предлагаетъ ему послѣ обѣда пройти къ Стаховымъ, но онъ отвѣчаетъ, что этотъ вечеръ уже назначенъ для переписки съ болгарскими друзьями, а потому визитъ къ Стаховымъ долженъ быть отложенъ до другого раза. Берсеневъ съ добродушіемъ русскаго барина предлагаетъ ему переѣхать къ себѣ на дачу, конечно, и не заикаясь о какихъ-нибудь матеріальныхъ расчетахъ. Но Инсаровъ категорически опредѣляетъ ту сумму, которую онъ обязанъ уплатить Берсеневу. Словомъ, каждый шагъ его, каждое слово и движеніе есть прямая противоположность халатности и простодушію, которыя выросли на почвѣ патріархальныхъ усадебныхъ отношеній. Инсаровъ, это—та противоположность, которой искала натура Тургенева, а вмѣстѣ съ нимъ и все мыслящее барство той эпохи. И самое нетерпѣніе, съ которыми ждало русское общество этого человѣка, ясность представленія о немъ говорили о томъ, что Россія находится „наканунѣ“, что кончаются расчеты съ прошлымъ, что недалеко уже появленіе русскаго Инсарова. „И недолго намъ ждать его,—писалъ Добролюбовъ,—за это ручается то лихорадочное, мучительное нетер-

пѣніе, съ которымъ мы ожидаемъ его появленія въ жизни. Онъ необходимъ для насъ, безъ него вся наша жизнь идетъ какъ-то не въ зачетъ, и каждый день ничего не значитъ самъ по себѣ, а служитъ только кануномъ другого дня. Придетъ же онъ наконецъ, этотъ день!"

Подъемъ общественнаго самосознанія, вызванный паденіемъ крѣпостного права и реформами, выдвинули на сцену новыхъ людей, и Тургеневъ обращаетъ свой взоръ въ тѣ новыя сферы, которыя шли на смѣну усадебному міру. Чуткій художникъ, откликавшійся на всѣ новыя общественныя и умственныя теченія въ русскомъ обществѣ,—Тургеневъ измѣнилъ бы себѣ, если бы не попытался изобразить разночинца, этого новаго героя, побѣдоносно завоевывшаго себѣ господствующее мѣсто на исторической аренѣ. Впослѣдствіи, когда мы подведемъ итоги новому міросозерцанію въ лицѣ Писарева и лучшихъ представителей тогдашней критики, мы увидимъ, что Базаровъ не былъ вѣрнымъ выразителемъ новыхъ стремленій. Но и до знакомства съ разночинской литературой нетрудно понять, что Тургеневъ, художникъ-дворянинъ, не могъ органически слиться съ новымъ типомъ. Для него разночинецъ былъ предметомъ наблюденія. „Я бралъ морскія ванны въ Вентнорѣ,—разсказываетъ Тургеневъ,—маленькомъ городкѣ на островѣ Уайтѣ,—дѣло было въ августѣ 1860 года,—когда мнѣ пришла въ голову первая мысль „Отцовъ и дѣтей"... Въ основаніе главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинціальнаго врача. Въ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ воплотилось—на мои глаза—то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило названіе нигилизма. Впечатлѣніе, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и въ то же время не совсѣмъ ясно; я, на первыхъ порахъ, самъ не могъ хорошенько от-

дать себѣ въ немъ отчета и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, какъ бы желая провѣрить правдивость собственныхъ ощущеній".

„Отцы и дѣти"--самое заглавіе свидѣтельствуетъ о томъ, что романъ долженъ былъ представить борьбу двухъ поколѣній. Эта борьба, какъ увидимъ дальше, происходила въ литературѣ. Писаревъ разрушалъ эстетику; матеріализмъ и позитивизмъ вступилъ въ бой съ романтическими мечтами и идеализмомъ. Тургеневъ изобразилъ этотъ конфликтъ, но изобразилъ по-своему. Никто лучше Писарева не опредѣлилъ отношенія автора къ его героямъ. Онъ вѣрно угадалъ, что Тургеневъ не былъ вполнѣ на сторонѣ ни «отцовъ», ни «дѣтей». Съ отцами его связывало органическое сродство душъ, но еще въ Рудинѣ и Лаврецкомъ онъ сумѣлъ пропѣть имъ отходную. «Дѣти» были чужды ему, но онъ словно съ завистью любовался на нѣкоторыя качества ихъ, недостававшія его сверстникамъ. Онъ, какъ тонко подмѣтилъ проф. Овсянико-Куликовскій, изображалъ въ лицѣ Базарова свое дополненіе. „Когда онъ создавалъ Базарова, онъ чувствовалъ въ себѣ русскаго дворянина добраго стараго времени,--говоритъ Овсянико-Куликовскій,—онъ сознавалъ свою--дворянскую—общественную и политическую несостоятельность и жаждалъ образа, въ которомъ были бы даны задатки иного призванія; онъ лелѣялъ и облюбовывалъ черты силы, практическаго, дѣлового ума, черты натуры мощной, «наполовину выросшей изъ почвы, можетъ-быть, недоброй». Онъ какъ бы собралъ въ себѣ въ эту минуту всю сумму дворянской мягкости, доброты, эстетики, прекраснодушія, оторванности отъ почвы и т. д. и ощущалъ душевную потребность—увидѣть и полюбить воплощеніе противоположныхъ чертъ—базаровскихъ». Въ сущности Писаревъ первый правильно опредѣлилъ отношеніе автора къ своему

герою, въ то время, какъ одни считали Базарова карикатурой на молодое поколѣніе, а другіе негодовали за то, что авторъ „ползалъ у ногъ Базарова“. Тургеневъ,—писалъ Писаревъ,—смотритъ на настоящее съ высоты прошедшаго. „Развитіе его личнаго міросозерцанія окончилось, но способность наблюдать за движеніемъ чужой мысли, понимать и воспроизводить всѣ ея изгибы осталась во всей своей свѣжести и полнотѣ... Представители прошлаго, „отцы“, изображены съ безпощадной вѣрностью; они люди хорошіе, но объ этихъ хорошихъ людяхъ не пожалѣетъ Россія; въ нихъ нѣтъ ни одного элемента, который дѣйствительно стоило бы спасать отъ могилы и забвенія: а между тѣмъ есть и такія минуты, когда этимъ отцамъ можно полнѣе сочувствовать, чѣмъ самому Базарову».

Выяснивъ отношеніе Тургенева къ своему герою, перейдемъ къ самому роману и остановимся прежде всего на „отцахъ“. Яркимъ представителемъ и защитникомъ старшаго поколѣнія является Павелъ Петровичъ Кирсановъ. Романъ построенъ такимъ образомъ, что „отцы“ пасуютъ передъ „дѣтьми“ и Павелъ Петровичъ изъ споровъ съ Базаровымъ отнюдь не выходитъ побѣдителемъ. Тургеневъ имѣлъ при этомъ въ виду опредѣленный умыселъ. Въ письмѣ къ Случевскому 14-го апрѣля 1862 года онъ говоритъ: „Базаровъ постоянно разбиваетъ П. П., а не наоборотъ... *Вся моя повѣсть направлена противъ дворянства, какъ передовою класса...* Эстетическое чувство заставило меня взять именно *хорошихъ* представителей дворянства, чтобы тѣмъ вѣрнѣе доказать мою тему: если сливки плохи, что же молоко... Н. П. (Николай Петровичъ), это—я, Огаревъ и тысячи другихъ, П. П. (Павелъ Петровичъ)—Столыпинъ, Есаковъ, Боссетъ—то же наши современники. Они лучшіе изъ дворянъ—и именно потому и выбраны мною, чтобы доказать ихъ несостоятельность“. И дѣйствительно, Павелъ Петровичъ обладаетъ многими

качествами, которыя дѣлаютъ его „лучшимъ изъ дворянъ“. Въ немъ много прирожденнаго джентльмэнства. Онъ самъ заявляетъ съ гордостью, что его „всѣ знаютъ за человѣка либеральнаго и любящаго прогрессъ“. Онъ защищаетъ искусство, поэзію, требуетъ, чтобы у каждаго человѣка были идеалы и принципы. Онъ человѣкъ умный, не способенъ погрязнуть въ мелкихъ интересахъ провинціальнаго дворянства, къ которому относился съ пренебреженіемъ. Его уважали представители и старшаго, и молодого поколѣнія, въ особенности за его „безукоризненную честность“. Хозяйственныя дрязги наводили на него тоску, и онъ небрежно оказывалъ денежную помощь своему брату Николаю Петровичу, хозяйство котораго, заведенное недавно на новый ладъ, „скрипѣло какъ немазанное колесо“. Въ этомъ джентльмэнѣ много общаго съ „лишними людьми“, съ Онѣгиными и Лаврецкими. И итоги его жизни тѣ же, что и у нихъ. Это—„лишній человѣкъ“ въ новой обстановкѣ, безполезный, скучающій и тоскующій, но уже съ примѣсью озлобленія, такъ какъ онъ чувствуетъ, что на него ополчаются. Лаврецкіе могли грустить, но имъ не зачѣмъ было раздражаться. Кирсановымъ нельзя успокоиться на меланхолическомъ far niente въ своихъ дворянскихъ гнѣздахъ, потому что новые люди явились и потрясли ихъ покой. Подобно многимъ „лишнимъ людямъ“ Кирсановъ погубилъ свою жизнь благодаря неудачной любви. Онъ истратилъ эту жизнь на романтическое чувство и одинокій доживалъ свои дни въ деревнѣ, слывя среди мѣстныхъ дамъ за «очаровательнаго меланхолика». Этотъ старый типъ «лишняго человѣка» съ его меланхоліей, джентльмэнствомъ, прогрессивными и гуманными воззрѣніями, еще недавно обрисованный Тургеневымъ съ такимъ нѣжнымъ сочувствіемъ, пріобрѣтаетъ теперь въ „Отцахъ и дѣтяхъ“ новый видъ передъ безпощаднымъ судомъ

Базарова. Разночинецъ грубо разоблачилъ то, что скрывалось въ поэзіи стараго барства. Базаровъ не цѣнитъ ни ихъ любовной тоски, ни ихъ гуманнаго обращенія съ крестьянами. Вотъ какой итогъ подводитъ Базаровъ жизни Кирсанова: „Человѣкъ, который всю свою жизнь поставилъ на карту женской любви, и когда ему эту карту убили, раскисъ и опустился до того, что ни на что не сталъ способенъ, этакой человѣкъ—не мужчина, но самецъ. Ты говоришь, что онъ не счастливъ: тебѣ лучше знать; но дурь изъ него не вся вышла. Я увѣренъ, что онъ не шутя воображаетъ себя дѣльнымъ человѣкомъ, потому что читаетъ Галиньяшку и разъ въ мѣсяцъ избавитъ мужика отъ экзекуціи". Такъ осудилъ Тургеневъ устами Базарова тѣхъ, про кого онъ сказалъ: „Это я, Огаревъ, мои современники".

Базаровъ—разночинецъ. Онъ—сынъ лѣкаря и самъ съ гордостью заявляетъ, что его дѣдъ землю пахалъ. Впервые Тургеневъ сдѣлалъ разночинца центральной фигурой романа. Базаровъ прежде всего—позитивистъ и матеріалистъ. Для него не существуетъ вѣры, общихъ принциповъ и апріорныхъ идеаловъ, всего того, чѣмъ такъ богата была предшествующая эпоха. „Я не вѣрю ни во что",—говоритъ онъ Павлу Петровичу. Порядочный химикъ въ его глазахъ „въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта". Даже „науки вообще" онъ не признаетъ: „есть науки, какъ есть ремесла, знанія, а наука вообще не существуетъ вовсе». Естествознаніе представляется ему единственно важнымъ занятіемъ. «Лягушекъ рѣзать», изслѣдовать природу,—вотъ чему посвящаетъ свои силы Базаровъ. Сообразно съ этимъ онъ считаетъ чепухой, „романтизмомъ" искусство, красоту, паѳосъ и любовь,—все, къ чему такъ восторженно относились идеалисты 40-хъ годовъ. Когда ему говорятъ о принципахъ, о логикѣ исторіи, онъ противопоставляетъ имъ только

факты, только очевидныя матеріальныя побужденія. „Вы не нуждаетесь въ логикѣ для того, чтобы положить себѣ кусокъ хлѣба въ ротъ, когда вы голодны. Куда намъ до этихъ отвлеченностей“. Споръ Базарова съ Кирсановымъ,—это тотъ же конфликтъ Пигасова съ Рудинымъ, споръ позитивиста съ идеалистомъ, споръ о томъ, существуютъ ли прирожденныя апріорныя нравственныя представленія въ душѣ человѣка или только одни чувственныя воспріятія опредѣляютъ наши поступки и воззрѣнія. „Принциповъ нѣтъ, а есть ощущенія; отъ нихъ все зависитъ“,—говоритъ Базаровъ,—но роли перемѣнились. Рудинъ разбилъ Пигасова. Базаровъ торжествуетъ надъ Кирсановымъ. Базаровъ словно мститъ эпохѣ идеализма за то, что она обманула ожиданія общества,—эпохѣ, когда обличалось взяточничество, говорилось „объ отсутствіи дорогъ, торговли, правильнаго суда“. „Мы догадались, что болтать, все только болтать о нашихъ язвахъ не стоитъ труда, что это ведетъ только къ пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, такъ-называемые передовые люди и обличители никуда не годятся, что мы занимаемся вздоромъ, толкуемъ о какомъ-то искусствѣ, безсознательномъ творчествѣ, о парламентаризмѣ, объ адвокатурѣ и чортъ знаетъ о чемъ, когда дѣло идетъ о насущномъ хлѣбѣ“...

Такимъ образомъ, Базаровъ провозглашаетъ единственный стимулъ дѣятельности: потребность. Никакихъ идеаловъ, только факты и голыя потребности. Онъ дѣйствуетъ въ силу того, что признаетъ полезнымъ. Для своего времени онъ считаетъ самымъ полезнымъ отрицаніе, а потому отрицаетъ все безъ остатка. На замѣчаніе Кирсанова, что нельзя только разрушать, необходимо и строить, Базаровъ отвѣчаетъ: „Это ужъ не наше дѣло... Сперва нужно мѣсто расчистить“. Эту разрушительную работу, это отрицаніе онъ называетъ нигилизмомъ. Если

довести до ея логическаго конца проповѣдь Базарова, мы увидимъ, что она должна привести къ признанію личности, ея инстинкта, единственнымъ движущимъ началомъ жизни. Отреченіе, ограниченіе личности во имя общества и его интересовъ отрицаются, и на мѣсто ихъ возводится культъ силы и эгоизма. „Мы ломаемъ, потому что мы сила“. Базаровъ въ этихъ словахъ приближается къ Ницше. Жизнь есть борьба. Превосходство того или другого начала опредѣляется его силой. Когда Кирсановъ говоритъ, что „милліоны раздавятъ“ этихъ проповѣдниковъ-разрушителей, Базаровъ спокойно замѣчаетъ: „Коли раздавятъ, туда и дорога“. Вообще въ проповѣди Базарова много такого, что напоминаетъ проповѣдь Заратустры. Всякая личность должна считать свою сущность единственнымъ началомъ, свое „само“ ставить выше всего. Пусть эти самодовлѣющія личности борятся каждая за свое существованіе, и въ этой борьбѣ погибнетъ все слабое и ненужное и удержится все то, что ведетъ человѣчество въ сверхчеловѣческія высоты. Для Базарова нѣтъ ничего священнаго. Онъ не хочетъ никакихъ авторитетовъ, идоловъ и кумировъ. Даже для народа онъ не дѣлаетъ исключенія. Онъ смѣется надъ общиной, глумится надъ вѣрой въ мужика, который „радъ самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману въ кабакѣ“, и увѣряетъ, что въ „современномъ нашемъ быту, въ семейномъ или общественномъ“, нѣтъ ни одного установленія, которое бы не вызывало „полнаго и безпощаднаго отрицанія“. Его другъ Аркадій думаетъ, что всякій долженъ способствовать счастью мужика. „А я,—говоритъ Базаровъ,—и возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... да на что мнѣ его спасибо. Ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопухъ расти будетъ,—ну, а дальше?“

Тургеневъ не совсѣмъ вѣрно изобразилъ нигилиста-разночинца и матеріалиста. Онъ не могъ уловить его положительныхъ стремленій. Матеріализмъ и нигилизмъ вовсе не были проповѣдью голаго эгоизма. Напротивъ, его истинные представители, какъ увидимъ, горѣли пламенемъ жертвы и жаждой служенія народу не меньше, чѣмъ предшествующая эпоха. Подъ ихъ грубой матеріалистической проповѣдью скрывалось желаніе основать дѣло осуществленія народнаго счастья на фактахъ, на научныхъ основахъ, уйти отъ тѣхъ безпочвенныхъ, хотя и благородныхъ мечтаній, которыя принесли столько разочарованій. Вотъ почему Тургеневъ придалъ Базарову тотъ оттѣнокъ меланхоліи и грусти, котораго не было у его прототиповъ въ жизни. Они знали, чего хотѣли. Изъ проповѣди для нихъ вытекалъ опредѣленный методъ дѣйствій, и имъ былъ чуждъ душевный разладъ. Тургеневъ не могъ уловить этого. Онъ вложилъ въ отрицаніе и разрушеніе ту душевную тоску, которая жила въ немъ самомъ. Идеологъ мыслящаго барства съ его идеализмомъ и гуманностью могъ представить нигилиста только въ видѣ одинокаго лишняго человѣка, страдающаго отъ своего отрицанія, рвущагося къ служенію на благо народа и впадающаго въ противорѣчіе съ собственными теоріями. И его Базаровъ изъ грубаго матеріалиста и разрушителя не разъ превращается въ тоскующаго лишняго человѣка, и въ словахъ его звучатъ тѣ же рѣчи, которыя раздавались въ устахъ Рудиныхъ и Лаврецкихъ. Эти рѣчи сводятся къ одному мотиву: „хочу послужить людямъ, но не умѣю и не знаю какъ". Временами Базаровъ завидуетъ своимъ родителямъ, которые хлопочутъ, толкуютъ, у которыхъ весь день „напичканъ занятіями". Временами ему становится грустно при мысли, что часть времени, которую ему удастся прожить, такъ ничтожна передъ вѣчностью, гдѣ его не было и не будетъ. „А въ этомъ

атомѣ, въ этой математической точкѣ, кровь обращается, мозгъ работаетъ, чего-то хочетъ тоже". Онъ завидуетъ муравью, который тащитъ упирающуюся полумертвую муху и въ качествѣ животнаго имѣетъ право не признавать чувства состраданія, „не то, что нашъ братъ самоломанный". Базаровъ призналъ, такимъ образомъ, что человѣку не уйти отъ чувства состраданія, отъ сознанія связи и солидарности съ другими людьми, что голый инстинктъ и эгоизмъ возможны только въ животномъ царствѣ. Не разъ выдаетъ онъ, что ему трудно осуществить свои теоріи. „Ѣшь, пей и знай, что поступаешь самымъ правильнымъ, самымъ разумнымъ манеромъ. Анъ нѣтъ; тоска одолѣваетъ. Хочется съ людьми возиться, хоть ругать ихъ, да возиться съ ними". Словомъ, Тургеневъ не нашелъ выхода въ нигилизмѣ. Позавидовавъ силѣ новыхъ людей, создавъ въ лицѣ Базарова своего любимѣйшаго героя, воплотивъ въ немъ ту мощь, къ которой безплодно стремился онъ самъ,—Тургеневъ кончилъ тѣмъ, что надѣлилъ его своей собственной тоской, не разглядѣлъ самаго главнаго въ новыхъ людяхъ, именно того обстоятельства, что у нихъ были положительные идеалы и не было тоски и душевнаго разлада.

Базаровъ измѣняетъ не только своей матеріалистической философіи. Онъ не остается до конца вѣрнымъ своей враждѣ къ романтизму и сантиментальнымъ чувствамъ. Въ разговорахъ съ Одинцовой „онъ еще больше прежняго высказывалъ свое равнодушное презрѣніе ко всему романтическому; а оставшись наединѣ, онъ съ негодованіемъ сознавалъ романтика въ самомъ себѣ". И этотъ человѣкъ съ его холоднымъ умомъ и злой ироніей измѣнилъ себѣ, когда бросилъ Одинцовой: „Такъ знайте же, что я люблю васъ глупо, безумно". Онъ дерется на дуэли съ Павломъ Петровичемъ, хотя сознаетъ, что это глупо, и небрежно объясняетъ Аркадію: „Вотъ что значитъ съ феодалами

пожить. Самъ въ феодалы попадешь и въ рыцарскихъ турнирахъ участвовать будешь". Лежа на смертномъ одрѣ, онъ посылаетъ къ Одинцовой сообщить, что умираетъ. Онъ, называвшій отца „презабавнымъ старикашкой" и подсмѣивавшійся надъ трогательною любовью обоихъ стариковъ, говоритъ передъ смертью Одинцовой: „Отецъ вамъ будетъ говорить, что вотъ, молъ, какого человѣка Россія теряетъ. Это чепуха, но не разувѣряйте старика. Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось... вы знаете. И мать приласкайте. Вѣдь такихъ людей какъ они, въ вашемъ большомъ свѣтѣ днемъ съ огнемъ не сыскать... Я нуженъ Россіи... Нѣтъ, видно, не нуженъ".

Такъ закончилъ повѣсть сильнаго человѣка поэтъ умирающей культуры. Тѣхъ людей, которые шли бодро впередъ, онъ обвѣялъ тѣмъ же меланхолическимъ осеннимъ дыханіемъ, какъ и прежнихъ героевъ, и не бодрымъ гимномъ будущему, а тоскливымъ безсиліемъ лишняго человѣка прозвучали послѣднія слова умирающаго Базарова: „не нуженъ". И мертвымъ безсиліемъ кладбища вѣетъ и отъ этого произведенія. Щемящей тоской проникаетъ въ сердце заключительная картина: „Есть небольшое сельское кладбище, въ одномъ изъ отдаленныхъ уголковъ Россіи. Какъ почти всѣ наши кладбища, оно являетъ видъ печальный... Овцы безвозбранно бродятъ по могиламъ. Но между ними есть одна, до которой не касается человѣкъ, которую не топчетъ животное; однѣ птицы садятся на нее и поютъ на зарѣ. Желѣзная ограда ее окружаетъ; двѣ молодыя елки посажены по обоимъ ея концамъ: Евгеній Базаровъ похороненъ въ этой могилѣ. Къ ней изъ недалекой деревушки часто приходятъ два уже дряхлыхъ старичка—мужъ съ женою... Неужели ихъ молитвы, ихъ слезы безплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна?" Таковъ итогъ романа. Тургеневъ кончилъ его порывомъ стараго

идеалиста. Онъ не осудилъ того, чье „бунтующее сердце скрылось въ этой могилѣ“, но душою онъ былъ не съ нимъ, а съ тѣми, кто пользовался въ борьбѣ съ жизнью старымъ оружіемъ--молитвой и слезами.

V.

Новыя теченія среди русской интеллигенціи и молодежи, возникшія съ началомъ реакціи. — Отношеніе къ нимъ Тургенева.—Реакціонная Россія и интеллигенція въ „Дымѣ“. — Правильно ли изобразилъ ихъ Тургеневъ.—Положительные идеалы и отрицаніе Потугина. — Изображеніе революціонныхъ кружковъ въ романѣ „Новь“.—Неждановъ.— Соломинъ.—Женщины у Тургенева: Лиза, Наталья, Елена, Маріанна.—„Стихотворенія въ прозѣ“, какъ самое яркое выраженіе души Тургенева и его общаго настроенія.

Въ „Отцахъ и дѣтяхъ“ Тургеневъ сдѣлалъ попытку заглянуть во внутренній міръ новыхъ людей. Онъ не понялъ ихъ, и это непониманіе углублялось по мѣрѣ того, какъ Тургеневъ старался охватить общественныя и умственныя теченія, развивавшіяся въ чуждыхъ ему сферахъ. Въ 1867 году появляется „Дымъ“. За нѣсколько лѣтъ, отдѣляющихъ это произведеніе отъ „Отцовъ и дѣтей“, произошло много важныхъ событій. За это время революціонная организація „Молодая Россія“ выпустила свою боевую прокламацію, призывавшую къ цареубійству и напугавшую всѣхъ благонамѣренныхъ людей, произошли знаменитые петербургскіе пожары, вспыхнуло польское возстаніе, наконецъ раздался выстрѣлъ Каракозова, который былъ поворотнымъ моментомъ въ политикѣ правительства. Императорскій рескриптъ объявлялъ задачей правительства охрану вѣковыхъ устоевъ общества, религіи и священнаго права собственности. Началась рѣшительная реакція, репрессіи противъ печати. Реакціонная партія, которая исказила дѣло реформъ, мѣшала ихъ осуществленію въ полной мѣрѣ и этимъ въ значительной степени подготовила ихъ неуспѣхъ, теперь

торжествовала, старалась урѣзать компетенцію уже созданныхъ учрежденій, издѣвалась надъ либералами и радикалами, осмѣивала революціонное движеніе. Напротивъ того, оппозиціонная часть общества, раньше находившая себѣ выходъ въ дѣятельности по осуществленію реформъ, теперь въ значительной мѣрѣ ушла въ подполье, организовывала революціонныя тайныя общества. Здѣсь, въ этой подпольной Россіи продолжала зрѣть идея о необходимости дальнѣйшей борьбы съ вѣковымъ произволомъ и насиліемъ. Здѣсь глубоко было сознаніе недостаточности произведенныхъ реформъ. И при всѣхъ промахахъ, при извѣстной незрѣлости молодежи, которая принимала главное участіе въ этой революціонной дѣятельности, она была согрѣта вѣрой въ великое будущее Россіи, пылала жаждой жертвы, стремилась отдать свою жизнь народному дѣлу.

Въ „Дымѣ“ Тургеневъ изобразилъ это новое направленіе общественной мысли. Онъ представилъ намъ и типы, порожденные сплотившейся реакціей, и новыхъ людей, выдвинутыхъ новыми формами освободительнаго движенія. Могъ ли понять идеологъ отодвинутаго исторіей мыслящаго дворянства эти новыя формы? Пессимизмъ, который проникаетъ всѣ произведенія Тургенева, въ „Дымѣ“ проявляется еще съ большей силой. Авторъ не вѣритъ въ новыхъ людей. Онъ даже глумится надъ ними,—глумится болѣе жестоко, чѣмъ надъ сановными представителями реакціи. И въ нарисованной имъ пессимистической картинѣ только образы, сотканные изъ любви и поэзіи, эти старые излюбленные образы его творчества, озарены прежнимъ яркимъ свѣтомъ.

Тутъ была почти вся fine fleur нашего общества „вся знать и моды образцы“,—такъ начинаетъ Тургеневъ характеристику сановной и аристократической Россіи, представители которой съѣхались въ Баденъ.

Нѣсколькими злыми штрихами очерчена каждая фигура: графъ X, несравненный дилеттантъ, который такъ божественно „сказываетъ“ романсы, а въ сущности двухъ нотъ разобрать не можетъ, не тыкая вкривь и вкось указательнымъ пальцемъ по клавишамъ, и поетъ не-то какъ плохой цыганъ, не-то какъ парижскій коаферъ; восхитительный баронъ Z, мастеръ на всѣ руки,—и литераторъ, и администраторъ, и ораторъ, и шулеръ; князь Y, другъ религіи и народа, составившій себѣ во время оно, въ блаженную эпоху откупа громадное состояніе продажей сивухи, подмѣшанной дурманомъ; блестящій генералъ О. О., который что-то покорилъ, кого-то усмирилъ; государственные люди, дипломаты, тузы съ европейскими именами, мужи совѣта и разума, воображающіе, что золотая булла издана папой и что англійскій „poortax“ есть налогъ на бѣдныхъ. Это люди, которые проклинаютъ новыя либеральныя теченія, обличительную печать, отмѣну крѣпостнаго права. „Журналы! — восклицаетъ одинъ изъ нихъ.—Обличеніе! Если бы отъ меня зависѣло, я бы въ этихъ вашихъ журналахъ только и позволилъ печатать, что таксы на мясо или на хлѣбъ да объявленія о продажѣ шубъ да сапоговъ“. Они жалуются на разореніе дворянства; имѣнія продаются съ аукціона, никто не хочетъ ихъ покупать. Они требуютъ возврата къ прошлому. „Мы разорены... мы унижены... Мы должны предостерегать, мы должны говорить съ почтительной твердостью: воротитесь, воротитесь назадъ!.. Надо передѣлать все сдѣланное... и девятнадцатое февраля, насколько возможно“. Здѣсь съ презрѣніемъ и ненавистью говорятъ о новыхъ людяхъ, объ образованіи. „Я не врагъ такъ-называемаго прогресса, — замѣчаетъ „снисходительный генералъ“, — но всѣ эти университеты да семинаріи тамъ да народныя училища, эти студенты, поповичи, разночинцы, вся эта мелюзга... вотъ гдѣ нужно остановиться... Не позво-

ляйте умничать черни, а ввѣрьтесь аристократіи, въ которой одной и есть сила".

Но вотъ передъ нами другая Россія, и сатирическая злоба автора развертывается еще шире. Можно подумать, что мы находимся среди подонковъ общества, и русскіе эмигранты состояли изъ сброда негодяевъ и шарлатановъ. Главой кружка, интеллигентовъ, выведенныхъ авторомъ, является Губаревъ. Кружокъ напоминаетъ тѣхъ людей, которыми восхищался Репетиловъ, и выраженіе „шумимъ, братецъ, шумимъ", вполнѣ опредѣляетъ характеръ дѣятельности кружка. Здѣсь легко возводятъ въ геніи, дѣлаютъ „событія" изъ ничтожныхъ фактовъ, занимаются сплетнями, воюютъ на почвѣ маленькихъ оскорбленныхъ самолюбій. Авторъ не уловилъ даже намека на широкія задачи, на способность къ жертвѣ, на горячее чувство любви къ народу. Вліяніе Губарева авторъ устами Потугина объясняетъ тѣмъ, что русскій человѣкъ требуетъ надъ собой господина, ему нуженъ баринъ. „Губаревъ захотѣлъ быть начальникомъ, всѣ его начальникомъ и признали"... Онъ и славянофилъ, и демократъ, и соціалистъ, и все, что угодно, а имѣніемъ его управлялъ и теперь еще управляетъ братъ, хозяинъ въ старомъ вкусѣ, изъ тѣхъ, что дантистами величали... А вѣдь только за нимъ и есть, что онъ умныя книжки читаетъ да все въ глубину устремляется". Ни дара слова, ни настоящей глубины и программы у Губарева нѣтъ. Съ таинственнымъ видомъ передаютъ эти люди о скрытыхъ замыслахъ Губарева, и только въ концѣ романа раскрывается весь безнадежный взглядъ автора на вождей интеллигентныхъ кружковъ, когда онъ заставляетъ Литвинова встрѣтиться съ Губаревымъ на почтовой станціи въ глуши Россіи. „Па-адлецы, па-адлецы! — кричалъ вождь революціоннаго кружка.—Мужичье поганое! Бить ихъ надо, вотъ что; по мордамъ бить, вотъ имъ какую свободу въ зубы!"

И не только генералы, аристократы и эмигранты, разночинцы и революціонеры даютъ пищу пессимизму Тургенева. Устами Потугина онъ выражаетъ свой безнадежный взглядъ на русскій народъ и интеллигенцію, на всѣ стороны русской дѣйствительности. Слушая рѣчи Потугина, иногда кажется, будто передъ нами старикъ съ обычнымъ старческимъ брюзжаніемъ на молодое поколѣніе. Революціонные кружки въ глазахъ Потугина безплодны. Въ нихъ говорятъ о значеніи, о будущности Россіи, но всегда въ общихъ чертахъ, бездоказательно, безвыходно: „жуютъ, жуютъ они этотъ несчастный вопросъ, словно дѣти кусокъ гумиластика; ни соку, ни толку". О русскихъ людяхъ, русскомъ національномъ характерѣ и направленіяхъ мысли онъ самаго низкаго мнѣнія. „Намъ во всемъ и всюду нуженъ баринъ; бариномъ этимъ бываетъ большей частью живой субъектъ, иногда какое-нибудь такъ-называемое направленіе надъ нами власть возымѣетъ... теперь, напр., мы всѣ къ естественнымъ наукамъ въ кабалу записались... Чисто холопы! И гордость холопская, и холопское униженіе. Новый баринъ народился—стараго долой! То былъ Яковъ, а теперь Сидоръ; въ ухо Якова, въ ноги Сидору! Вспомните, какія въ этомъ родѣ происходили у насъ продѣлки! Мы толкуемъ объ отрицаніи, какъ объ отличительномъ нашемъ свойствѣ; но и отрицаемъ-то мы не такъ, какъ свободный человѣкъ, разящій шпагой, а какъ лакей, лупящій кулакомъ, да еще, пожалуй, лупитъ онъ по господскому приказу". Мало удовлетворяютъ Потугина славянофилы: „прекраснѣйшіе люди, а та же смѣсь отчаянья и задора, тоже живутъ буквой „буки". Все, молъ, будетъ, будетъ. Въ наличности ничего нѣтъ, и Русь въ цѣлые десять вѣковъ ничего своего не выработала ни въ управленіи, ни въ судѣ, ни въ наукѣ, ни въ искусствѣ, ни даже въ ремеслѣ... Но постойте, потерпите:

все будетъ. А почему будетъ, позвольте полюбопытствовать? А потому что мы — молъ, образованные люди—дрянь; но народъ... о, это великій народъ! Видите этотъ армякъ? Вотъ откуда все пойдетъ. Всѣ другіе идолы разрушены, будемте же вѣрить въ армякъ". Уничтоживъ все, Потугинъ только въ рѣдкихъ случаяхъ пытается указать ту положительную программу дѣйствій, которую онъ противопоставляетъ различнымъ группамъ русской интеллигенціи. Прощаясь съ Литвиновымъ, уѣзжающимъ въ Россію, онъ даетъ ему такой напутственный совѣтъ: „Всякій разъ, когда вамъ придется приниматься за дѣло, спросите себя: служите ли вы цивилизаціи—въ точномъ и строгомъ смыслѣ слова,—проводите ли одну изъ ея идей, имѣетъ ли вашъ трудъ тотъ педагогическій европейскій характеръ, который единственно плодороденъ въ наше время у насъ? Если такъ — идите смѣло впередъ: вы на хорошемъ пути, и дѣло ваше—благое! Слава Богу! Вы не одни теперь. Вы не будете „сѣятелемъ пустыни"; завелись уже и у насъ труженики... піонеры". Въ этихъ словахъ сказался Тургеневъ, убѣжденный западникъ, идеалистъ сороковыхъ годовъ, взгляды котораго кристаллизовались въ предшествующую эпоху. Неопредѣленная вѣра въ „цивилизацію", отсутствіе опредѣленной практической программы, неспособность примѣнить эту вѣру къ практическимъ задачамъ, выдвинутымъ русской жизнью,—все это осталось и въ „Дымѣ",—въ романѣ, который долженъ былъ отразить стремленія новыхъ людей.

Осталась не только эта отчужденность отъ русской внѣусадебной жизни. Сохранился и тотъ интересъ къ личному чувству, которое составляло всегда главную тему тургеневскихъ романовъ и которое такъ гармонировало съ общимъ настроеніемъ идеалистической эпохи. Разговоры на политическія темы, составляющіе главную тему въ началѣ романа, мало-по-малу усту-

паютъ мѣсто новому сюжету, любви Литвинова къ Иринѣ. Прежній Тургеневъ, меланхолическій пѣвецъ дѣвушекъ, взрощенныхъ усадебной культурой, поэтъ Лизы и Елены, воскресаетъ передъ нами, когда мы читаемъ трогательныя страницы, посвященныя горю Тани, покинутой Литвиновымъ для Ирины. Все, вплоть до доброй старушки въ лицѣ Капитолины Марковны, весь міръ стараго барства съ его религіозными кроткими дѣвушками, не имѣющими своихъ задачъ въ жизни, поджидающими своихъ суженыхъ,—этотъ міръ снова обрисованъ авторомъ нѣжными любовными красками, и этотъ міръ, точно укоряющій призракъ, выходитъ въ послѣдній разъ изъ могилы, словно для того, чтобы показать обществу, сколько красоты и поэзіи, сколько мира, уюта и тишины утратило оно, покинувъ старыя дворянскія гнѣзда и окунувшись въ сутолоку новой шумной городской жизни. Сцена примиренія Литвинова съ Таней—почти символъ. Мятущемуся духу русскаго интеллигента негдѣ найти убѣжища, кромѣ домика на холмѣ съ его острымъ мезониномъ и рядомъ окошекъ, ярко рдѣющихъ на вечернемъ солнцѣ, того домика, за стѣнами котораго патріархальное счастье и тихая идиллія. Изъ бурь жизни, изъ власти неровной, истерической женщины Литвиновъ, едва не погибшій въ пучинѣ страстей, едва спасшійся изъ міра борьбы, политическихъ столкновеній и корыстныхъ вожделѣній, нашелъ истинное счастье здѣсь, среди этого сада, въ тиши деревни, въ уютномъ домикѣ, подлѣ кроткой любящей дѣвушки. „Дымъ, дымъ!“—этимъ словомъ опредѣляетъ онъ новый міръ, и его устами говоритъ самъ авторъ, не умѣвшій разобраться въ непонятныхъ явленіяхъ этого новаго міра и въ минуты тоски и отчаянія съ любовью уносившійся въ запущенную усадьбу, гдѣ такъ уютно жилось старому барству, еще не выбитому изъ колеи неумолимымъ ходомъ исторіи.

Еще въ большей степени отчужденность Тургенева отъ новыхъ теченій русской жизни обнаруживается въ романѣ „Новь“. Долгое пребываніе за границей, неспособность отрѣшиться отъ той культуры и того міровоззрѣнія, которыхъ Тургеневъ былъ самымъ яркимъ представителемъ въ художественной литературѣ, обусловили его отношеніе къ революціонному движенію 70-хъ годовъ и къ тому явленію, за которымъ утвердилось характерное названіе: „хожденіе въ народъ“. „Кто помнитъ,—говоритъ проф. Овсянико-Куликовскій,—70-е годы, тотъ хорошо знаетъ, что въ извѣстномъ движеніи того времени принимали участіе не только зеленые и легковѣрные юноши или тунцы въ родѣ Остродумова, но и люди зрѣлые, умные, даровитые, раздѣлявшіе, однако, общую иллюзію о высокихъ душевныхъ качествахъ русскаго народа, дѣлающихъ будто бы возможною и плодотворною извѣстную дѣятельность для него и среди него. Идеализація народа, довѣріе къ нему въ его современномъ состояніи,—это была общая черта и глупыхъ, и умныхъ, и юныхъ, и зрѣлыхъ, и даровитыхъ, и бездарныхъ. Во всемъ можно было сомнѣваться, все подвергать критикѣ,—одна лишь святыня народной идеи была неприкосновенна. И между тѣми, кто служилъ этой идеѣ, были люди куда умнѣе и образованнѣе не только Маркелова, но и Нежданова“. Не такъ отнесся къ революціонерамъ Тургеневъ. Онъ превратилъ ихъ въ людей невѣжественныхъ и ограниченныхъ, даже пошлыхъ и жалкихъ. Въ лучшемъ случаѣ онъ видѣлъ въ нихъ незрѣлыхъ искателей истины, „лишнихъ людей“, не находящихъ выхода своимъ активнымъ силамъ. Онъ написалъ въ „Нови“ жестокую сатиру на этихъ людей, такъ же, какъ въ „Дымѣ“ безпощадно и несправедливо осмѣялъ русскую интеллигенцію и эмигрантовъ. Предъ нами цѣлый рядъ фигуръ. Капитонъ Голушкинъ, сынъ разбогатѣвшаго торговца изъ старо-

вѣровъ, производилъ впечатлѣніе дурковатаго парня съ большимъ самолюбіемъ. Это — революціонеръ изъ купцовъ, протежирующій каскадныхъ актрисъ и напоминающій скорѣе самодуровъ Островскаго, чѣмъ героевъ и мучениковъ революціи. Его главной страстью была жажда популярности: „греми, молъ, Голушкинъ, по всему свѣту". Онъ самодовольно заявлялъ, что бросился въ оппозицію; онъ былъ до того невѣжественъ, что вначалѣ путалъ это слово съ „позиціей". Въ дѣйствительности же его привлекла къ революціонерамъ та же жажда популярности. Она заставляла его, человѣка скупого, бросать деньги, устраивать попойки, говорить о необходимости пропаганды (слово, которое онъ выговаривалъ съ трудомъ) и вообще стараться о томъ, чтобы не ударить лицомъ въ грязь. Рядомъ съ Голушкинымъ—Паклинъ, такая же карикатурная фигура. Паклинъ трусливъ и жалокъ. Онъ играетъ жалкую роль передъ величественнымъ барономъ, къ которому забѣжалъ впередъ съ искреннимъ намѣреніемъ въ минуту опасности и который насмѣялся надъ нимъ, извлекши изъ него все, что нужно было для обнаруженія дѣла. Третья фигура — Маркеловъ, не лишенный благородства, грубый съ аристократами и обходительный съ мужикомъ, но человѣкъ ограниченный и бездарный. Авторъ постарался и этому герою, возбуждающему нѣкоторое сочувствіе, приписать черточки пошлости. Онъ полюбилъ дѣвушку, но она измѣнила ему самымъ безцеремоннымъ образомъ и вышла замужъ за адъютанта. Съ тѣхъ поръ Маркеловъ ко всѣмъ предметамъ своей ненависти присоединилъ и адъютантовъ. Далѣе, Машурина и Остродумовъ, болѣе мелкіе дѣятели революціи, изображены людьми недалекими. По поводу Машуриной Тургеневъ дѣлаетъ вылазку противъ дѣвушекъ, участвовавшихъ въ революціонномъ движеніи, — вылазку, въ которой сказалось несправедливое оскорбительное предубѣжденіе извѣстныхъ

слоевъ общества, упрекавшихъ революціонные кружки въ распущенности и цинизмѣ. И у Достоевскаго въ его „Бѣсахъ“, и у Гончарова въ изображеніи Марка Волохова, и особенно въ „Панурговомъ стадѣ“ Крестовскаго мы встрѣтимъ отраженіе этого предразсудка. Тургеневъ отдалъ дань этимъ предразсудкамъ въ язвительномъ и злобномъ замѣчаніи. Сообщивъ, что Машурина добилась „неустаннымъ трудомъ“ аттестата и была „очень цѣломудренная дѣвица“, Тургеневъ сопровождаетъ это сообщеніе слѣдующимъ замѣчаніемъ: „Дѣло неудивительное!—скажетъ иной скептикъ, вспомнивъ то, что было сказано о ея наружности. Дѣло удивительное и рѣдкое! — скажемъ мы“.

Но, можетъ-быть, ни въ чемъ такъ ярко не сказалось отрицательное отношеніе къ революціонному движенію, какъ въ выведенной авторомъ фигурѣ Нежданова. Эта фигура обличаетъ въ авторѣ снова великаго художника, который умѣетъ быть правдивымъ, какъ только берется за понятныя и родственныя ему по духу натуры. Въ образѣ Нежданова представленъ „кающійся дворянинъ“, „лишній человѣкъ“ въ новой обстановкѣ, въ революціонныхъ кружкахъ. Тоска и муки Нежданова понятны Тургеневу. Онъ тщетно пытается уйти изъ міра поэзіи и любви и броситься въ сферу великаго, грубаго и жестокаго дѣла. Тщетно старается онъ отрѣшиться отъ своихъ эстетическихъ привычекъ, отъ своего отвращенія ко всему, на чемъ нѣтъ отпечатка изящества и благородства. Тщетно старается онъ пить водку, пользоваться развязнымъ жаргономъ революціонеровъ, слиться съ народомъ. Ему противны грязные мужики, ему непонятенъ и недоступенъ этотъ міръ, изъ котораго его постоянно влечетъ въ міръ поэзіи и любви, въ міръ мысли и личныхъ чувствъ. Неждановъ родился отъ князя Г., богача, генералъ-адъютанта и отъ гувернантки его дочерей, хорошенькой институтки. Генералъ пустилъ его по „эстетикѣ,

т.-е. по историко-филологическому факультету, и послѣ смерти оставилъ на его долю небольшой капиталъ, проценты съ котораго выдавались Нежданову въ видѣ пенсіи его братьями, князьями Г. Неждановъ имѣлъ аристократическую внѣшность. Неждановъ — лишній человѣкъ въ новой обстановкѣ. Та тоска, которую переживало кающееся дворянство, не находившее примѣненія своимъ силамъ, здѣсь пріобрѣтаетъ особенно жгучую силу. Здѣсь отпрыскъ стараго барства устремляется въ ту сферу дѣятельности, которая была ему особенно враждебна. Неждановъ прежде всего баринъ, и притомъ просвѣщенный баринъ, съ типичными чертами идеалиста сороковыхъ годовъ, съ его метафизическимъ и эстетическимъ складомъ ума. „О, какъ я проклинаю эту нервность, чуткость, впечатлительность, брезгливость, все это наслѣдіе моего аристократическаго отца". Что до того, что онъ незаконный сынъ аристократа и добываетъ себѣ хлѣбъ своимъ трудомъ, — по воспитанію и вкусамъ онъ типичное дитя барской культуры. Его философствующій на манеръ Рудина умъ, его эстетическіе вкусы и безсиліе передъ грубой дѣйствительностью ранятъ его больнѣе потому, что онъ живетъ и дѣйствуетъ позднѣе ихъ, когда жизнь предъявляла иныя требованія. Рудины и Лаврецкіе не такъ ясно чувствуютъ причину своихъ страданій. Неждановъ даетъ себѣ ясный отчетъ. Онъ понимаетъ, что та культура и тѣ вкусы, которые вѣками прививались дворянской средѣ, оказались безплодными теперь, когда потребовалось новое дѣло. „Какое право,—говоритъ Неждановъ про своего отца,— имѣлъ онъ втолкнуть меня въ жизнь, снабдивъ меня органами, которые несвойственны средѣ, въ которой я долженъ вращаться? Создалъ птицу—да и пихнулъ ее въ воду? — Эстетика — да въ грязь!.." Неудивительно, что изъ агитаторскихъ попытокъ Нежданова ничего не выходитъ. „Самъ чувствую, что не гожусь.

Точно скверный актеръ въ чужой роли". И онъ кончаетъ тѣмъ же, чѣмъ кончили всѣ „лишніе люди", умираетъ безцѣльно, нелѣпо и передъ самоубійствомъ въ послѣднемъ письмѣ онъ дѣлаетъ то же признаніе, которое до него сдѣлали и Рудинъ, и Лаврецкій, и Базаровъ. Онъ объявляетъ ненужной свою жизнь, видитъ, что дѣлалъ, не настоящее дѣло. „Настоящимъ" для Нежданова была только его любовь къ Маріаннѣ, стихи, которые онъ писалъ, его гамлетовскія сомнѣнія,—словомъ, все то, чѣмъ жили люди 40-хъ годовъ и что совершенно напрасно Тургеневъ бросилъ въ среду молодежи 70-хъ годовъ,—молодежи, не знавшей сомнѣній, твердо шедшей по тому пути, который она считала истиннымъ.

Въ „Нови" Тургеневъ какъ-будто обрѣлъ, наконецъ, настоящаго человѣка,—человѣка дѣла, а не слова, человѣка, который зналъ, что дѣлаетъ и куда идетъ. Соломинъ, повидимому,—тотъ образецъ, который Тургеневъ хотѣлъ противопоставить незрѣлой революціонной молодежи. Соломинъ — разночинецъ, сынъ дьячка. Онъ — механикъ, учился въ Англіи и управляетъ фабрикой. Онъ даже англійскаго мануфактуриста поразилъ своими знаніями и постановкой дѣла. Авторъ нѣсколько разъ подчеркиваетъ, что Соломинъ — тотъ идеалъ, который онъ обрѣлъ въ концѣ-концовъ. На фабрикѣ его любили, рабочіе относились къ нему съ довѣріемъ и глубокимъ уваженіемъ. Устами Паклина авторъ такъ опредѣляетъ Соломина: „Такіе, какъ онъ—они-то вотъ и суть настоящіе. Ихъ сразу не раскусишь, а они — настоящіе, повѣрьте; и будущее имъ принадлежитъ. Это не герои; это даже не тѣ „герои труда", о которыхъ какой-то чудакъ — американецъ или англичанинъ — написалъ книгу для назиданія насъ, убогихъ; это крѣпкіе, сѣрые, одноцвѣтные, народные люди. Теперь только такихъ и нужно!" Посмотримъ, что же представляетъ изъ себя

этотъ человѣкъ, который долженъ былъ указать настоящій путь русскому обществу. Объ его положительныхъ качествахъ мы знаемъ по разсказамъ окружающихъ или должны вѣрить нá-слово автору. Въ этомъ отношеніи Соломинъ скорѣе—отвлеченная схема, чѣмъ живой образъ. Онъ — программа, а не конкретная фигура. Мы почти не видимъ его на фабрикѣ, не видимъ, какъ и чѣмъ добился онъ довѣрія со стороны рабочихъ, въ чемъ проявилась его воля и дѣловитость. Мы имѣемъ объ этой сторонѣ его дѣятельности въ сущности не больше свѣдѣній, чѣмъ о деревенской дѣятельности Лаврецкаго, котораго тоже не видимъ за работой. Соломинъ — искусственный образъ, поскольку авторъ хотѣлъ нарисовать въ немъ человѣка дѣла, не знающаго сомнѣній, идущаго впередъ по разъ намѣченному пути. Едва ли въ 70-е годы среди революціонеровъ могъ отыскать авторъ этого уравновѣшеннаго человѣка, освободившагося отъ сомнѣній и внутренняго разлада, благодаря дѣятельности на фабрикѣ, довольствующагося своимъ дѣломъ. Во всякомъ случаѣ, авторъ не выяснилъ, почему ищущая дѣла и тоскующая русская интеллигенція просмотрѣла путь, по которому шелъ Соломинъ и въ которомъ можно было найти удовлетвореніе.

Если въ жизни и попадались подобные люди, то они были скорѣе ловкими дѣльцами въ родѣ Штольца, чѣмъ друзьями революціонеровъ. Соломинъ — проповѣдникъ малыхъ дѣлъ, постепеновщины. Ему чужды широкіе идеалы русской интеллигенціи: „Вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь доброму научите... а недѣли черезъ двѣ или три вы съ другой Лукерьей помучитесь; а пока—ребеночка вы помоете, или азбуку покажете, — или больному лѣкарство дадите... вотъ вамъ и начало... Вы будете чумичкой, горшки мыть, щипать куръ... А тамъ, кто знаетъ, можетъ-быть, спасете отечество". Тяжелый путь разочарованій и внут-

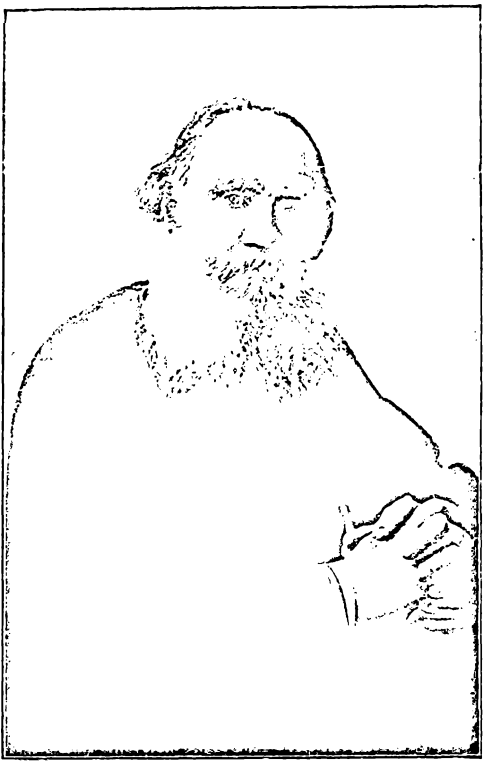
ренних колебаній нужно было пройти Тургеневу для того, чтобы отыскать въ концѣ-концовъ спасеніе родины въ этомъ сомнительномъ идеалѣ. И трудно повѣрить, что носителя этого идеала полюбила такая дѣвушка, какъ Маріанна. Да и вообще отношеніе революціоперовъ къ Соломину и его отношеніе къ нимъ представляетъ трудно разрѣшимую загадку. Нелегко понять, почему Соломинъ пользовался у нихъ авторитетомъ. Въ революцію онъ не вѣрилъ, спорить не любилъ, и авторъ не разъ даетъ понять, что Соломинъ въ душѣ считалъ своихъ друзей дѣтьми. Что же побуждало Соломина сближаться съ ними? Авторъ только мимоходомъ указываетъ причину этого сближенія. „Онъ хорошо зналъ петербургскихъ революціонеровъ — и до нѣкоторой степени сочувствовалъ имъ — ибо былъ самъ изъ народа; но онъ понималъ невольное отсутствіе этого самаго народа, безъ котораго „ничего ты не подѣлаешь“ и котораго долго готовить надо — да не такъ и не тому, какъ *ты*“. Такимъ образомъ превосходство Соломина заключалось только въ томъ, что онъ отрицательно относился къ революціонной дѣятельности своихъ друзей. Казалось бы, при такомъ ясномъ умѣ, при такомъ трезвомъ пониманіи событій, Соломинъ долженъ былъ доказать друзьямъ несостоятельность ихъ стремленій, предостеречь ихъ отъ гибельнаго пути. Трудно понять, какимъ образомъ могъ этотъ человѣкъ спокойно смотрѣть, какъ катились въ бездну тѣ, кого онъ называлъ своими друзьями. Правда, онъ замѣчаетъ, что „другихъ путей нѣтъ“. Но тѣмъ болѣе странной, чтобы не сказать некрасивой, является его роль среди революціонеровъ. Онъ ничего не сдѣлалъ для того, чтобы направить ихъ на правильный путь, чтобы провести свои взгляды. Онъ ничѣмъ не пожертвовалъ, въ то время, какъ другіе шли на каторгу и на висѣлицу. Соломинъ занялъ сомнительную позицію

по отношенію къ революціи. Онъ не хотѣлъ уйти отъ тѣхъ, помимо которыхъ „все-таки не было другого пути“. Но онъ оставался среди нихъ, не раздѣлялъ ихъ риска и даже не хотѣлъ тратить словъ для споровъ съ ними. „Онъ,—говоритъ авторъ,—и держался въ сторонѣ, не какъ хитрецъ и виляга, а какъ малый со смысломъ, который не хочетъ даромъ губить ни себя, ни другихъ. А послушать... отчего не послушать—и даже поучиться, если такъ придется“. Позиція выгодная,—но едва ли кто-нибудь согласится съ Тургеневымъ, что для человѣка, занявшаго эту позицію, больше подходитъ опредѣленіе „малаго со смысломъ“, чѣмъ „хитреца и виляги“. Послѣ разгрома революціоннаго движенія одинъ Соломинъ благополучно выплылъ на поверхность среди тонувшихъ. „Этотъ молодцомъ,—разсказываетъ о немъ въ концѣ романа Паклинъ,—вывернулся отлично. Прежнюю-то фабрику бросилъ и лучшихъ людей съ собой увелъ... Теперь, говорятъ, свой заводъ имѣетъ—небольшой—гдѣ-то тамъ въ Перми на какихъ-то артельныхъ началахъ. Этотъ дѣла своего не оставитъ! Онъ продолбитъ! Клювъ у него тонкій—да и крѣпкій зато. Онъ молодецъ! А главное: онъ не внезапный исцѣлитель общественныхъ ранъ“. Таковъ итогъ поисковъ Тургенева. „Настоящій“ человѣкъ, обрѣтенный имъ въ послѣднемъ изъ его крупныхъ романовъ, оказался предпринимателемъ честнымъ, но про котораго все-таки можно сказать: „себѣ на умѣ“. Тургеневъ въ лицѣ Соломина, такъ же, какъ и Гончаровъ въ лицѣ Штольца, уловилъ новую восходящую силу—буржуа-предпринимателя. Послѣ паденія крѣпостного права обнаружилось въ извѣстной части дворянства тяготѣніе къ предпринимательской дѣятельности. Сановный дворянинъ Сипягинъ ухаживаетъ за Соломинымъ, желая переманить его на свою фабрику. Но Соломинъ вскрываетъ несостоятельность этихъ новыхъ попытокъ

дворянъ: всѣ ихъ фабрики въ концѣ-концовъ „попадаютъ въ руки купцовъ“, потому что они, по выраженію Соломина, «чужаки» и чиновники. У дворянъ нѣтъ „коммерческаго расчета“ и „выдержки“, они не способны къ „правильнымъ промышленнымъ предпріятіямъ“, къ „настоящему финансовому дѣлу“. Соломинъ, какъ и вся просвѣщенная часть тогдашняго купечества и промышленнаго міра, вѣрилъ, что въ созданіи могущественнаго капиталистическаго класса заключается спасеніе Россіи, и отождествлялъ свое обогащеніе съ обогащеніемъ народа — гордая и ошибочная вѣра всей европейской буржуазіи, выдвинувшей свое господство на развалинахъ дворянскаго міра.

Пѣвецъ умирающей усадебной культуры, Тургеневъ создалъ безсмертные женскіе образы, родившіеся въ этомъ догорающемъ мірѣ. Его женщины—послѣдніе отпрыски стараго міра и первыя ласточки свѣтлаго будущаго. Его женщины не поборницы женскаго равноправія въ томъ смыслѣ, въ какомъ мы понимаемъ теперь это слово. Онѣ сотканы изъ любви и жертвы. Красота и сила наиболѣе активныхъ женскихъ характеровъ проявляется только въ борьбѣ за своихъ избранниковъ. Внѣ мужчинъ эти активныя натуры не знаютъ своихъ самостоятельныхъ задачъ. Лучшія изъ нихъ умѣютъ растворять свою личность въ стремленіяхъ этихъ избранниковъ. Онѣ развертываютъ свои силы только тогда, когда отстаиваютъ свое право любить того, кого избрало сердце, но передъ лицомъ любимаго человѣка онѣ отказываются отъ своей личности, отъ своей независимости, отъ активнаго проявленія своей воли — точь-въ-точь героини жоржсандовскихъ романовъ, поднявшія революцію противъ мужского господства, но только въ области сердечныхъ отношеній. Куда ушли богатыя силы, которыми надѣлила природа Лизу, Наталью, Елену, Маріанну? Каждая беззавѣтно отдавала ихъ любимому человѣку, и

если тѣ или иныя причины разлучали ее съ нимъ, она или уходила въ монастырь, или выходила замужъ безъ энтузіазма и страсти, или пропадала безъ цѣли на чужой сторонѣ. Тургеневскія женщины—продуктъ усадебной культуры. Имъ невѣдомы мечты о равныхъ съ мужчиной правахъ на образованіе и общественную дѣятельность. И, тѣмъ не менѣе, онѣ полны силы и обаянія. Отдаваясь беззавѣтно любимому человѣку, растворяя въ его стремленіяхъ весь богатый міръ своей души, тургеневская женщина взамѣнъ того предъявляетъ ему высокія требованія. Она не легко удовлетворяется. Ея идеалъ слишкомъ возвышенъ. Она больше мужчинъ полна предчувствіемъ новаго человѣка, ея сердце ждетъ того „настоящаго", котораго не могъ найти Тургеневъ въ тогдашнемъ обществѣ. Въ своемъ страстномъ стремленіи отыскать его она часто принимаетъ свою грезу за дѣйствительность. Ея греза предупреждаетъ дѣйствительность. Не только у Тургенева, но и у Гончарова и у Островскаго мы находимъ этотъ типъ дѣвушки съ пламенной жаждой идеала, съ неопредѣленной потребностью жертвы. Не знаетъ, чего хочетъ, Ольга, но она чувствуетъ, что въ Обломовѣ она любила свою собственную грезу, что не удовлетворитъ ее и Штольцъ, что не было еще въ жизни того, чего неясно ждала ея душа. Томилась и погибла въ «Грозѣ» Катерина, такъ и не выяснивъ порывовъ своего духа, стремившагося на широкій вольный просторъ. И недаромъ Добролюбовъ считалъ появленіе такого типа лучшимъ залогомъ свѣтлаго будущаго Россіи. Тургеневъ увѣковѣчилъ эти прекрасные образы, сохраняющіе и до нашего времени свое обаяніе и чарующую красоту, несмотря на то, что далеко уже впередъ ушла русская женщина, несмотря на то, что она примѣняетъ свои силы на аренѣ борьбы за свои человѣческія права, а не растрачиваетъ ихъ больше на то, чтобы идти за Руди-



ными и Инсаровыми или отмаливать грѣхи человѣчества. Но для своего времени Натальи и Елены были великой культурной силой. Предъ ихъ яснымъ умомъ обнажалось безсиліе Рудиныхъ и отвлеченный складъ души Берсеневыхъ. Ихъ суда боялись мыслящіе люди эпохи. Съ неподражаемой силой изобразилъ Тургеневъ это могучее вліяніе женщины въ лицѣ Елены. Она—высшая судебная инстанція. Съ трепетомъ ждутъ ея рѣшенія и откровенно выдающій себя легкомысленный Шубинъ, и скрытный Берсеневъ. Ея приговору незримо подчиняются всѣ окружающіе, и цѣнность каждаго изъ нихъ опредѣляется степенью ея вниманія и симпатіи.

Исторія [illegible]шки, рожденной въ усадебной обстановкѣ, изобр[illegible]жена въ „Дворянскомъ гнѣздѣ". Родители мало входили во внутренній міръ богатой души ребенка. Отданная на попеченіе гувернантки, ничтожнаго существа, Лиза нашла себѣ друга въ лицѣ няни Агафьи Власьевны, воплотившей идею религіознаго смиренія, которое пустило такіе глубокіе корни въ крѣпостническомъ быту и такъ идеализировалось писателями-дворянами. Агафья Власьевна поселила въ душѣ Лизы то мистическое настроеніе, тѣ религіозныя и аскетическія представленія, которыя царили въ ея собственной душѣ. Она сообщала ей не сказки. «Мѣрнымъ и ровнымъ голосомъ разсказываетъ она житіе Пречистой Дѣвы, житіе отшельниковъ, угодниковъ Божіихъ, святыхъ мученицъ; говоритъ она Лизѣ, какъ жили святые въ пустыняхъ, какъ спасались, голодъ терпѣли и нужду,—и царей не боялись, Христа исповѣдывали; какъ имъ птицы небесныя кормъ носили, и звѣри ихъ слушались; какъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ кровь ихъ падала, цвѣты вырастали». Холодъ и полусвѣтъ утра, свѣжесть и пустота церкви, въ которую няня часто уводила ее, разбудивъ на зарѣ, „самая таинственность этихъ неожиданныхъ отлучекъ,

осторожное возвращеніе въ домъ, въ постельку,—вся эта смѣсь запрещеннаго страннаго, святого, потрясала дѣвочку, проникала въ глубь ея существа". Результатъ этого воспитанія не трудно было предвидѣть. Лиза научилась жить внутренней жизнью, внѣшній міръ занималъ ее меньше, чѣмъ ея собственныя мечты. Въ ея умѣ создалась та философія, которую подслушалъ раньше Тургеневъ у Лукерьи, Касьяна и Калиныча. Она вѣрила, что составляетъ лишь частицу мірозданія, что ея жизнь должна раствориться въ міровой жизни, а ея счастье и радости должны быть принесены въ жертву высшимъ цѣлямъ Божества. „Образъ Вездѣсущаго, Всезнающаго Бога съ какой-то сладкой силой втѣснялся въ ея душу, наполнялъ ее чистымъ, благоговѣйнымъ страхомъ, а Христосъ становился ей чѣмъ-то близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ". Ея идеалъ—идеалъ чистаго аскетизма. Она бѣжитъ земныхъ радостей и жажду счастья считаетъ грѣховнымъ стремленіемъ, которое необходимо заглушать въ себѣ Она не даетъ человѣку права судить человѣка, такъ какъ всѣ мы ходимъ въ грѣхѣ. „Вы должны простить, если хотите, чтобы васъ простили",—говоритъ она Лаврецкому по поводу его разрыва съ женой. Ея страхъ передъ земнымъ счастьемъ, какъ передъ чѣмъ-то грѣховнымъ и преступнымъ, обрисовывается въ сценѣ ея объясненія съ Лаврецкимъ. Она боится отдаться счастью, которое улыбнулось ей на мгновенье, и тихо произноситъ: „Это все въ Божьей власти". И когда обнаруживается, что жена Лаврецкаго жива, Лиза видитъ въ этомъ подтвержденіе своей вѣры. Они должны искупить свой минутный порывъ къ счастью. „Теперь вы сами видите, что счастье зависитъ не отъ насъ, а отъ Бога". И Лиза требуетъ, чтобы Лаврецкій „исполнилъ свой долгъ" и примирился съ женой. „А въ чемъ же вашъ долгъ состоитъ?"—спрашиваетъ Лаврецкій. Постриженіе Лизы въ монастырѣ служитъ

отвѣтомъ на этотъ вопросъ. „Счастье ко мнѣ не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грѣхи и чужіе, и какъ папенька богатство нажилъ; я все знаю. Все это отмолить, отмолить надо... Отзываетъ меня что-то; тошно мнѣ, хочется мнѣ запереться навѣкъ". Старые аскетическіе идеалы средневѣковья звучатъ въ этихъ словахъ. Міръ погрязъ въ грѣхѣ, и только мимо жизни, внѣ ея, можно обрѣсти спасеніе; къ небу, а не къ землѣ долженъ быть обращенъ взоръ человѣка; не въ устроеніи земного личнаго счастья, а въ жертвѣ во имя высшей цѣли — долгъ человѣка. Въ этомъ непринятіи жизни, въ этомъ неумѣніи и нежеланіи слиться съ новыми задачами коренилось одно изъ самыхъ своеобразныхъ направленій мысли, возникшихъ въ эпоху ликвидаціи дворянской культуры,—то направленіе, которое нашло своего глубочайшаго идеолога въ лицѣ Л. Н. Толстого. Его ученіе, стоящее въ сторонѣ отъ большой дороги жизни, его великая нравственная проповѣдь, проникнутая мыслью о приматѣ мірового начала надъ личнымъ и съ пренебреженіемъ отвращающаяся отъ суетной злобы дня,—это ученіе выросло изъ той же почвы, которая вырастила смиреніе Лукерьи, мечтательность Калиныча и мистическую вѣру Лизы.

Какъ ни далеко стоятъ отъ Лизы другіе женскіе образы, созданные Тургеневымъ, но у нихъ есть общая черта. Анализъ, внутренняя работа духа больше свойственна имъ, чѣмъ активная дѣятельность. Всѣ онѣ обладаютъ силой и часто непоколебимой волей, но эта воля не направлена на активное вмѣшательство въ жизнь, не претворяется въ стремленіе пересоздать жизнь согласно своимъ идеаламъ. Эта воля у Лизы выражается въ могучемъ усиліи отречься отъ жизни. У Натальи она проявляется въ беззавѣтной любви, въ умѣньи отречься отъ своей личности во имя

любимаго человѣка. Она такъ же, какъ и Лиза, любитъ мысль больше слова, свою мечту больше дѣйствительности. „Она говорила мало, слушала и глядѣла внимательно, почти пристально,—точно она во всемъ хотѣла дать себѣ отчетъ. Она часто оставалась неподвижной, опускала руки и задумывалась; на лицѣ ея выражалась тогда внутренняя работа мыслей... Она чувствовала глубоко и сильно, но и тайно; она и въ дѣтствѣ рѣдко плакала, а теперь даже вздыхала рѣдко, и только блѣднѣла слегка, когда что-нибудь ее огорчало". Для мечты и «внутренней работы мыслей» нѣтъ надобности въ другой обстановкѣ, кромѣ барской усадьбы. Наталья такъ же сроднилась съ ней и такъ же любила ее, какъ и Лиза. „Какъ можно скучать въ деревнѣ?—говоритъ она Рудину.—Я очень рада, что мы здѣсь. Я здѣсь очень счастлива". Ея любовь къ Рудину—скорѣе жажда любви, чѣмъ любовь, скорѣе порывъ къ созданной ею мечтѣ, чѣмъ сознательное влеченіе къ правильно понятому человѣку. Она съ самаго начала видитъ внутреннюю фальшь, скрывающуюся въ словахъ Рудина. Она разоблачаетъ ее на каждомъ шагу: и тогда, когда выражаетъ свое удивленіе по поводу его замѣчанія о желаніи отдохнуть, и тогда, когда на его слова о средствахъ, восклицаетъ: «Какъ вамъ не найти средства». Каждое слово Рудина говоритъ ей о томъ, что она ошиблась въ его словахъ. Послѣднее объясненіе съ нимъ окончательно раскрываетъ ей глаза: „Вы ли это, вы ли это, Рудинъ?" Она выше его своей силой, своей рѣшительностью и умѣньемъ бороться за свое счастье. Тогда какъ онъ умѣлъ только „покоряться" при столкновеніи съ препятствіями, она умѣла отвѣтить матери, что скорѣе умретъ, чѣмъ выйдетъ за другого. Когда она шла на послѣднее свиданіе съ Рудинымъ, она мысленно прощалась со своимъ домомъ и со всѣмъ прошедшимъ, которое было ей такъ дорого. Она не задумыва-

ясь послѣдовала бы за нимъ. И всѣ эти богатыя душевныя силы, вся эта могучая воля способны развернуться только въ одной сферѣ,—въ сферѣ любви. Послѣ отъѣзда Рудина для Натальи не существовало больше цѣли. «Ей такъ горько, и противно, и пошло казалось жить; такъ стыдно ей стало самой себя, своей любви, своей печали, что въ это мгновеніе она бы, вѣроятно, согласилась умереть». И Наталья кончила тѣмъ, что вышла замужъ за Волынцева, который меньше всего могъ удовлетворить ея требованіямъ. Авторъ не разсказываетъ подробностей объ ея семейной жизни и ограничивается только короткимъ сообщеніемъ, которое вкладываетъ въ уста Басистова: „Она спокойна какъ всегда, но кажется довольна". Да еще въ эпилогѣ Лежневъ на вопросъ Рудина, счастлива ли Наталья, отвѣчаетъ утвердительно. Автору нечего сказать о своей героинѣ. Ея сила, ея обаяніе не находили себѣ больше простора съ тѣхъ поръ, какъ она утратила любимаго человѣка. И если дорогъ намъ до сихъ поръ этотъ поэтическій женскій образъ, то потому, что любовь Натальи и ея слезы были первымъ симптомомъ пробужденія русской женщины, такимъ же пламеннымъ и безплоднымъ порывомъ къ жертвѣ и идеалу, какимъ горѣла прогрессивная дворянская интеллигенція эпохи. Когда Рудинъ пробудилъ въ ней чувство любви, она „долго сидѣла въ недоумѣніи на своей кроваткѣ" и „вдругъ сжала руки и горько заплакала". „О чемъ она плакала—Богъ вѣдаетъ!"—прибавляетъ авторъ. Но эти слезы, это томленіе были символомъ. Жизнь не могла развернуться еще въ своемъ реальномъ значеніи передъ всѣми этими пробудившимися силами, но ихъ пробужденіе служило симптомомъ недалекой уже смерти отживающаго строя.

То, на что была готова и способна Наталья, совершила Елена. Она сумѣла порвать съ прошлымъ, со всей обстановкой, съ которой она сроднилась, она,

избалованная съ дѣтства, сумѣла пойти на лишенія, бросилась въ невѣдомое будущее, не побоялась превратностей измѣнчивой военной жизни. Въ ней больше порывистости, чѣмъ въ Натальѣ. Въ ней больше жажды активнаго дѣла. „Чтеніе одно ее не удовлетворяло: она съ дѣтства жаждала дѣятельности, дѣятельнаго добра; нищіе, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видѣла ихъ во снѣ, разспрашивала о нихъ своихъ знакомыхъ". Ея покровительствомъ пользовались всѣ притѣсняемые, вплоть до насѣкомыхъ и гадовъ. Она рано завоевала себѣ независимость въ домѣ. Но и благотворительность, и все то, въ чемъ находили себѣ примѣненіе ея силы, были только преддверіемъ къ настоящему проявленію этой активной силы, которая развернулась во всей своей красотѣ и обаяніи только въ чувствѣ любви. Всю жизнь до встрѣчи съ Инсаровымъ она искала дѣла и не знала, въ чемъ оно. Она болѣла одной тоской со всей тогдашней интеллигенціей. Она чувствовала, что мало одного энтузіазма, мало однихъ высокихъ качествъ, нужно примѣненіе ихъ. „Быть доброй—этого мало; дѣлать добро... да; это главное въ жизни",—пишетъ она въ своемъ дневникѣ. Но какъ это дѣлать? „О, если бы кто-нибудь мнѣ сказалъ: вотъ что ты должна дѣлать"... Не будемъ упрекать Елену за то, что она не могла заглянуть въ другіе, недворянскіе слои русскаго общества, гдѣ уже начинали находить себѣ „дѣло" русскіе люди. Ея происхожденіе и окружающая среда скрыли отъ нея эти сферы. Какъ и вся тургеневская поэзія, этотъ прелестный образъ былъ только предчувствіемъ будущаго. Елена—воплощенный порывъ, безраздумное самоотверженіе. Эти богатыя силы ушли на чужое дѣло, растворились въ стремленіи чужого человѣка. „Отчего онъ не русскій?" И какія силы! Намъ придется терпѣть униженія, опасности...—говорилъ онъ. „Я люблю тебя",—отвѣчала она. „Тебѣ при-

дется отсѣать отъ всѣхъ твоихъ привычекъ... одна между чужими ты будешь работать".—„Я люблю тебя". И когда онъ умеръ, она писала родителямъ: „...Мнѣ нѣтъ другой родины, кромѣ родины Димитрія... Я не знаю, что со мною будетъ, но я и послѣ смерти Д. останусь вѣрна его памяти, дѣлу всей его жизни".

Изъ тургеневскихъ героинь Маріанна на первый взглядъ ближе всѣхъ подходитъ подъ понятіе передовой женщины въ современномъ смыслѣ этого слова. Ея страданія и ея думы переходятъ далеко за предѣлы личнаго чувства. „Мнѣ кажется иногда, что я страдаю за всѣхъ притѣсненыхъ, бѣдныхъ, жалкихъ на Руси... Нѣтъ, не страдаю—а негодую за нихъ, возмущаюсь... что я за нихъ готова... голову сложить". Она рвалась въ Сибирь, потому что ей „хотѣлось извѣдать самой, посмотрѣть собственными глазами, какъ живутъ ссыльные... загнанные". Она негодовала на себя „и на всѣхъ этихъ спокойныхъ, зажиточныхъ, сытыхъ". При той общей тенденціи, которую проводилъ Тургеневъ въ „Нови", онъ, конечно, не могъ отнестись сочувственно къ ея революціонной дѣятельности. Когда Нежданов разсказалъ ей о своихъ планахъ, „благодарность, гордость, преданность, рѣшимость—вотъ чѣмъ переполнялась ея душа". Охваченная энтузіазмомъ, она не задумываясь предоставляетъ себя въ распоряженіе революціонеровъ, готова служить общему дѣлу, „сдѣлать все, что будетъ нужно, пойти куда прикажутъ". Она отдавалась дѣлу, которое въ такомъ карикатурномъ видѣ изображено Тургеневымъ. Она не поняла, что слова Нежданова вовсе не были для нея указаніемъ настоящаго дѣла. Она бросилась на это дѣло только потому, что искала примѣненія своимъ силамъ: „Жажда дѣятельности, жертвы, жертвы немедленной—вотъ чѣмъ томилась она". Она не понимала, что сочувствовала Нежданову не за то дѣло, которому онъ служилъ: она сочувствовала „той прав-

ственной болѣзни, которой онъ страдалъ и которая не была чужда ей". Елену не занимала сама по себѣ Болгарія, она отдалась этому чуждому ей дѣлу только ради любимаго человѣка. Такъ и Маріанна шла за любимымъ человѣкомъ, а его дѣло оставалось ей чуждымъ, какъ оставалось оно, впрочемъ, чуждымъ и ему самому. Ея душѣ сталъ чуждъ Неждановъ, когда она встрѣтила болѣе сильнаго человѣка Соломина. Какъ не понялъ Тургеневъ революціонеровъ, такъ не могъ онъ изобразить и той женщины, которой искалъ,—женщины-дѣятельницы, умѣющей ставить себѣ общественныя задачи помимо мужчины, дающей исходъ своимъ идеальнымъ порывамъ не только въ отреченіи и любви.

Предъ нами прошла вереница яркихъ образовъ, нарисованныхъ рукой великаго художника. Этими образами поэтъ хотѣлъ повѣдать русскому обществу свои думы, указать пути. Гдѣ же настоящій Тургеневъ? Нашелъ ли онъ свой идеалъ, нашелъ ли „настоящаго" человѣка и дѣйствительно ли успокоилось его сердце, бившееся чувствомъ пламенной любви къ родной странѣ, когда онъ нашелъ Соломиныхъ и имъ подобныхъ? Было бы глубокой ошибкой отвѣтить утвердительно на этотъ вопросъ. Поэтъ-дворянинъ не могъ найти въ своей средѣ тѣхъ, кто повелъ бы Россію впередъ. И итоги его думъ получились грустные. Если бы оставалось какое-нибудь сомнѣніе относительно общаго міросозерцанія Тургенева, то его „Стихотворенія въ прозѣ" совершенно разсѣиваютъ ихъ. По проникающему ихъ безнадежному пессимизму они могутъ сравниться только съ „Діалогами" Леопарди, этимъ поэтическимъ памятникомъ, возникшимъ въ эпоху ликвидаціи дворянско-католическаго строя на Западѣ *).

---

*) См. мои „Очерки по ист. зап.-европ. лит.", т. II.

Что такое толпа, что такое человѣчество и какъ относится оно къ своимъ друзьямъ, къ тѣмъ, кто во имя его гибли въ тюрьмахъ и на эшафотахъ, къ тѣмъ, кто разсыпали передъ нимъ сокровища своего духа, своего ума и таланта? Толпа встрѣчаетъ свистками и хохотомъ геніевъ и рукоплещетъ шарлатанамъ и подражателямъ („Два четверостишія"). Народъ не понимаетъ мучениковъ идеи, и когда слышитъ о томъ, что одинъ изъ его защитниковъ взошелъ на висѣлицу, каждый старается только о томъ, чтобы добыть веревку, которая удушитъ героя, потому что, по народному повѣрью, она приноситъ счастье („Чернорабочій и бѣлоручка"). Авторъ не видитъ въ мірѣ ничего свѣтлаго. Люди насмѣялись надъ самыми святыми чувствами, надъ благодарностью, дружбой, любовью. Верховное существо подводитъ другъ къ другу („Пиръ у Верховнаго существа") двухъ прекрасныхъ дамъ. Имя одной было: „благодѣтельность", имя другой—„благодарность". Дамы несказанно удивились: съ тѣхъ поръ, какъ стоялъ свѣтъ, онѣ встрѣчались въ первый разъ. Въ мірѣ торжествуютъ только клевета и глупость. Для человѣка не существуетъ высшаго удовольствія, какъ оклеветать своего ближняго („Довольный человѣкъ"). Безмозглый пошлякъ можетъ прослыть за умника, если станетъ беззастѣнчиво ругать все и всѣхъ, потому что всѣ боятся критики, потому что „житье дуракамъ между трусами" („Дуракъ"). Къ успѣху въ жизни кривые пути ведутъ вѣрнѣе, чѣмъ прямые. Ни умъ, ни богатство не обезпечиваютъ такъ надежно карьеры юноши, какъ способность „нравиться старымъ женщинамъ" („Восточная легенда"). Только изрѣдка взоръ поэта отдыхаетъ на картинахъ любви и самоотверженія, на подвигахъ состраданія и жертвы. Онъ благоговѣетъ передъ маленькой героической птичкой, сумѣвшей грудью защитить своего птенчика передъ грозной пастью разсвирѣпѣвшаго

животнаго,—и думаетъ о томъ, что „любовь сильнѣе смерти и страха смерти“, что только „ею, только любовью держится и движется жизнь“ („Воробей“). Онъ пишетъ восторженный гимнъ женщинѣ, которая ушла отъ блеска великосвѣтской жизни, отъ зависти дамъ и поклоненія мужчинъ и умерла отъ тифа въ походномъ госпиталѣ, въ болгарской деревушкѣ, отдавъ всѣ свои силы, всѣ „завѣтные клады“ своей души помощи ближнимъ („Памяти Ю. П. Вревской“). Онъ преклоняется передъ мужикомъ, который принялъ сироту въ свой разоренный домишко, отказавшись для этого отъ послѣдней роскоши: соли къ похлебкѣ („Два богача“). Но даже и эти свѣтлыя картины, изрѣдка мелькающія на сѣромъ фонѣ пошлости, корыстолюбія и эгоизма, не измѣняютъ общаго грустнаго настроенія „Стихотвореній“, и Тургеневъ создаетъ своеобразную философію, которая не только по основнымъ идеямъ, но даже по формѣ и сюжетамъ напоминаетъ философію infelicitá, развитую Леопарди въ его „Діалогахъ“. И у Тургенева такъ же, какъ у итальянскаго пессимиста, человѣчество оказывается игрушкой въ рукахъ высшихъ издѣвающихся надъ нимъ силъ. Родъ людской жалокъ и ничтоженъ передъ лицомъ этихъ силъ. Люди со своими страстями, желаніями и борьбою, мнящіе себя царями природы,—еле видимыя козявки передъ вѣчностью. Какъ и Леопарди, Тургеневъ выводитъ гигантовъ, чтобы ярче оттѣнить ничтожество человѣческаго рода. Въ стихотвореніи „Разговоръ“ бесѣдуютъ двѣ горы, Юнгфрау и Финстерааргорнъ, на которыхъ еще не бывало человѣческой ноги. Отъ вопроса до отвѣта проходятъ тысячелѣтія—одна минута для обоихъ великановъ. „Что тамъ внизу?“ — „Воды синѣютъ; чернѣютъ лѣса; сѣрѣютъ груды скученныхъ камней; около нихъ все еще копошатся козявки, знаешь, тѣ двуножки, что еще ни разу не могли осквернить ни тебя, ни меня“. Эти козявки — люди. Еще ты-

сячелѣтія—одна минута для гигантовъ,—и воды сузились, рѣже стали лѣса, меньше стало „козявокъ“, холодъ одѣваетъ землю. Еще минута — и вблизи „все прочистилось“, только „вдали по долинамъ есть еще пятна, и шевелится что-то“. Наконецъ, еще одинъ послѣдній взглядъ—„опрятно стало вездѣ, бѣло совсѣмъ, куда ни глянь... Вездѣ нашъ снѣгъ, ровный снѣгъ и ледъ, застыло все, хорошо теперь, спокойно“. Такъ кончился разговоръ двухъ великановъ. Они уснули. Спитъ зеленое, свѣтлое небо надъ навсегда замолкшей землей. Тысячелѣтія жизни человѣческаго рода, океаны слезъ и крови, заливавшія землю, радости, страданія, геній и творчество—все это предъ лицомъ вѣчности мимолетное явленіе, исторія котораго исчерпывается двумя—тремя краткими фразами. Та же мысль о жестокости человѣческаго жребія и холодномъ равнодушіи природы высказана въ другомъ діалогѣ, „Природа“, напоминающемъ леопардіевскій діалогъ „Природа и исландецъ“. „О чемъ твоя дума?—спрашиваетъ человѣкъ природу.—Не о будущихъ ли судьбахъ человѣчества размышляешь ты? Не о томъ ли, какъ ему дойти до возможнаго совершенства и счастья?“ И какимъ сарказмомъ звучитъ отвѣтъ Природы, занимавшейся въ это время вопросомъ объ увеличеніи силы мышцъ блохи. „Развѣ мы, люди, не любимыя дѣти твои?“—въ изумленіи восклицаетъ человѣкъ. Онъ лепечетъ самыя заповѣдныя слова: „добро, разумъ, справедливость“. Но Природа смѣется надъ самонадѣяннымъ человѣкомъ. Всѣ твари ея дѣти. Она одинаково обо всѣхъ заботится и одинаково всѣхъ истребляетъ. Разумъ, справедливость, добро,—эти слова, выдуманныя человѣкомъ,—для нея не законъ. Она дала жизнь человѣку, она отниметъ ее и дастъ другимъ, червямъ или людямъ—ей все равно.

Въ этой грустной философіи сверкаютъ всѣ тѣ идеи, которыя посѣщаютъ человѣческій умъ всегда

въ эпохи кризиса, идеи, которыя съ новой силой воскресли въ наше время. Въ нихъ слышится отчаяніе великаго ума, не умѣющаго справиться съ новыми задачами, выдвинутыми жизнью. И взоръ его уходитъ отъ земли, стремится проникнуть за предѣлы здѣшняго міра, тамъ, въ невѣдомыхъ высотахъ отыскать высшую силу, управляющую міромъ, поселившую слезы и отчаяніе на землѣ. Пессимизмъ Тургенева—такое же бѣгство отъ большой дороги жизни, какъ сектантство графа Толстого, какъ эстетизмъ Тютчева и представителей чистаго искусства, какъ вся эта дворянская литература, ушедшая отъ реальнаго движенія жизни, отъ естественно развивавшагося соціальнаго процесса.

VI.

Л. Н. Толстой и человѣчество. — Великое недоразумѣніе между ними.—Толстой и усадебная культура.—Вопросъ о „переворотѣ" въ міросозерцаніи Толстого.—Біографія и исторія душевнаго развитія Толстого. -„Дѣтство, отрочество и юность".—Общій характеръ повѣсти.—Николенька Иртеньевъ. — Черты свѣтскаго человѣка въ немъ.—Его характеръ, наблюдательность, совѣстливость, самолюбіе, застѣнчивость, воображеніе, склонность къ анализу. — Типы изъ народа. — „Утро помѣщика": Нехлюдовъ.—„Казаки": Оленинъ.

Весь образованный міръ преклоняется въ настоящее время передъ „великимъ писателемъ земли русской". Толстой сталъ совѣстью новаго человѣчества, которое чтитъ въ немъ недосягаемую нравственную силу, неизмѣримо высоко поднявшуюся надъ волнующимся житейскимъ моремъ. Всѣ великіе русскіе художники, талантъ которыхъ развивался въ той же средѣ и въ ту же эпоху, что и геній Толстого, подобно ему, не пошли за шумнымъ теченіемъ жизни. Но никто изъ нихъ не можетъ сравниться съ Толстымъ въ томъ колоссальномъ нравственномъ вліяніи, которымъ онъ пользуется среди русскаго общества. По-

добно многимъ своимъ сверстникамъ, онъ погрузился въ глубины своего собственнаго духа, но въ то время, какъ одни кончили меланхолической мечтой о природѣ и человѣчествѣ, другіе ушли въ міръ фантазіи и красоты,—Толстой нашелъ исходъ своимъ дѣятельнымъ силамъ въ великой работѣ надъ нравственнымъ усовершенствованіемъ своей личности. Онъ не принесъ этихъ силъ въ жертву политической и общественной борьбѣ. Онъ ушелъ отъ нея, ушелъ отъ той арены, на которой разыгрывается скорбная драма нашего временнаго бытія, отдался своей вѣрѣ съ упрямствомъ сектанта и въ глубинѣ своего собственнаго духа старается отыскать тѣ вѣчныя основы морали, которыя однѣ, по его мнѣнію, выведутъ человѣчество на путь истинной жизни. Міръ и Толстой живутъ обособленной жизнью и никогда не поймутъ другъ друга. Поглощенные печалями и радостями минуты, идя къ осуществленію матеріальныхъ задачъ тернистымъ путемъ политической борьбы, тяжелыми жертвами завоевывая каждый шагъ на пути къ осуществленію соціальной справедливости,—люди не могутъ подняться на тѣ высоты, откуда звучитъ пророческая проповѣдь мудраго старца о христіанской любви и свободѣ. Жизнь не ждетъ. Измученные голодомъ, тупѣя отъ непосильнаго труда, загнанные въ тьму невѣжественнаго и безсмысленнаго существованія,—угнетенные и эксплоатируемые не вѣрятъ больше въ силу проповѣди и молитвы, не слушаютъ больше призывовъ къ смиренію и терпѣнію, не хотятъ думать о той высшей цѣли, которая такъ ясно видна счастливому и безстрастному аристократическому духу Толстого. Но среди борьбы, среди своихъ, быть-можетъ, низменныхъ, но неотвратимыхъ заботъ человѣчество съ благоговѣніемъ прислушивается къ голосу мудрости, несущемуся изъ Ясной Поляны. Оно привыкло вѣрить, что, когда оттуда раздается вѣщее слово по поводу злобы дня, это

слово рождено въ глубокомъ умѣ, который сумѣлъ очиститься отъ страсти и преходящихъ интересовъ минуты, искажающихъ ясную работу мысли. И это слово, идущее изъ великаго и искренняго сердца, направленное противъ всѣхъ формъ насилія, противъ всѣхъ формъ корысти и эксплоатаціи, съ особенной силой поражаетъ сильныхъ и корыстныхъ своего времени. И великій проповѣдникъ, зовущій къ смиренію и отреченію, къ миру и братству, противъ воли своей сѣетъ мятежъ и разжигаетъ злобу. Его слово, которое, по мысли его, должно поселить любовь и покой въ сердцахъ людей, гремитъ мятежнымъ набатомъ, отдается раскатами революціонной трубы по всему міру. Общество всегда пользовалось идеями великихъ умовъ для своихъ временныхъ цѣлей. Оно прочло въ „Ревизорѣ“ смертный приговоръ старой крѣпостнической и и бюрократической Россіи, услышало призывъ къ борьбѣ противъ насилія и гнета. А творецъ „Ревизора“ приглашалъ людей заглянуть въ темный городъ ихъ собственнаго духа, вспомнить о томъ высшемъ ревизорѣ, который рано или поздно предстанетъ передъ ними въ лицѣ ихъ совѣсти. Толстой говоритъ о непротивленіи злу, о томъ, что поднявшій мечъ отъ меча погибнетъ. Онъ имѣетъ въ виду одинаково и угнетателей, и тѣхъ угнетенныхъ, которые при помощи меча хотятъ избавиться отъ угнетателей. Но общество сроднилось съ мыслью, что мечъ находится въ рукахъ только угнетателя, оно не видитъ меча въ рукахъ того, кто пользуется имъ противъ сильныхъ въ защиту слабыхъ. И слово, направленное противъ всякой вражды и злобы, общество воспринимаетъ по-своему и куетъ изъ него новое оружіе противъ угнетателей и эксплоататоровъ. Вотъ почему такъ трепещутъ этого могучаго слова властные и сильные и такъ чтятъ его угнетенные и эксплоатируемые, хотя оно часто направляется противъ тѣхъ и другихъ одинаково, противъ всѣхъ злобствую-

щихъ и враждующихъ. Вѣчное недоразумѣніе между проповѣдникомъ, чей пророческій взоръ смотритъ въ вѣчность, и страдающимъ человѣчествомъ, чье усиліе направлено на исцѣленіе самыхъ невыносимыхъ общественныхъ недуговъ. Онъ требуетъ реформы собственной личности, общество — реформы учрежденій. Люди требуютъ ломки сковывающихъ ихъ внѣшнихъ условій, онъ приглашаетъ ихъ произвести ломку внутри ихъ собственнаго духа. Они хотятъ политической революціи, онъ зоветъ къ революціи сознанія. Онъ говоритъ: уничтожьте въ себѣ все суетное и ненужное, сохраните только истинно-человѣческое и вѣчное,—и тогда сами собою рушатся тюрьмы и распадутся цѣпи. Общество говоритъ: уничтожьте сначала тюрьмы и цѣпи, и тогда можно будетъ думать объ истинно-человѣческомъ и вѣчномъ. Толстой и міръ не поймутъ другъ друга. Міръ всегда будетъ воспринимать его идеи только въ тѣхъ практическихъ цѣляхъ, которыя опредѣляются интересами минуты, а Толстой до конца жизни будетъ свидѣтелемъ того, что жизнь продолжаетъ нестись мимо него неудержимымъ потокомъ, и не остановитъ этого потока его могучее слово, а напротивъ, оно будетъ унесено его бурнымъ стремленіемъ; изъ этого слова удержится лишь то, что найдетъ себѣ мѣсто въ общемъ движеніи, и человѣчество возьметъ себѣ изъ сокровищницы этого богатаго духа только то, что выдержитъ испытаніе передъ самымъ неумолимымъ судьею—исторіей, ходъ которой опредѣляется единственнымъ факторомъ — мѣняющимися потребностями и интересами массъ.

Усадебная культура, опредѣлившая общій тонъ литературной дѣятельности Толстого, повліяла не только въ томъ отношеніи, что онъ до старости остался внѣ большой дороги жизни, остался „лишнимъ человѣкомъ“ въ широкомъ смыслѣ этого слова, въ томъ высшемъ моральномъ значеніи, которое всегда принадлежало

мудрецамъ и пророкамъ. Происхожденіе, воспитаніе и окружающая обстановка навсегда прикрѣпили мысль Толстого къ деревнѣ. Онъ не любитъ города. Подобно Тургеневу, Герцену и другимъ представителямъ просвѣщеннаго и гуманнаго барства, тамъ, въ глубинѣ русской деревни ищетъ невольно Толстой своихъ идеаловъ. Это влеченіе къ деревнѣ проникало творчество и Тургенева, и Герцена, несмотря на ихъ западничество, на ихъ исканія истины среди бурь и революцій. Толстой только субъективнѣе и своеобразнѣе ихъ. Онъ не заглушалъ голоса, идущаго изъ глубины его собственнаго духа, звуками, доносящимися изъ чуждой обстановки, шумомъ цивилизаціи и сутолокой города. Толстой просто отвергъ эту цивилизацію. Если Тургеневъ уже нашелъ то, слово—„дымъ",—которымъ въ умѣ мыслящаго барства опредѣлялись стремленія разныхъ слоевъ русскаго общества, то въ глазахъ Толстого тотъ путь, по которому идетъ оно, всегда будетъ путемъ грѣха и безумія. Толстой довелъ до логическаго конца то отрицательное отношеніе къ новой русской дѣйствительности, которое было однимъ изъ главныхъ элементовъ въ творчествѣ Тургенева. Въ усадьбѣ и деревнѣ, въ ихъ строѣ, въ понятіяхъ и вкусахъ, созданныхъ здѣсь, ищетъ онъ той исходной точки, отъ которой можетъ произойти истинная жизнь. Незамѣтно для самого автора его творенія являются эпопеей дворянскаго хозяйства въ эпоху крѣпостничества, картиной неурядицъ и психологической смуты, возникшихъ въ деревнѣ послѣ освобожденія. Незамѣтно для автора великій нравственный идеалъ, поставленный имъ передъ человѣчествомъ, сложился изъ тѣхъ характерныхъ чертъ русскаго крестьянина, которыя были облюбованы гуманнымъ русскимъ барствомъ и наличность которыхъ превращала крѣпостническій строй въ патріархально-идиллическое существованіе. Тургеневскіе Касьяны и Лу-

керьи — прототипы Платона Каратаева и работника. Позднѣйшая религіозная и моральная проповѣдь Толстого, его ученіе о Высшемъ Существѣ и его цѣляхъ, о непротивленіи злу, объ отреченіи, о долгѣ и смиреніи,—все это мы уже слышали изъ устъ Сучка, Лукерьи и Калиныча. Великіе художники умѣютъ свои личныя впечатлѣнія превращать въ глубокую оригинальную философію, при свѣтѣ которой жизнь получаетъ новые, раньше неизвѣстные цвѣта и формы. Свою болѣзнь и свою тоску Леопарди разлилъ по всему міру, и печальнымъ сталъ міръ, и эта болѣзнь и эта тоска, которая была бы личнымъ незамѣченнымъ горемъ въ душѣ простого человѣка, стала въ душѣ генія новой философской возможностью, новой точкой зрѣнія, съ которой иной, еще невѣдомой представилась и жизнь, и исторія, и природа. Толстой—геніальнѣйшій выразитель тѣхъ новыхъ философскихъ возможностей, которыя возникли на почвѣ великаго экономическаго процесса. Его совѣсть, ставшая совѣстью новаго человѣчества, это—благородная жажда пробудившагося передового барства, которое почувствовало потребность заплатить свой долгъ за вѣковую эксплоатацію крестьянства, за цѣлыя столѣтія командованія и празднаго существованія. Это пробужденіе совѣсти, наступающее всегда въ эпоху потрясенія господства извѣстной группы, Толстой, какъ великій художникъ, сумѣлъ превратить въ фактъ мірового значенія. Тоской этой совѣсти онъ наполнилъ міръ, и иными предстали предъ нами и исторія, и жизнь, и природа. Великимъ заблужденіемъ и наивной самонадѣянностью объявилъ онъ желаніе однихъ людей устраивать судьбу другихъ, стремленіе командовать и насаждать на землѣ счастье, дерзкую попытку человѣка брать на себя дѣло Бога. Великимъ преступленіемъ провозгласилъ онъ эксплоатацію и праздность и всю искусственную цивилизацію съ ея ненужной роскошью, извращенными

вкусами, и противопоставилъ ей безыскусственную жизнь, ограниченныя простыя потребности и несложныя воззрѣнія, которыя онъ подсмотрѣлъ и подслушалъ на полѣ, на *землѣ*, единственномъ источникѣ, дающемъ питаніе человѣку.

Философское ученіе Толстого возникло позднѣе и не принадлежитъ къ занимающей насъ эпохѣ. Но необходимо было забѣжать нѣсколько впередъ для того, чтобы убѣдиться, что грань, отдѣляющая его художественную дѣятельность отъ философской и публицистической, не такъ уже рѣзка и что позднѣйшія идеи Толстого не были неожиданностью, а развивались вполнѣ естественно съ самаго начала его литературной дѣятельности. Въ своей „Исповѣди“ Толстой самъ разсказываетъ исторію этого „переворота“, происшедшаго въ немъ въ 70-хъ годахъ: „На меня стали находить минуты сначала недоумѣнія, остановки жизни, какъ-будто я не зналъ, какъ мнѣ жить, что мнѣ дѣлать“. Онъ увидалъ, что впереди „ничего нѣтъ, кромѣ погибели“, онъ всѣми силами „стремился прочь отъ жизни“. Онъ боялся, что покончитъ жизнь самоубійствомъ. Знакомая тоска,—тоска Герцена и Тургенева. Вѣра въ Россію спасла Герцена. „Общеніе съ народомъ“ спасло Толстого. Два года такого общенія произвели „переворотъ“. Ему опротивѣла жизнь его круга, который онъ опредѣляетъ словами „богатые ученые“. Въ новомъ значеніи предстали передъ нимъ „всѣ наши дѣйствія, разсужденія, наука, искусство“. Онъ понялъ, что все это—„баловство“ и „искать смысла въ этомъ нельзя“. Былъ ли это „переворотъ“? Не былъ ли здѣсь скорѣе естественный ходъ развитія, стремленіе „богатаго ученаго“ уйти къ тѣмъ, трудами которыхъ созидалась взрастившая его культура. Мережковскій правъ, когда замѣчаетъ по поводу этого „переворота“, засвидѣтельствованнаго самимъ Толстымъ и его близкими: „Трудно было бы усомниться въ столь силь-

ныхъ и достовѣрныхъ свидѣтельствахъ, если бы у насъ не было источника еще болѣе достовѣрнаго—собственныхъ художественныхъ произведеній Толстого, которыя въ сущности отъ перваго до послѣдняго не что иное какъ одинъ пятидесятилѣтній дневникъ, одна безконечно-подробная исповѣдь".

Дѣтство графа Толстого, по тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя оно должно было заронить въ душу ребенка, въ существенныхъ чертахъ напоминаетъ уже извѣстные намъ дѣтскіе годы Тургенева и Герцена. Та же уютная обстановка усадебнаго барства, тѣ же теплыя воспоминанія о преданныхъ дворовыхъ, вводящихъ ребенка въ духовный міръ народа, гувернеръ, гувернантка сосѣдей, наконецъ, тяжелыя картины крѣпостного быта, изрѣдка диссонансомъ врывающіяся въ этотъ міръ праздности и покоя,—таковы обычныя впечатлѣнія, изъ которыхъ складывалось это дѣтство. Обстановка, окружавшая Толстого, быть-можетъ, только тѣмъ отличалась отъ обстановки, гдѣ рождались Лаврецкіе и Рудины, что онъ принадлежалъ къ высшему кругу, къ высшимъ слоямъ русскаго дворянства, куда общественная и философская мысль проникала съ бо́льшимъ трудомъ, чѣмъ въ круги средняго дворянства; гдѣ мыслящій умъ и чуткая совѣсть отдѣльныхъ единицъ особенно рѣзко чувствовали безсодержательность и „ненужность" развертывавшагося предъ ними существованія. Отецъ Толстого принадлежалъ къ старинному знатному роду. Онъ былъ сыномъ казанскаго губернатора, которому пришлось взять это мѣсто, такъ какъ онъ сильно пошатнулъ свое состояніе пиршествами, балами и театрами, которые онъ устраивалъ въ своемъ имѣніи. Послѣ его смерти и женитьбы своего сына на Волконской бабушка Л. Н. съ его отцомъ поселилась въ Ясной Полянѣ, родовомъ имѣніи князей Волконскихъ. Родъ князей Волконскихъ, изъ котораго происходила мать Толстого, принадлежитъ къ числу

старинныхъ и знатнѣйшихъ дворянскихъ фамилій. Ея отецъ былъ генералъ-аншефомъ при Екатеринѣ II. Толстой родился 28-го августа 1828 года въ Ясной Полянѣ. Его мать умерла, когда ему было 1½ года, но онъ сохранилъ о ней самое свѣтлое воспоминаніе, хотя зналъ ее только по разсказамъ окружающихъ. „Она,—разсказываетъ Толстой,—представлялась мнѣ такимъ высокимъ, чистымъ, духовнымъ существомъ, что часто въ средній періодъ моей жизни, во время борьбы съ одолѣвавшими меня искушеніями, я молился ея душѣ, прося ее помочь мнѣ, и эта молитва всегда помогала много“. Отецъ Толстого проводилъ время преимущественно въ занятіяхъ по хозяйству. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ дворянъ эпохи наполеоновскихъ войнъ, которые нѣсколько фрондировали николаевское правительство и не считали возможнымъ служить. Отецъ остался въ памяти Толстого въ качествѣ независимаго, ласковаго и учтиваго человѣка. Онъ долго помнилъ блестящіе выѣзды отца на охоту, вечера, проведенные вмѣстѣ съ бабушкой, отцомъ и тетушками, раскладыванье пасьянсовъ,—словомъ, всю обычную обстановку барскаго быта. Ужасы крѣпостного права прошли мимо ребенка. Уже только послѣ смерти отца Толстой узналъ, что тѣлесныя наказанія производились въ ихъ домѣ. Однажды онъ встрѣтилъ кривого Кузьму, помощника кучера, „человѣка женатаго и уже немолодого“, поразившаго дѣтей „печальнымъ видомъ“. Оказалось, что Кузьму вели на гумно „наказывать“. Мальчикъ испыталъ „ужасное чувство“, и когда разсказалъ объ этомъ тетушкѣ, она упрекнула дѣтей за то, что они не остановили возмутительнаго дѣла. „Ея слова,—разсказываетъ Толстой,—еще больше огорчили меня... Я никакъ не думалъ, чтобы мы могли вмѣшиваться въ такое дѣло, а между тѣмъ оказывалось, что мы могли. Но уже было поздно, и ужасное дѣло было совершено“. Въ общемъ, повидимому, Тол-

стому не пришлось часто переживать „ужаснаго чувства“ при видѣ безобразныхъ сценъ, возникавшихъ на почвѣ крѣпостныхъ отношеній, и усадебно-крѣпостническій строй рисовался ему въ видѣ свѣтлой идилліи. „Не только моя мать, но и всѣ окружавшія мое дѣтство лица, отъ отца до кучеровъ, представляются мнѣ исключительно хорошими людьми. Вѣроятно, мое чистое, любовное чувство, какъ яркій лучъ, открывало мнѣ въ людяхъ (они всегда есть) лучшія ихъ свойства, и то, что всѣ люди эти казались мнѣ исключительно хорошими, было гораздо ближе къ правдѣ, чѣмъ то, когда я видѣлъ одни ихъ недостатки“. Огромное вліяніе на Толстого имѣла его тетя Татьяна Александровна Ергольская, къ которой онъ повременамъ испытывалъ „вспышки восторженно умиленной любви“. Это была прекрасно воспитанная женщина, замѣнившая ему мать и своей любовью къ дѣтямъ усиливавшая общее настроеніе любви и мира, складывавшееся въ душѣ Толстого въ Ясной Полянѣ. Она научила его „духовному наслажденію любви“: „она не словами, а всѣмъ своимъ существомъ заражала меня любовью“. Далѣе, учитель-нѣмецъ Ѳедоръ Ивановичъ Рессель, увѣковѣченный въ „Дѣтствѣ“ въ лицѣ Карла Ивановича, фигуры изъ народа, дворовые и юродивые, особенно полудурачокъ Акимъ, помощникъ садовника, навѣявшій въ „Дѣтствѣ“ страницы, посвященныя юродивому Гришѣ, экономка Прасковья Исаевна, съ которой списана въ „Дѣтствѣ“ Наталья Савишна,—таковъ былъ міръ, окружавшій ранніе годы будущаго писателя.

Толстому было девять лѣтъ, когда умеръ его отецъ, и его опекуншей сдѣлалась его тетя графиня Остенъ-Сакенъ. По смерти ея онъ перешелъ къ другой тетѣ, Юшковой, которая увезла его въ Казань и вмѣстѣ съ его братьями отдала въ университетъ. Толстому было 13 лѣтъ, когда его привезли въ Казань. Только послѣ

продолжительной предварительной подготовки онъ поступилъ въ 1844 году на факультетъ восточныхъ языковъ. Но ученье шло плохо. Толстой отдавалъ въ это время дань молодости. Въ качествѣ родовитаго молодого человѣка, съ богатыми связями, онъ всюду былъ желаннымъ гостемъ. Его видѣли на всѣхъ балахъ, великосвѣтскихъ собраніяхъ и любительскихъ спектакляхъ. Разсѣянная свѣтская жизнь мѣшала занятіямъ. Невысокое состояніе тогдашней университетской науки тоже не могло содѣйствовать возбужденію интереса къ университетскимъ занятіямъ, и Толстой покинулъ университетъ, не окончивъ его и получивъ свидѣтельство, изъ котораго слѣдовало, что „въ преимуществахъ по чинопроизводству“ онъ сравнивается только „съ лицами, получившими образованіе въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, и принадлежитъ ко второму разряду гражданскихъ чиновниковъ“. Въ 1847 г. Толстой поселился въ Ясной Полянѣ съ цѣлью помогать своимъ крестьянамъ, переживъ, повидимому, то душевное состояніе, которое онъ изобразилъ въ „Утрѣ помѣщика“. Подобно Нехлюдову, онъ убѣдился въ безплодности своихъ попытокъ, хотя мы и здѣсь не имѣемъ свидѣтельства того, что Толстой понялъ главную причину всѣхъ неудачъ просвѣщеннаго и гуманнаго барства, главную помѣху, препятствовавшую осуществленію его благихъ начинаній, именно самый фактъ существованія крѣпостного права. Далѣе слѣдуетъ тотъ періодъ жизни Толстого, о которомъ онъ самъ писалъ въ своей „Исповѣди“: „Безъ ужаса, омерзѣнія и боли сердечной не могу вспомнить объ этихъ годахъ. Я убивалъ людей на войнѣ, вызывалъ на дуэли, чтобы убить, проигрывалъ въ карты, проѣдалъ труды мужиковъ, казнилъ ихъ, блудилъ, обманывалъ. Ложь, воровство, любодѣяніе всѣхъ родовъ, пьянство, насиліе, убійство... Не было преступленія, котораго бы я не совершалъ, и за все это меня хвалили, считали

и считаютъ мои сверстники сравнительно нравственнымъ человѣкомъ. Такъ жилъ я десять лѣтъ!“ Въ этой тирадѣ подведенъ итогъ жизни и дѣятельности человѣка, принадлежавшаго къ высшимъ слоямъ дворянства. Это — самообличеніе, покаяніе эксплоататора и тунеядца, нашедшаго въ себѣ достаточно мужества и благородства, чтобы назвать вещи своими именами, чтобы выставить въ истинномъ свѣтѣ жизнь, ужасы которой раскрылись передъ проснувшейся совѣстью великаго человѣка. Внѣшніе факты въ этотъ періодъ его жизни несложны. Послѣ неудачной попытки устроить своихъ крестьянъ онъ уѣзжаетъ въ Петербургъ, пытается то снова отдаться университетскимъ занятіямъ, то хочетъ поступить въ военную службу, то бросается въ азартную карточную игру и предается такому разгулу, что нѣсколько разъ оказывается на краю гибели. Временами имъ овладѣвало мрачное отчаяніе, онъ готовъ былъ на самые безумные поступки. Его спасла поѣздка на Кавказъ, куда онъ уѣхалъ въ 1851 году и гдѣ участвовалъ въ войнѣ съ горцами, нерѣдко подвергая свою жизнь смертельной опасности. Здѣсь среди роскошной кавказской природы, сыгравшей такую великую роль въ развитіи нашихъ геніальнѣйшихъ поэтовъ, среди полудикихъ, но цѣльныхъ натуръ въ лицѣ терскихъ казаковъ, Толстой впервые ясно почувствовалъ свое призваніе. Здѣсь была написана его первая повѣсть „Исторія моего дѣтства“, напечатанная въ 1852 году въ „Современникѣ“. Съ Кавказа онъ переводится въ дѣйствующую противъ Турціи армію и попадаетъ затѣмъ въ Севастополь во время осады, гдѣ снова его жизнь подвергается не разъ серьезной опасности. На Кавказѣ ярко обнаружились тѣ настроенія, которыя впослѣдствіи станутъ главными настроеніями Толстого: отрицательное отношеніе къ культурной жизни и любовь къ безыскусственному, простому существо-

ванію, близкому къ природѣ. „Какъ вы мнѣ всѣ гадки и жалки!—пишетъ онъ своимъ знакомымъ.—Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо разъ испытать жизнь во всей ея безыскусственной красотѣ. Надо видѣть и понимать, что я каждый день вижу предъ собою: вѣчные неприступные снѣга горъ и величавую женщину въ той первобытной красотѣ, въ которой должна была выйти первая женщина изъ рукъ своего Творца, и тогда ясно станетъ, кто себя губитъ, кто живетъ въ правдѣ или во лжи: вы или я. Коли бъ вы знали, какъ мнѣ мерзки и жалки вы въ вашемъ обольщеніи! Какъ только представятся мнѣ, вмѣсто моей хаты, моего лѣса и моей любви, эти гостиныя, эти женщины съ припомаженными волосами надъ подсунутыми чужими буклями, эти неестественно шевелящіяся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этотъ лепетъ гостиныхъ, обязанный быть разговоромъ и не имѣющій никакихъ правъ на это,—мнѣ становится невыносимо гадко... Поймите одно и повѣрьте одному. Надо видѣть и понять, что такое правда и красота, и впрахъ разлетится все, что вы говорите и думаете, всѣ ваши желанія счастья и за меня и за себя“.

Послѣ сдачи Севастополя въ 1855 году Толстой пріѣхалъ въ Петербургъ и, какъ человѣкъ, уже успѣвшій заявить себя даровитымъ писателемъ, былъ принятъ съ распростертыми объятіями въ кружкѣ литераторовъ, группировавшихся около „Современника“. Въ составъ этихъ литераторовъ входили Панаевъ, Некрасовъ, Тургеневъ, Островскій, Гончаровъ, Григоровичъ, Фетъ и другіе. Но добрыя отношенія Толстого съ петербургскими литераторами продолжались недолго. Своеобразная натура Толстого, независимость его характера, не позволявшія ему подчиняться всему, что носило хотя бы слабый отпечатокъ группы или кружковщины, скоро поставили его во враждебныя отно-

шенія ко многимъ членамъ кружка. Аристократической натурѣ Толстого было чуждо и даже враждебно разночинское направленіе, преобладавшее среди тогдашнихъ литераторовъ. Наконецъ, онъ не могъ не видѣть ихъ недостатковъ, а между тѣмъ исканіе нравственно совершенной личности среди всѣхъ колебаній и уклоненій всегда оставалось внутренней потребностью Толстого. Впослѣдствіи въ своей „Исповѣди“ онъ писалъ, что взгляды этихъ писателей „подъ распущенность его жизни подставили теорію, которая ее оправдывала“. Онъ убѣдился, что взгляды, усвоенные имъ вмѣстѣ съ ними, совершенно изгладили въ немъ „всѣ его прежнія попытки сдѣлаться лучше“. Они показались ему много ниже тѣхъ людей, которыхъ онъ встрѣчалъ въ своей военной жизни, самоувѣренными жрецами „вѣры писательской“. „Люди эти мнѣ опротивѣли, и самъ себѣ я опротивѣлъ, и я понялъ, что вѣра эта—обманъ“. И здѣсь Толстой почувствовалъ себя „лишнимъ человѣкомъ“. И здѣсь обнаружилась его основная черта (а вмѣстѣ съ нимъ черта всего передового гуманнаго барства этой эпохи)—неспособность къ коллективной медленной работѣ, которая диктовалась ходомъ исторіи, отрицательное отношеніе къ тѣмъ людямъ, среди которыхъ намѣчались элементы ближайшаго будущаго, и одинокое стремленіе отыскать истину среди тѣхъ понятій и вкусовъ, съ которыми съ дѣтства сроднилась его душа. Порвавъ съ петербургскими литераторами и лишившись поддержки критики, которая стала замалчивать теперь его произведенія, — Толстой занялъ съ этого момента совершенно особое мѣсто въ русской литературѣ, внѣ всякихъ направленій и школъ. Это мѣсто постепенно было признано за нимъ, и до сихъ поръ онъ занимаетъ его, не считаясь ни съ чѣмъ, идя своей особой дорогой, часто поражая самыя святыя традиціи и вѣрованія русскаго общества. Его жизнь послѣ разрыва съ петербургскими литераторами долго еще

отмѣчается сомнѣніями и колебаніями. Онъ бросается въ разныя сферы дѣятельности. Онъ ищетъ примѣненія своимъ силамъ, и долго на его дѣятельности отражаются типичныя черты лишнихъ людей. Онъ часто разочаровывается, переходитъ отъ одного дѣла къ другому. Онъ возобновляетъ основанную имъ въ Ясной Полянѣ школу, съ изумительнымъ усердіемъ изучаетъ педагогическое дѣло. Въ 1861 г. онъ принимаетъ на себя обязанности мирового посредника, но вскорѣ покидаетъ ихъ, видя, что не въ силахъ бороться съ дворянами, противникомъ которыхъ онъ не разъ выступалъ, защищая интересы крестьянъ. Его идеалы и стремленія пріобрѣтаютъ постепенно все болѣе и болѣе характеръ великихъ, но отвлеченныхъ идеаловъ, неосуществимыхъ въ рамкахъ реальной дѣйствительности, практически безплодныхъ для несовершеннаго человѣческаго общества. Онъ создаетъ анархическую школу, безъ малѣйшаго намека на дисциплину, возстаетъ противъ педагогическихъ и научныхъ традицій, требуетъ полной свободы для народа въ выборѣ нужныхъ и полезныхъ ему знаній, отрицаетъ за интеллигентами право навязывать народу традиціонныя знанія и чуждыя ему убѣжденія. Къ педагогическому дѣлу онъ возвращается нѣсколько разъ, пишетъ „Азбуку“ для крестьянскихъ дѣтей, пропагандируетъ свои методы, вызывая подозрѣніе правительства и расколъ среди педагоговъ. Въ 1862 году Толстой женился, и съ этого момента наступилъ тотъ періодъ его жизни, о которомъ онъ самъ написалъ слѣдующее: „Въ эти 18 лѣтъ я жилъ правильной, честной семейной жизнью, не предаваясь никакимъ осуждаемымъ общественнымъ мнѣніемъ порокамъ, но всѣ интересы мои ограничивались эгоистическими заботами о семьѣ, объ увеличеніи состоянія, о пріобрѣтеніи литературнаго успѣха и всякаго рода удовольствіями“. Изъ этихъ словъ видно, что и семейная жизнь Толстого, представляющая со-

бою рѣдкій образецъ семейнаго счастья, не могла утолить его стремленія къ высшей лучшей жизни, что и семья не заглушила голоса, ставившаго въ душѣ его немолчно вопросъ о томъ, въ чемъ заключается истинная жизнь и истинное дѣло человѣка,—вопросъ, который былъ поставленъ исторіей передъ мыслящей частью дворянства и который Толстой разрѣшилъ въ концѣ-концовъ обращеніемъ къ религіи, свободной отъ мистицизма, суммирующей практическіе нравственные идеалы, обезпечивающіе разумную и добрую жизнь на землѣ. Написанный въ теченіе 60-хъ годовъ романъ „Война и миръ", а затѣмъ въ 70-е годы—романъ „Анна Каренина" свидѣтельствуютъ о томъ, какъ упорно его геніальный умъ продолжалъ искать смысла жизни.

Семейное счастье не оказалось тѣмъ идеаломъ, который могъ удовлетворить Толстого, и послѣ 18 лѣтъ покоя и счастья онъ снова сталъ мучиться сомнѣніями и очутился лицомъ къ лицу съ тѣмъ вопросомъ, который не переставалъ занимать его съ первыхъ лѣтъ его сознательной жизни. „Подобно тому, какъ на тлѣющій костеръ, — говоритъ Бирюковъ, — наваливаютъ кучу хвороста и онъ какъ-будто тухнетъ, такъ и на Л. Н-ча во время его приближенія къ рѣшенію этого мірового вопроса навалилась куча земныхъ благъ: семейное счастье, слава, богатство, общественная дѣятельность, куча горючаго матеріала, который должно было прожечь тлѣющее подъ ними пламя. И подобно Соломону на вершинѣ славы своей, подобно царевичу Сиддартѣ, окруженному всѣми благами и соблазнами міра, онъ прожегъ весь этотъ матеріалъ своимъ сознаніемъ и сказалъ: все суета. Онъ снова остался передъ вѣчнымъ вопросомъ: зачѣмъ онъ живетъ и какой смыслъ жизни міра и его самого? Жизнь его остановилась, и онъ сталъ мучительно искать выхода изъ этого ужаснаго безнадежнаго поло-

женія". Онъ нашелъ этотъ исходъ въ вѣрѣ, причемъ обратился къ первоисточнику христіанской религіи—къ Евангелію. Со своей обычной пламенной искренностью принялся онъ за изученіе его текста, и на основаніи его создаетъ свое толкованіе христіанства, идущее вразрѣзъ съ церковной традиціей. Онъ пишетъ свои знаменитыя книги „Въ чемъ моя вѣра" и „Царство Божіе внутри насъ", въ которыхъ христіанство трактуется не какъ мистическое ученіе, а какъ новое жизнепониманіе. Оффиціальная церковь изгоняетъ его изъ своей среды. Но ученіе его находитъ многочисленныхъ сторонниковъ во всѣхъ концахъ міра, и онъ пріобрѣтаетъ безпримѣрный въ исторіи нравственный авторитетъ среди читающаго человѣчества.

Жизнь Толстого была безпрерывнымъ исканіемъ правды. Его творенія были отраженіемъ этихъ исканій. Въ его первомъ произведеніи, „Дѣтство", изображено состояніе его собственной души въ дѣтскіе годы. Біографы Толстого (особенно Левенфельдъ и Бирюковъ) достаточно выяснили, какія живыя лица послужили оригиналами для фигуръ, выведенныхъ въ первой повѣсти Толстого. Нѣкоторыя изъ нихъ являются собирательными образами, въ которыхъ соединились типичныя черты нѣсколькихъ окружавшихъ лицъ. Въ отцѣ главнаго героя повѣсти, Николеньки, Толстой изобразилъ Исленева, сосѣда по имѣнію и пріятеля своего дѣйствительнаго отца. Подъ именемъ Мими описана гувернантка сосѣдей, подъ именемъ Катеньки—воспитанница, жившая въ семьѣ Л. Н., Дунечка Темяшева. Въ лицѣ Натальи Саввишны изображена Прасковья Исаевна, служившая экономкой въ домѣ графовъ Толстыхъ. Образъ юродиваго Гриши навѣянъ фигурой полудурачка Акима, помощника садовника, и т. д. Но для насъ важны не эти детали, важно не то, съ какого живого лица списана та или другая черта художественнаго образа. Гамлетъ Шекс-

пира тоже списанъ съ современниковъ (и критика даже отыскала его оригиналъ), но Гамлетъ сталъ тѣмъ не менѣе воплощеніемъ мукъ и сомнѣній своей эпохи и отраженіемъ меланхоліи новаго человѣчества. Первая повѣсть Толстого дорога намъ прежде всего какъ поэтическая картина усадебнаго міра, которая вмѣстѣ съ „Сномъ Обломова“ и главами, изображающими воспитаніе Лаврецкаго, является великимъ культурнымъ памятникомъ. Дорога фигура главнаго героя, потому что ея исторія, это — первые шаги самого Толстого, это—картина условій, опредѣлившихъ одинъ изъ путей, по которымъ развивалась мысль пробудившагося барства, та вѣтвь этого пути, которая не освѣщена у Герцена, Тургенева и другихъ художниковъ дореформеннаго дворянства. Безъ Николеньки Иртеньева мы не имѣли бы картины зарожденія одного изъ самыхъ крупныхъ теченій въ исторіи этого дворянства, того теченія, изъ котораго въ итогѣ получился самъ Толстой и его послѣдователи. Вспомните общее настроеніе тургеневскихъ романовъ. Ихъ герои росли въ обстановкѣ, гдѣ все удаляло отъ реальной дѣйствительности, гдѣ все подготовляло къ безсилію передъ жизнью, воспитывало будущихъ пессимистовъ и мечтателей. Григоровичъ воплотилъ другую струю въ развитіи психики кающагося дворянства, его сантиментальныя слезы передъ страданіями крестьянина, его искусственную барскую скорбь по поводу этихъ страданій. У Тютчева, Фета и поэтовъ чистаго искусства мы найдемъ то же удаленіе отъ жизни. Они воплотили третье теченіе, родственное тургеневскому, приведшее къ культу фантазіи и искусства, къ гимнамъ во славу интенсивной жизни души. Толстого роднитъ съ его собратьями общій признакъ—удаленіе отъ жизни, перемѣщеніе центра тяжести во внутреннюю жизнь души. Но онъ является выразителемъ новаго теченія въ исторіи, кающагося дворянства. Онъ

не пошелъ ни по одному изъ указанныхъ только-что путей, хотя у него можно отмѣтить черты каждаго изъ нихъ. Съ первыхъ шаговъ своей сознательной жизни онъ началъ интенсивно работать надъ своимъ нравственнымъ міромъ, и его первая повѣсть была отраженіемъ ранней стадіи этой работы. При всемъ несходствѣ талантовъ Тургенева и Толстого они оба сходились въ стремленіи комментировать свои собственныя произведенія и выводимые ими образы, въ стремленіи не только изобразить развертывающуюся передъ ними жизнь, но и отнести ее къ общимъ началамъ, отчетливо подчеркнуть свое отношеніе къ ней. Эта особенность вытекала изъ той задачи, которая стояла передъ мыслящимъ дворянствомъ наканунѣ реформъ. Уже первые критики Толстого указали на это сходство. П. Анненковъ въ „Современникѣ" въ 1855 году отмѣтилъ тотъ любопытный фактъ, что и Тургеневъ, и Толстой въ своихъ первыхъ произведеніяхъ избрали форму разсказа отъ собственнаго лица. „Съ нея началъ Тургеневъ и на ней еще стоитъ гр. Л. Н. Т., два повѣствователя, весьма различные по качествамъ своимъ и по направленію, но сходные тѣмъ, что у обоихъ чувствуется присутствіе мысли въ разсказахъ"...

„Я убѣжденъ въ томъ, что, ежели мнѣ суждено прожить до глубокой старости и разсказъ мой догонитъ мой возрастъ, я старикомъ семидесяти лѣтъ буду точно такъ же невозможно-ребячески мечтать... Я убѣжденъ, что нѣтъ человѣческаго существа и возраста, лишеннаго этой благодѣтельной, утѣшительной способности мечтанія". Эти слова, изъ „Юности", являются программой жизни не только Толстого, но и всѣхъ писателей, выросшихъ съ нимъ въ одну эпоху и въ одинаковой атмосферѣ, вплоть до Тургенева и Фета. Непринятіе жизни, мечта, противопоставленная ея грубому ходу,—такова общая основа ихъ творчества.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое представляетъ изъ себя трилогія Толстого, какъ не эпопею безплодныхъ попытокъ искренняго и совѣстливаго ума примкнуть къ той или иной сторонѣ жизни. Исторія Николеньки Иртеньева, это—первое отрицаніе всѣхъ формъ жизни, которое разовьется впослѣдствіи въ сложное ученіе, это—первый могучій протестъ противъ призраковъ, за которыми гонится человѣчество, и призывъ къ внутренней нравственной работѣ, какъ къ единственному исходу для мыслящаго ума и чуткой совѣсти. Николенька не живетъ, а анализируетъ. Онъ—рабъ своей среды и въ то же время ея палачъ. Онъ одержимъ всѣми ея предразсудками, онъ старается пройти весь путь, предназначенный великосвѣтскому ребенку, а потомъ юношѣ, наслаждаться его удовольствіями, презирать его презрѣніемъ, ненавидѣть его ненавистью и любить его любовью. И этотъ путь не дается ему. Вступая на него, онъ разрушаетъ его, потому что анализирующій умъ и искреннее сердце видятъ фальшь и искусственный характеръ этого пути. Что было самымъ жестокимъ ударомъ для Николеньки, что особенно глубоко захватывало его въ изображенные три періода его жизни? Все то, что задѣвало его какъ барина, какъ будущаго свѣтскаго человѣка, какъ существо, призванное блистать въ обществѣ и наслаждаться балами, охотой и всякими барскими удовольствіями. Ребенкомъ онъ не знаетъ бо́льшаго горя, какъ свое некрасивое лицо. Онъ молитъ Бога „сдѣлать чудо“—превратить его въ красавца. Онъ готовъ за красивое лицо отдать „все, что имѣлъ въ настоящемъ, все, что могъ имѣть въ будущемъ“. На него находятъ минуты отчаянія, онъ воображаетъ, что „нѣтъ счастія на землѣ для человѣка съ такимъ широкимъ носомъ, толстыми губами и маленькими сѣрыми глазами“. Неудачное па во время мазурки приводитъ его въ ужасъ. „Всѣ презираютъ меня и всегда будутъ презирать.

Мнѣ закрыта дорога ко всему: къ дружбѣ, любви, почестямъ... все пропало!“ Вмѣстѣ со своими высокорожденными товарищами онъ презираетъ Илиньку Грапа, „сына бѣднаго иностранца“, казавшагося ему „такимъ презрѣннымъ существомъ, о которомъ не стоитъ ни жалѣть, ни думать“. Новый костюмъ, первый выѣздъ на лошади, первый балъ, нелѣпая поддѣлка подъ свѣтскій разговоръ со своей маленькой дамой по кадрили,—все это крупнѣйшія событія въ жизни Николеньки. Пройдутъ года, дѣтство смѣнится юностью, но Николенька останется сыномъ своей среды. Во время университетскаго экзамена онъ будетъ чувствовать ненависть къ профессору, несправедливо обидѣвшему его, притомъ чувство обиды усилится презрѣніемъ къ профессору за то, что, по его понятіямъ, онъ не былъ изъ людей comme il faut, въ чемъ убѣдили Николеньку „его короткіе, крѣпкіе и круглые ногти“. Ставъ студентомъ, онъ думаетъ „только о мундирѣ, треугольной шляпѣ, собственныхъ дрожкахъ, собственной комнатѣ и, главное, о собственной свободѣ“. Онъ прежде всего отправится въ модный магазинъ купить ненужныя и не привлекающія его вещи, захочетъ порисоваться передъ товарищемъ дрожками и своимъ костюмомъ, купитъ табаку и будетъ курить съ отвращеніемъ до головокруженія и обморока, лишь бы быть такимъ, какъ полагается быть въ его кругу, пройти по шаблону тотъ этапъ, который проходятъ всѣ.

Эфемерныя свѣтскія удовольствія была та пристань, куда прежде всего устремились дѣятельныя духовныя силы богато одареннаго ребенка. Толстому нужно было показать крушеніе этихъ стремленій, показать, что для пробудившагося ума не могло быть удовлетворенія въ служеніи призрачнымъ идеаламъ свѣтскаго общества. Николенька обладаетъ такими качествами, которыя не даютъ ему погрязнуть въ суетной свѣтской жизни. Онъ одаренъ тонкой наблюда-

тельностью, которая позволяетъ ему легко улавливать фальшь этой жизни. Его взоръ слѣдитъ за каждымъ движеніемъ старшихъ. Онъ видитъ, что крѣпостной Яковъ, усердный и преданный приказчикъ, фактически распоряжается его отцомъ. Онъ улавливаетъ фальшивый тонъ въ словахъ гостьи-княгини, которая старается непринужденно увѣрить его своенравную бабушку, что князь никакъ не могъ пріѣхать поздравить ее „несмотря на сильнѣйшее желаніе", и т. д. Далѣе, онъ одаренъ чуткой совѣстью. Онъ чувствуетъ неопредѣленные укоры ея всякій разъ, когда „падаетъ", т.-е. всякій разъ, когда подъ вліяніемъ укоренившихся въ немъ свѣтскихъ воззрѣній дѣлаетъ дурной поступокъ. Тайная тоска грызетъ его, послѣ того какъ онъ съ товарищами насмѣялся надъ Илинькой Граномъ. Онъ „не совсѣмъ былъ убѣжденъ, что все это такъ смѣшно и весело". Онъ не понималъ, какъ онъ не подошелъ, не защитилъ, не утѣшилъ оскорбленнаго мальчика. И этотъ эпизодъ оставилъ „единственныя темныя пятна на страницахъ его дѣтскихъ воспоминаній". Эта чуткая совѣсть подсказала ему, что тотъ кругъ интересовъ, въ которомъ онъ живетъ, представляетъ собою узкую эгоистическую сферу. Въ первый разъ онъ ясно сознаъ это, когда Катенька сказала ему, что рано или поздно имъ придется разстаться: „вы богаты—у васъ есть Петровское, а мы бѣдныя—у маменьки ничего нѣтъ". Тысячи „новыхъ неясныхъ мыслей" зароились въ головѣ Николеньки, и ему „стало совѣстно" за свое богатство и за бѣдность своихъ друзей. „Что же такое, что мы богаты, а онѣ бѣдны?—думалъ я,—и какимъ образомъ изъ этого вытекаетъ необходимость разлуки. Отчего же намъ не раздѣлить поровну того, что мы имѣемъ?" И въ то же время „какой-то практическій инстинктъ" уже говорилъ ему, что Катенька права и что было бы неумѣстно объяснять ей свою мысль. Пробудилась совѣсть, но не

пробудилось сознаніе, какъ направить жизнь согласно ея указаніямъ. Николенька одаренъ не только наблюдательностью и чуткою совѣстью. Въ немъ непомѣрно развито самолюбіе и въ его груди бьется доброе сердце. Онъ болѣзненно страдаетъ, когда старшіе мальчики относятся къ нему нѣсколько свысока, какъ къ младшему. Онъ любитъ Карла Ивановича и всѣхъ окружающихъ и плачетъ искренними слезами надъ каждымъ ихъ горемъ. Это самолюбіе порождаетъ другое чувство—застѣнчивость. Его мысль все время работаетъ надъ вопросомъ о томъ, какъ относятся къ нему окружающіе. Онъ запутывается въ этой работѣ. Она сковываетъ его движенія и дѣйствія. Онъ боится сдѣлать поступокъ, который можетъ вызвать критическое отношеніе съ ихъ стороны. Не находя исхода въ жизни, его дѣятельныя духовныя силы находятъ себѣ пищу въ работѣ воображенія. И въ итогѣ въ лицѣ Николеньки въ другой формѣ развивается уже извѣстный намъ типъ „лишняго человѣка“ съ его основными признаками: безсиліемъ передъ практическими вопросами жизни и съ богатой внутренней жизнью, съ интенсивной работой ума, съ разъѣдающимъ мучительнымъ анализомъ.

Николенька — будущій Толстой. Его первые шаги подготовляютъ основы того міровоззрѣнія, которое разовьетъ авторъ „Войны и мира“ въ концѣ своей жизни. Въ свѣтской жизни, въ ея интересахъ, въ ея суетныхъ, пустыхъ стремленіяхъ онъ не нашелъ и не могъ найти удовлетворенія. Онъ не принялъ этой жизни. Онъ всѣми силами старался пойти по проторенному вѣками пути, но онъ оказался выше его благодаря своему уму и чуткой совѣсти. Въ чемъ же могли найти исходъ этотъ умъ и эта совѣсть? Николенька могъ послѣдовать Тургеневу. Онъ могъ дать себѣ „Аннибалову клятву“. Онъ могъ хотя бы и дѣтскимъ умомъ понять, что ложь и безсодержательность

той жизни, въ которой онъ тщетно пытался найти удовлетвореніе, имѣютъ свои причины. Онъ могъ, подобно Тургеневу, почувствовать въ себѣ тотъ общественный пылъ, который подвинулъ многихъ его сверстниковъ на великій подвигъ общественной борьбы. Тѣмъ болѣе, что ему не были чужды мысли, которыя могли навести его на этотъ путь. Уже разговоръ съ Катенькой заставилъ его призадуматься о судьбѣ людей, стоявшихъ внѣ его круга. „Путешествіе", съ котораго онъ считалъ начало своего отрочества, навело его на дальнѣйшія размышленія въ этомъ направленіи. „Мнѣ въ первый разъ пришла въ голову ясная мысль, что не мы одни, т.-е. наше семейство, живемъ на свѣтѣ, что не всѣ интересы вертятся около насъ, а что существуетъ другая жизнь людей, ничего не имѣющихъ общаго съ нами, не заботящихся о насъ и даже не имѣющихъ понятія о нашемъ существованіи". Эта мысль росла и ширилась по мѣрѣ того, какъ мчалась мимо него безконечная колея русской жизни, которую онъ видѣлъ пока только изъ брички, увозившей его въ Москву. „Когда я глядѣлъ на деревни и города, которые мы проѣзжали, въ которыхъ въ каждомъ домѣ жило, по крайней мѣрѣ, такое же семейство, какъ наше, на женщинъ, дѣтей, которыя съ минутнымъ любопытствомъ смотрѣли на экипажъ и навсегда исчезали изъ глазъ, на лавочниковъ, мужиковъ, которые не только не кланялись намъ, какъ я привыкъ видѣть это въ Петровскомъ, но не удостоивали насъ даже взглядомъ,—мнѣ въ первый разъ пришелъ въ голову вопросъ, что же ихъ можетъ занимать, ежели они нисколько не заботятся о насъ? И изъ этого вопроса возникли другіе: какъ и чѣмъ они живутъ? какъ воспитываютъ своихъ дѣтей? учатъ ли ихъ? пускаютъ ли играть? какъ наказываютъ? и т. д.". Вопросъ былъ поставленъ правильно. Именно въ этомъ направленіи работала мысль русской интеллигенціи,

не только возникающей разночинской, но и той дворянской, которая способна была совершить переходъ отъ традицій своего класса къ новымъ задачамъ. Казалось бы, программа дѣятельности, вытекавшая изъ этихъ вопросовъ, была ясна. Изслѣдовать русскую дѣйствительность, изучать практически жизнь народа, выяснять причины, обусловившія отрицательныя стороны этой жизни и отдать свои силы на борьбу съ этими причинами, на служеніе народу, — таково было логическое слѣдствіе, вытекавшее изъ поставленныхъ юнымъ умомъ вопросовъ. И мы знаемъ, что сверстники Николеньки старались разобраться въ этихъ вопросахъ. Но въ той средѣ, въ которой выросъ Николенька, мысль не могла направиться въ сторону такого реалистическаго отношенія къ дѣйствительности. Достаточно вспомнить, какими красками изображена въ повѣсти Толстого исторія Натальи Саввишны, чтобы убѣдиться, что эти люди слишкомъ свыклись со своими привилегіями, что они органически сроднились съ мыслью о томъ, что массы крѣпостныхъ людей должны растворять свою личность въ ихъ интересахъ и даже капризахъ, что у этихъ крѣпостныхъ безкорыстіе, добродѣтель, самоотверженіе, всѣ лучшія качества души могутъ расточаться только въ ограниченной сферѣ рабскаго служенія господамъ. Наталья Саввишна, заслужившая похвалы и награды господъ за свою кротость и преданность въ должности горничной и няни, осмѣлилась полюбить оффиціанта Фоку и дерзнула попросить дѣдушку о разрѣшеніи выйти замужъ. Въ наказаніе „за неблагодарность“ несчастная была сослана на скотный дворъ въ степную деревню. Даже того заглушеннаго протеста, который вызывали подобные возмутительные факты у Тургенева, мы не находимъ у Толстого. Дѣтскій умъ Николеньки не былъ потрясенъ этой исторіей. Напротивъ, съ трогательнымъ сочувствіемъ передаетъ онъ дальнѣйшую исто-

рію Натальи Саввишны,—исторію, которая является какъ бы многолѣтнимъ искупленіемъ грѣха молодости. Черезъ шесть мѣсяцевъ ее возвратили на прежнюю должность, „такъ какъ никто не могъ замѣнить ее“, и жестокій наивный эгоизмъ деспотовъ-баръ не только не поселилъ въ ея душѣ чувства возмущенія; напротивъ, она упала въ ноги дѣдушкѣ, просила возвратить ей милость и ласку и „забыть ту дурь, которая на нее нашла было и которая, она каялась, уже болѣе не возвратится“. И дальше слѣдуетъ цѣлая эпопея подвиговъ любви и самоотверженной преданности, исторія души, отрекшейся отъ счастья и собственной жизни и растворившей себя въ чужихъ интересахъ и желаніяхъ. Она расплакалась, когда ей за ея двадцатилѣтніе труды предложили вольную и ежегодную пенсію. „Должно-быть, я вамъ чѣмъ-нибудь противна, что вы меня со двора гоните“. Рабы теряютъ все, даже желаніе разбить свои цѣпи, — такими словами заключилъ бы, можетъ-быть, врагъ крѣпостного права эту повѣсть о трогательномъ поступкѣ Натальи Саввишны. Но умъ барчонка не могъ понять трагизма, таившагося въ этомъ фактѣ. Вотъ тѣ слова, которыми сопровождаетъ Иртеньевъ свой разсказъ. „Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себѣ: вся ея жизнь была любовь и самопожертвованіе. Я такъ привыкъ къ ея безкорыстной, нѣжной любви къ намъ, что и не воображалъ, чтобы это могло быть иначе, нисколько не былъ ей благодаренъ и никогда не задавалъ себѣ вопросъ: а что, счастлива ли она? довольна ли?“

Мы отмѣтили тѣ черты, изъ которыхъ складывалось міровоззрѣніе Иртеньева — Толстого. Это было, во-первыхъ, безплодное стремленіе погрузиться въ суетную свѣтскую жизнь и полное крушеніе этой попытки, — словомъ, непринятіе жизни высшихъ слоевъ народа, въ которые впослѣдствіи Толстой включилъ

не одно только свѣтское общество и которые объединилъ подъ названіемъ „мы, люди ученые богатые". Во-вторыхъ, это было непониманіе тѣхъ путей, которые вели къ борьбѣ съ этой ложной жизнью „людей ученыхъ богатыхъ", чуждое, если не враждебное отношеніе къ ломкѣ внѣшнихъ отношеній, полное непониманіе роли и значенія крѣпостного права, говоря короче, это было непринятіе общественнаго усилія. Наконецъ, въ-третьихъ, это было пробужденіе ума и совѣсти, стремленіе во что бы то ни стало найти выходъ. На этой послѣдней чертѣ и необходимо остановиться подробнѣе, чтобы понять, что первая повѣсть Толстого обнаруживаетъ будущаго мыслителя не только въ отрицательной, но и въ положительной части его ученія.

Въ чемъ же заключается эта положительная сторона, поскольку она обнаружилась въ первой повѣсти? Это — прежде всего преклоненіе передъ народной вѣрой и народной правдой. Свое нравственное ученіе Толстой подслушалъ у простыхъ людей. Нетрудно уловить тотъ тайный оттѣнокъ ироніи, то скрытое отрицаніе, которыя сквозятъ въ изображеніи высшаго круга. Вся повѣсть, даже въ эту раннюю пору жизни Толстого, ведется въ такомъ тонѣ, точно что-то ненужное, что-то „ненастоящее" скрывается въ жизни высшаго круга и въ хозяйственныхъ распоряженіяхъ отца, и въ церемоніи поздравленія бабушки, и въ забавахъ гостей, и въ охотѣ, и въ строгомъ этикетѣ, царившемъ за столомъ, и въ первыхъ самостоятельныхъ шагахъ, въ первыхъ молодеческихъ выходкахъ мальчиковъ, ставшихъ взрослыми. Но что-то глубокое и „настоящее" таится въ жизни простыхъ людей. Здѣсь Толстой не иронизируетъ, здѣсь серьезное выраженіе пріобрѣтаетъ его лицо. Эти люди и живутъ, и чувствуютъ по-настоящему. Въ ихъ жизни нѣтъ фальши. Особенно ярко эта идея проглядываетъ въ опи-

саніи скорби, которой была встрѣчена въ домѣ смерть матери. Въ проявленіи горя у культурныхъ людей всегда есть примѣсь чего-то искусственнаго, своего рода тщеславіе. „Тщеславіе въ горести выражается желаніемъ казаться или огорченнымъ, или несчастнымъ, или твердымъ; и эти низкія желанія, въ которыхъ мы не признаемся, но которыя почти никогда—даже въ самой сильной печали—не оставляютъ насъ, лишаютъ ее силы, достоинства и искренности". Наталья Саввишна, которая была больше всѣхъ потрясена кончиной своей барыни, набросилась на Фоку, когда онъ потребовалъ восемь фунтовъ пшена, кричала, что не дастъ потачки за барское добро. Умъ ребенка былъ пораженъ этимъ переходомъ отъ трогательнаго чувства къ мелочнымъ расчетамъ. Но впослѣдствіи онъ понялъ, что именно въ этой способности заниматься своимъ обычнымъ дѣломъ заключалось отсутствіе всякой фальши: „горе такъ сильно подѣйствовало на нее, что она не находила нужнымъ скрывать, что можетъ заниматься посторонними предметами". Вообще, Наталья Саввишна оставила неизгладимый слѣдъ въ душѣ Иртеньева — Толстого. Она — прототипъ Платона Каратаева. Въ ней онъ нашелъ черты, изъ которыхъ былъ созданъ впослѣдствіи его идеалъ праведной жизни. Вся ея жизнь была любовь и самопожертвованіе. Вся ея жизнь была трудъ; она всегда была чѣмъ-нибудь занята: или вязала чулокъ, или рылась въ сундукахъ, или считала бѣлье. Вся ея жизнь была служеніемъ долгу; причемъ этотъ долгъ она понимала такъ, какъ будутъ понимать его впослѣдствіи всѣ толстовскіе праведники: безъ анализа, протеста и критики, благоговѣйно склоняясь предъ волей Высшаго Существа, пославшаго ее въ міръ, выполнять свое назначеніе на томъ мѣстѣ, на которомъ она застала себя. Ей поручено хранить барское добро и служить господамъ. И она выполняетъ и то, и дру-

гое безраздумно и просто. Ей въ голову не придетъ спросить себя, почему она должна была принести имъ въ жертву себя, за что любила и благословляла она тѣхъ людей, которые въ сущности жестоко эксплоатировали ее. Смиреніе, отреченіе отъ личнаго счастья и страстей, отказъ отъ самонадѣяннаго вмѣшательства въ предначертанія Божества, отъ гордаго стремленія перестраивать жизнь людей—таковы тѣ элементы, которые лягутъ впослѣдствіи въ основу толстовскаго ученія и которые впервые онъ уловилъ въ русскомъ народѣ. Типы изъ народа, выведенные въ первой повѣсти Толстого, уже говорятъ о направленіи его исканій, о будущей проповѣди опрощенія. Насмѣшливый, когда рѣчь идетъ о господахъ, онъ съ чувствомъ почтительной робости склоняется предъ вѣрой народной; затаивъ дыханіе, почти съ мистическимъ страхомъ слѣдитъ онъ за молитвой юродиваго Гриши, и на всю жизнь останется въ его памяти эта молитва. „Много воды утекло съ тѣхъ поръ, много воспоминаній о быломъ потеряли для меня значеніе и стали смутными мечтами, даже и странникъ Гриша давно окончилъ свое послѣднее странствованіе, но впечатлѣніе, которое онъ произвелъ на меня, и чувство, которое возбудилъ, никогда не умрутъ въ моей памяти. О, великій христіанинъ Гриша! Твоя вѣра была такъ сильна, что ты чувствовалъ близость Бога; твоя любовь такъ велика, что слова сами собой лились изъ устъ твоихъ, — ты ихъ не повѣрялъ разсудкомъ“...

Какой же выводъ сложился въ душѣ Иртеньева изъ разнородныхъ дѣтскихъ впечатлѣній? Онъ нашелъ въ юности своего друга въ лицѣ Дмитрія Нехлюдова, какъ нашелъ Герценъ Огарева. Они тоже почти мальчиками дали другъ другу клятву, какъ дали ее на Воробьевыхъ горахъ Герценъ и Огаревъ, какъ далъ себѣ Аннибалову клятву Тургеневъ, какъ давали ее тысячи другихъ восторженныхъ юношей дворянскаго

круга, искавшіе и не умѣвшіе найти исхода своему, благородному пылу, своей жаждѣ подвига и жертвы своему стремленію послужить народу. „Дадимъ себѣ слово признаваться во всемъ другъ другу,—говоритъ Нехлюдовъ Иртеньеву.—Мы будемъ знать другъ друга, и намъ не будетъ совѣстно". Взаимная нравственная поддержка — вотъ въ чемъ клялись другъ другу два-мальчика у Толстого. „Дружба съ Дмитріемъ открыла мнѣ новый взглядъ на жизнь, ея цѣль и отношенія. Сущность этого взгляда состояла въ убѣжденіи, что назначеніе человѣка есть стремленіе къ нравственному усовершенствованію и что усовершенствованіе это легко, возможно и вѣчно". Таковъ былъ выводъ, который одинъ оставался яснымъ и непреложнымъ среди смуты, царившей въ умѣ Иртеньева. Онъ, выше всего цѣнившій людей comme il faut, чувствовавшій отвращеніе къ тѣмъ, кто не были достойны этого имени, — онъ въ глубинѣ души своей уже возставалъ противъ ложной жизни, — и первая повѣсть Толстого есть въ сущности изображеніе перваго шага на томъ пути, который рано или поздно долженъ привести человѣка къ освобожденію отъ сѣтей лжи, опутавшихъ его душу. Это первый протестъ противъ міросозерцанія comme il faut, первая попытка поставить его передъ судомъ народной правды.

„Утро помѣщика" — второй этапъ на этомъ пути. Если психологія Иртеньева, по справедливому замѣчанію проф. Овсянико-Куликовскаго, была не психологіей обобщеннаго, общечеловѣческаго ребенка, а психологіей русской великосвѣтской, помѣщичьей среды, прослѣженной въ трехъ возрастахъ, то въ исторіи кн. Нехлюдова мы находимъ продолженіе личной душевной драмы Толстого въ молодости. Не случайно этотъ „отрывокъ" появился между „Дневникомъ лишняго человѣка" и „Рудинымъ". Герой „отрывка" князь Нехлюдовъ—тотъ же лишній человѣкъ,

тотъ же мученикъ совѣсти, попавшій со своимъ стремленіемъ дѣлать дѣло въ безнадежно-унылую полосу русской жизни, въ эпоху безвременья, въ мрачные 50-е годы. Общее настроеніе „отрывка"—то же, что и въ трилогіи. Предъ нами душевный міръ великосвѣтскаго барина съ мыслящимъ умомъ и чуткой совѣстью. Предъ нами не столько правдивая эпопея деревенскаго хозяйства, могущая вскрыть дѣйствіе основного недуга тогдашней дѣйствительности—крѣпостного права, сколько картина чувствъ и настроеній, царившихъ въ душѣ баръ въ эпоху потрясенія старыхъ формъ хозяйственной жизни. Внутренняя работа, совершавшаяся въ душѣ Николеньки, — главный сюжетъ трилогіи. Всѣ дѣйствующія лица, всѣ событія не имѣютъ самостоятельнаго значенія. Они — фонъ, на которомъ авторъ ярко оттѣняетъ единственно интересующій его вопросъ, процессъ нравственнаго развитія своей души. „Утро помѣщика" преслѣдуетъ тѣ же задачи. Было бы глубокой ошибкой думать, что Толстой имѣлъ въ виду хотя бы даже тѣ цѣли, которыя преслѣдовалъ Тургеневъ своими „Записками охотника", т.-е. изображеніе тяжелаго положенія крѣпостного крестьянства. Могъ ли Нехлюдовъ улучшить положеніе своихъ крестьянъ тѣми средствами, которыми онъ пользовался, или нужны были другія средства,—эта соціальная сторона изображеннаго въ „отрывкѣ" историческаго момента мало занимаетъ Толстого. Центральная фигура — баринъ, а не крестьяне. Не *ихъ*, а *его* муки занимаютъ автора. Не подъемъ ихъ экономическаго, нравственнаго и умственнаго состоянія интересуетъ его, а душевная драма пробудившагося барства. И новый актъ этой драмы является новымъ торжествомъ излюбленныхъ идей Толстого.

Князю Нехлюдову было 19 лѣтъ, когда онъ, прервавъ свой университетскій курсъ, рѣшилъ посвятить

свою жизнь счастью своихъ крестьянъ, пріѣхалъ въ свою деревню и занялся дѣлами своего разстроеннаго имѣнія. Онъ убѣдился, что „главное зло заключается въ самомъ жалкомъ бѣдственномъ положеніи мужиковъ, и зло такое, которое можно только исправить трудомъ и терпѣніемъ“. Онъ чувствовалъ въ себѣ способность „быть хорошимъ хозяиномъ“. Онъ писалъ своей тетушкѣ: „Зачѣмъ искать въ другой сферѣ случаевъ быть полезнымъ и дѣлать добро, когда мнѣ открывается такая благородная, ближайшая и блестящая обязанность“. Онъ постигъ, что единственное счастье, не зависящее отъ случая, счастье, принадлежащее человѣку вполнѣ, это — любовь и самоотверженіе. Не прошло и года, и отъ его благородной мечты не осталось ничего. „Я недоволенъ, потому что я здѣсь не знаю счастья,—думалъ онъ черезъ годъ,— а желаю, страстно желаю счастья. Я, не испытавъ наслажденій, уже отрѣзалъ отъ себя все, что даетъ ихъ. Зачѣмъ? За что? Кому отъ этого стало легче? Правду писала тетка, что легче самому найти счастье, чѣмъ дать его другимъ. Развѣ богаче стали мои мужики? образовались или развились нравственно? Нисколько. Имъ стало не легче, а мнѣ съ каждымъ днемъ становится тяжелѣе“.

Въ чемъ же заключалась причина неудачъ Нехлюдова? Напомнимъ главные эпизоды „отрывка“. Когда крестьянинъ Чурисъ попросилъ у него „сошекъ“, чтобы подпереть сараи, Нехлюдовъ, убѣдившись, что заплаты не помогутъ, что изба и сараи почти развалились и грозятъ гибелью семьѣ Чуриса, предлагаетъ мужику переселиться въ одну изъ новыхъ каменныхъ избъ, построенныхъ на новомъ хуторѣ. Нехлюдовъ не могъ подавить при этомъ самодовольной улыбки при мысли о благодѣяніи, которое онъ оказываетъ мужику. Чурисъ отвѣтилъ на предложеніе барина плохо скрытой насмѣшкой и рѣши-

тельнымъ отказомъ. Что заставило Чуриса отвергнуть благодѣяніе барина? Новыя избы, которыми такъ гордился Нехлюдовъ, нисколько не привлекали крестьянъ. „Мудреныя избы! — говорилъ Чурисъ. — Ребята смѣялись, что не магазеи ли будутъ, отъ крысъ хлѣбъ засыпать. Избы важныя!“ Чурисъ слишкомъ свыкся со своимъ полуразрушеннымъ обиталищемъ, чтобы предпочесть ему тѣ удобства, которыя такъ цѣнилъ барскій вкусъ Нехлюдова. Правда, недавно накатина съ потолка разбила его бабу, и не сегодня — завтра обвалившаяся изба раздавитъ его самого. Но эта опасность, эти радости и печали—его родныя радости и печали. Онъ не хочетъ избавиться отъ нихъ цѣною коренной ломки всѣхъ своихъ привычекъ и всего, что вѣками укрѣплялось въ душѣ крестьянина. Чтобы понять и полюбить преимущества новыхъ избъ, выстроенныхъ Нехлюдовымъ, нужно было обладать барской, а не крестьянской психикой. Нехлюдовъ не спрашивалъ крестьянъ, когда строилъ новыя избы. Онъ не понималъ, что тѣ удобства, которыя цѣнилъ онъ, что тѣ блага, которыя безспорны въ глазахъ культурнаго общества, не являются удобствами и благами въ глазахъ милліоновъ людей, вскормленныхъ другими условіями, выросшихъ въ другихъ понятіяхъ. Онъ явился въ деревню не помогать людямъ жить, а самонадѣяннымъ повелителемъ, который задумалъ перевернуть вверхъ дномъ вѣковые устои сложившагося порядка жизни. За его кротостью, за его самоотверженной любовью скрывается самодовольство капризнаго деспота. Правда, онъ не сѣчетъ своихъ крестьянъ за то, что они не желаютъ быть счастливыми по его указкѣ. Правда, онъ не переселитъ Чуриса насильно въ новую избу, хотя могъ бы это сдѣлать. Но онъ едва сдерживаетъ въ себѣ чувство возмущенія и злобы, когда эти люди проявляютъ полное равнодушіе къ привезенному изъ столицы счастью, и въ концѣ-

концовъ между Нехлюдовымъ и тѣми господами, которые учили крестьянъ розгами усвоивать „человѣческія“ понятія, разница не такъ ужъ велика. Само собою разумѣется, что понятія Нехлюдова имѣютъ больше права на имя общечеловѣческихъ, чѣмъ понятія Чуриса. Но что могъ бы возразить Нехлюдовъ на эту реплику своего мужика: „Здѣсь на міру мѣсто, мѣсто веселое, обычное: и дорога, и прудъ тебѣ, бѣлье, что ли, бабѣ стирать, скотину ли поить, и *все наше заведеніе мужицкое, тутъ искони заведенное*, и гумно, и огородишко, и ветлы—вотъ что мои родители садили, и батюшки наши здѣсь Богу душу отдали, и мнѣ только бы вѣкъ тутъ свой кончить, ваше сіятельство, больше ничего не прошу. Буде милость твоя избу поправитъ, много довольны вашей милостью останемся; а нѣтъ, такъ и въ старенькой свой вѣкъ какъ-нибудь доживемъ. Заставь вѣкъ Бога молить, не сгоняй ты насъ съ гнѣзда насиженнаго“. И повсюду, куда ни появлялся Нехлюдовъ со своими непрошенными благодѣяніями, онъ наталкивался на стѣну идей, вкусовъ и понятій, чуждыхъ и непонятныхъ его барскому уму. Вѣковая гора, выросшая между народомъ и культурными классами общества, оставалась непроходимой, и тщетно гуманный и образованный баринъ однимъ ударомъ надѣялся срыть то, что нарастало въ теченіе столѣтій. Нужды и страданія народа въ его умѣ принимали не тѣ формы, въ которыя облекалъ ихъ умъ самого народа. Вѣковое недовѣріе эксплоатируемыхъ массъ къ ихъ эксплоататорамъ давало себя чувствовать на каждомъ шагу. Иронія и скрытность, — вотъ чѣмъ отвѣчали мужики Нехлюдову, который шелъ къ нимъ съ открытымъ сердцемъ. Повсюду онъ встрѣчалъ это чуждое, непонятное, которое принимало видъ чего-то страшнаго, неодолимаго. Что долженъ былъ почувствовать Нехлюдовъ у другого мужика, лѣнтяя Давыдки Бѣлаго, къ которому онъ явился съ пропо-

вѣдью труда, въ тотъ моментъ, когда мать его грохнулась въ ноги барину и обратилась къ нему со своей просьбой, дико прозвучавшей въ ушахъ Нехлюдова. Она умоляла его, чтобы онъ заставилъ силой дѣвку Васютку выйти замужъ за ея сына. Какимъ ужаснымъ должно было показаться это средство гуманному сердцу культурнаго барина! А между тѣмъ въ глазахъ крестьянки оно было единственнымъ простымъ и естественнымъ средствомъ спасенія гибнущей семьи. Но особенно ярко полная несостоятельность Нехлюдова обнаруживается въ его предложеніи богатому мужику Дутлову. Дутловъ занимался извозомъ и принадлежалъ къ числу богатыхъ мужиковъ. Нехлюдову показалось, что онъ можетъ лучше устроить жизнь Дутлова и его семьи. Онъ хотѣлъ дать движеніе капиталу богатаго мужика, лежавшему безъ движенія. Нехлюдовъ предложилъ ему купить пополамъ рощу въ казенномъ лѣсу и основать крупное хозяйственное предпріятіе. Но едва онъ заикнулся объ этомъ, Дутловъ пришелъ въ сильное волненіе и сталъ клятвенно увѣрять барина, что у него нѣтъ денегъ. Вѣковое недовѣріе къ господамъ заговорило въ его душѣ, ужасъ при одной мысли, что чуждая ему барская рука вмѣшивается въ его жизнь и захочетъ перекраивать ее по-своему, — все это превратило богатаго мужика сразу въ непроницаемую тайну, — и Нехлюдовъ ушелъ отъ него съ тѣмъ же чувствомъ тайнаго стыда и недовольства.

И не разрѣшилъ своей задачи Нехлюдовъ. Почему? Его приказчикъ далъ бы ясный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Онъ смѣялся въ душѣ надъ ненужными затѣями и относился съ снисходительной насмѣшкой къ чудаку-барину. Онъ увидалъ бы причину его неудачи въ томъ, что баринъ не умѣлъ выдавать насильно замужъ крестьянскихъ дочерей, не прибѣгалъ при случаѣ къ розгамъ и т. д., — словомъ, не пользовался

всѣмъ тѣмъ, что вытекаетъ какъ неизбѣжное логическое слѣдствіе, изъ самаго факта существованія рабства. Враги крѣпостного права нашли бы иной, но тоже ясный отвѣтъ. Они сказали бы, что Нехлюдовъ взялся за дѣло не съ той стороны,—ему нужно было отпустить на волю своихъ крестьянъ, посвятить свои силы борьбѣ со страшнымъ врагомъ, стоявшимъ на пути къ прогрессу и развитію Россіи. Они сказали бы, что подачками нельзя искупить вѣкового грѣха дворянства передъ народомъ, что нельзя, съ одной стороны, проповѣдывать уваженіе къ труду и человѣческому достоинству, а съ другой — поддерживать строй, основанный на тунеядствѣ и попраніи человѣческаго достоинства, что невозможно, съ одной стороны, вносить въ жизнь извѣстной среды культурныя понятія, прививать ей культурныя потребности и формы существованія, а съ другой—держать ее въ состояніи, враждебномъ всякой культурѣ. Хотѣлъ ли Толстой дать одинъ изъ этихъ двухъ отвѣтовъ, которые предложила бы крѣпостническая и передовая Россія, между которыми не было ничего общаго, кромѣ того, что та и другая одинаково понимали значеніе борьбы, та и другая дѣлали центромъ вниманія жизнь и учрежденія. Толстой сталъ внѣ этихъ борющихся силъ. Онъ хотѣлъ сказать своей повѣстью совсѣмъ другое. Идея его повѣсти выясняется въ тѣхъ грезахъ, которыя овладѣваютъ Нехлюдовымъ послѣ горькихъ разочарованій. Въ этихъ грезахъ свѣтлой и красивой рисуется ему та самая жизнь, которую онъ хотѣлъ измѣнить. Ему чудятся добрые голубые глаза Чуриса, съ нѣжностью глядящіе на сынишку, въ которомъ онъ, кромѣ сына, видитъ спасителя и помощника. „Вотъ это любовь“,—шепчетъ Нехлюдовъ. Вспоминается ему мать Юхванки съ выраженіемъ терпѣнія и всепрощенія въ старческомъ лицѣ. Чудится ему сынъ Дутлова Илья, котораго онъ хотѣлъ удалить отъ его лошадей, прикрѣпивъ

къ задуманному имъ хозяйственному предпріятію. Ясно представилъ онъ себѣ тройку потныхъ лошадей и красивую сильную фигуру Илюшки съ свѣтлыми кудрями, весело блестящими узкими голубыми глазами, свѣжимъ румянцемъ и свѣтлымъ пухомъ, только-что начинающимъ покрывать его губу и подбородокъ. Просторомъ и волей дышитъ жизнь ямщика. Тройки, несущіяся мимо съ грохотомъ колесъ, звономъ колокольчиковъ и крикомъ, постоялые дворы съ бѣлолицыми широкогрудыми хозяйками, поэзія ночлеговъ подъ открытымъ небомъ, — вотъ что хотѣлъ отнять онъ у Илюшки во имя чуждыхъ ему предпріятій, рожденныхъ въ культурномъ умѣ барина. „Славно!"—шепчетъ себѣ Нехлюдовъ, и мысль: зачѣмъ онъ не Илюшка, тоже приходитъ ему. „Зачѣмъ онъ не Илюшка?" Въ этихъ словахъ итогъ, къ которому пришелъ гуманный и просвѣщенный представитель поколебленнаго барства. Не учить народъ, не передѣлывать его жизнь на свой культурный ладъ, а учиться у него, смириться передъ его великой правдой—вотъ что рекомендуетъ Толстой людямъ своего круга. „Отрѣшитесь отъ самонадѣянной и гордой вѣры въ свое право устраивать счастье чужихъ людей, не берите на себя дѣла Бога, учитесь у простыхъ, близкихъ къ природѣ людей ихъ довольству и смиренію предъ Высшей волей",—слышимъ мы изъ каждой строки повѣсти, въ которой чувствуется будущій проповѣдникъ смиренія и опрощенія.

И та же идея, то же противопоставленіе фальши, проникающей жизнь культурнаго общества, и великой правды, сокрытой въ безыскусственномъ, близкомъ къ природѣ существованіи простыхъ людей, составляетъ нервъ одной изъ лучшихъ повѣстей Толстого „Казаки". Эта повѣсть—продолженіе автобіографіи Толстого. Ея герой, Оленинъ, — слѣдующая стадія въ исторіи его развитія. Оленинъ и казаки — два міра, столь же чуждые другъ другу, какъ Нехлюдовъ и его крестья-

не. Кавказъ, его природа, являющаяся какъ бы могучей преградой, за которую не можетъ проникнуть искусственная жизнь культурнаго общества, его обитатели съ ихъ ясными, простыми воззрѣніями на жизнь произвели умиротворяющее дѣйствіе на душу Толстого, бѣжавшаго сюда отъ бурь и потрясеній столичной жизни. И этотъ моментъ своей внутренней исторіи онъ воплотилъ въ лицѣ Оленина. Герой повѣсти — типичный свѣтскій человѣкъ, замиравшій въ присутствіи всякой молодой и красивой женщины, чувствовавшій невольное удовольствіе, когда ему оказывалъ на балѣ вниманіе такой знатный человѣкъ, какъ князь Сергѣй, отдававшійся и свѣтской жизни, и карьерѣ, и любви, и хозяйству. И, тѣмъ не менѣе, онъ не былъ удовлетворенъ. Онъ давно зналъ, что любви нѣтъ, что почести и званіе—вздоръ. Онъ переживалъ тотъ же порывъ къ высшей жизни, что и Иртеньевъ, и Нехлюдовъ. „Онъ раздумывалъ надъ тѣмъ, куда положить всю эту силу молодости, только разъ въ жизни бывающую въ человѣкѣ,—на искусство ли, на науку ли, на любовь ли къ женщинѣ, или на практическую дѣятельность,—не силу ума, сердца, образованія, а тотъ неповторяющійся порывъ, ту на одинъ разъ данную человѣку власть сдѣлать изъ себя все, что онъ хочетъ, и какъ ему кажется, и изъ всего міра все, что ему хочется“. Убѣгая отъ суетности и пустоты свѣтской жизни, отъ ресторанного чада, картъ и женщинъ, Оленинъ зачисляется юнкеромъ въ одинъ изъ кавказскихъ полковъ. На Кавказѣ онъ находитъ ту жизнь, которая предстала ему живымъ укоромъ его прежней ложной жизни. „Никакихъ здѣсь нѣтъ бурокъ, стремнинъ, Амалатъ-бековъ, героевъ и злодѣевъ,—думалъ онъ,—люди живутъ, какъ живетъ природа: умираютъ, родятся, дерутся, пьютъ, ѣдятъ, радуются и опять умираютъ,

и никакихъ условій, исключая тѣхъ неизмѣнныхъ, которыя положила природа солнцу, травѣ, звѣрю, дереву. Другихъ законовъ у нихъ нѣтъ". Здѣсь онъ познакомился съ дядей Ерошкой, съ сильнымъ казакомъ огромнаго роста съ сѣдою, какъ лунь, бородою. Ерошка былъ полонъ здоровымъ чувствомъ жизни. Онъ вѣрилъ, что „Богъ все сдѣлалъ на радость человѣку", что „ни въ чемъ грѣха нѣтъ". Ему нѣтъ дѣла до національной вражды и злобы. Онъ равнодушенъ къ тому, что одни называютъ другихъ гяурами, что татары ненавидятъ армянъ, армяне—татаръ. Всякій свой законъ держитъ. Онъ любитъ всякаго — „только бы пьяница былъ". Здѣсь, въ тѣнистыхъ зеленыхъ садахъ среди моря виноградника, со всѣхъ сторонъ слышались смѣхъ, пѣсни, веселье, женскіе голоса и мелькали яркія цвѣтныя одежды женщинъ. Здѣсь онъ встрѣтилъ и полюбилъ Марьяну, гордую красавицу-казачку, истинное дитя природы. Ея красота, ея женственная прелесть и сила заключались въ могучемъ инстинктѣ жизни, въ здоровьѣ и силѣ, въ ея близости къ природѣ. „Тяжелая непрестанная работа занимала всю жизнь молодой дѣвки". Раннимъ утромъ на зарѣ она вскакивала, обмывала лицо холодной водой, укутывалась платкомъ и босикомъ бѣжала къ скотинѣ.

Этотъ міръ, въ который окунулся Оленинъ, болѣзненное дитя свѣтской культуры, произвелъ на него освѣжающее дѣйствіе. Онъ пережилъ все то, что знакомо намъ уже изъ душевной драмы Нехлюдова. Прежде всего, онъ возненавидѣлъ свѣтское общество, ложь и фальшь его жизни. Онъ испыталъ тяжелое, непріятное чувство, когда на Кавказъ пріѣхалъ его столичный знакомый князь Бѣлецкій и привезъ съ собою цинничные разговоры о женщинахъ, французскія фразы, мечты о чинахъ, и на Оленина „пахнуло снова всей той га-

достью, отъ которой онъ отрекся". Онъ написалъ уже извѣстное намъ письмо, звучавшее восторженнымъ гимномъ въ честь безыскусственной жизни и протестомъ противъ культурной лжи въ стилѣ „Новой Элоизы": „Какъ вы мнѣ гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастіе, и что такое жизнь", и т. д.

Другое чувство, овладѣвшее Оленинымъ и тоже знакомое намъ уже по трилогіи и „отрывку", заключалось въ сознаніи, что истинное счастье состоитъ въ любви и жертвѣ. Онъ понялъ, что счастье состоитъ въ томъ, чтобы жить для другихъ. „Въ человѣка вложена потребность счастья; стало-быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т.-е. отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе". Наконецъ, еще одно чувство, которое наполнило душу Оленина, это—страстное стремленіе стать такимъ, какими были эти простые люди, и сознаніе безплодности этихъ стремленій. Онъ полюбилъ Марьяну, но зналъ, что жениться на ней и перенести ее въ ту среду, гдѣ царила ложь, было немыслимо. Не ей нужно было дойти до него и его круга, а ему слѣдовало подняться до ея правды. Онъ съ отчаяніемъ спрашивалъ себя, какъ поступить. Сдѣлать ее своей любовницей было бы убійствомъ, сдѣлать барыней, „женой Дмитрія Андреевича" было бы еще хуже. И мучительный крикъ вырывается изъ его груди. „Ахъ, зачѣмъ я не Илюшка?"—думалъ Нехлюдовъ. „Вотъ ежели бы я могъ сдѣлаться казакомъ, Лукашкой,—думаетъ Оленинъ,—красть табуны, напиваться чихирю, заливаться пѣснями, уби-

вать людей и пьянымъ влѣзать къ ней въ окно на ночку, безъ мысли о томъ, кто я и зачѣмъ я,—тогда бы другое дѣло, тогда бы мы могли понять другъ друга, тогда бы я могъ быть счастливъ". И онъ пробовалъ отдаваться этой жизни, но чувствовалъ „свою слабость, свою изломанность". Онъ не могъ забыть своего „сложнаго, уродливаго, негармоническаго прошедшаго".

Таковъ былъ Толстой въ 50-е годы, въ печальную полосу русской исторіи, въ эпоху, когда не одинъ онъ метался въ безсильныхъ поискахъ счастья и истиннаго дѣла, когда не одинъ мыслящій дворянинъ искалъ исхода своимъ благороднымъ порывамъ, своей жаждѣ добра и жертвы. Уже въ первыхъ повѣстяхъ обозначился тотъ путь, по которому направлялась эта геніальная натура. Въ теченіе слѣдующаго десятилѣтія, въ эпоху 60-хъ годовъ онъ создаетъ великую эпопею, окрашивающую широкій потокъ жизни тѣмъ же основнымъ настроеніемъ.

VII.

«Война и миръ» какъ глубочайшее выраженіе нравственныхъ воззрѣній Толстого.—Наполеонъ.—Кутузовъ.—Платонъ Каратаевъ.—Исторія душевнаго развитія князя Андрея Болконскаго и Пьера Безухова.—Изображеніе высшаго дворянства въ „Аннѣ Карениной".—Его упадокъ.—Каренинъ.—Облонскій.—Графъ Вронскій.—Левинъ какъ выразитель идеаловъ Толстого.—Идеалъ женщины у Толстого.—Заключеніе.

„Война и миръ" — величайшее изъ произведеній Толстого. Это не только грандіозная картина русской жизни въ одну изъ знаменательнѣйшихъ эпохъ нашей

исторіи, не только богатая галлерея національныхъ типовъ и неизсякаемый источникъ для пониманія внутренняго міра человѣка. Это—наиболѣе глубокое выраженіе философскихъ и нравственныхъ идеаловъ Толстого. Столкновеніе двухъ народовъ или, вѣрнѣе, Наполеона и Россіи послужило для нашего писателя фономъ, на которомъ онъ изобразилъ конфликтъ двухъ нравственныхъ началъ, борьбу гордой личности, дерзающей вершить судьбу человѣчества, и покорнаго смиренія передъ цѣлями высшей силы. Побѣда Россіи надъ Наполеономъ въ величественной эпопеѣ Толстого является не только реальной побѣдой одного народа надъ другимъ. Это—торжество той нравственной идеи, носителемъ которой Толстой считаетъ русскій народъ. Эта идея сказывается и въ солдатскихъ сценахъ, въ серьезномъ и смиренномъ отношеніи къ долгу простыхъ людей, и въ распоряженіяхъ Кутузова, и въ глубокой нравственной работѣ, которая совершается въ душѣ Пьера и въ душѣ Андрея, и въ преклоненіи передъ простой правдой Платона Каратаева. Всѣ части картины расположены такъ, что образуютъ гармоническое цѣлое, и временами кажется, что всѣ герои и движущіяся другъ противъ друга массы—только проявленія высшей силы, раскрывающейся въ въ нихъ, и романъ Толстого представляется не реальнымъ твореніемъ, а символической картиной, полной таинственнаго смысла. „Глубокое и вѣрное духу народа чутье,--говоритъ Мережковскій,--указало Толстому на изображеніе борьбы Россіи съ Наполеономъ, какъ на самую высшую задачу для современнаго художника. Трудность ея соотвѣтствовала величію главнымъ образомъ потому, что трудность эта была *двойная*—требовала взаимодѣйствія двухъ равныхъ и противоположныхъ силъ, изъ которыхъ каждая въ отдѣльности встрѣчается рѣдко,—двухъ направленій философскаго

и художественнаго созерцанія: предстояло изобразить не только океанъ стихіи народной во всей *широтѣ* его, до послѣднихъ горизонтовъ, но и самую уединенную, обособленную вершину, остріе человѣческой личности, сознаніе и волю героя, во всей *высотѣ* ихъ, до послѣдней высшей точки, до обожествленнаго *я*, ибо въ изображаемой трагедіи было два главныхъ дѣйствующихъ лица, два борющихся противника—Россія и Наполеонъ. И только изъ совершеннаго созерцанія этихъ обоихъ дѣйствующихъ лицъ могло проистекать совершенное созерцаніе самого практическаго дѣйствія; только по силѣ удара можно было судить о силѣ сопротивленія, по размаху молота, уже занесеннаго, чтобы „раздавить Россію",—о твердости камня, о который страшный молотъ разбился вдребезги, по величію Наполеона—о величіи Россіи. Одного нельзя было понять, одного нельзя было изобразить безъ другого".

Величіе Наполеона и его пораженіе представляютъ собою картину, полную не только драматическаго интереса, но и глубокаго нравственнаго смысла. Мастерскими штрихами обрисовалъ Толстой фигуру самовадѣяннаго властителя Франціи, упоеннаго успѣхомъ, ослѣпленнаго славой и приписывающаго своей личности движеніе историческихъ событій. Даже въ незамѣтныхъ сценахъ, въ малѣйшихъ жестахъ чувствуется безумная гордость ничтожества, самомнѣніе человѣка, привыкшаго вѣрить, что каждое движеніе его руки разсыпаетъ счастье или сѣетъ горе среди тысячъ людей. Небрежной рукой прикрѣпляетъ онъ орденъ Почетнаго Легіона къ груди храбрѣйшаго изъ русскихъ солдатъ послѣ Тильзита. „Какъ-будто бы Наполеонъ зналъ, что для того, чтобы навсегда этотъ солдатъ былъ счастливъ, награжденъ и отличенъ отъ всѣхъ въ мірѣ, нужно было только, чтобы его, Напо-

леонова рука удостоила дотронуться до груди солдата. Наполеонъ только приложилъ крестъ къ груди Лазарева и, пустивъ руку, обратился къ Александру, какъ-будто онъ зналъ, что крестъ долженъ прилипнуть къ груди Лазарева". И крестъ дѣйствительно прилипъ, потому что русскія и французскія услужливыя руки, мгновенно подхвативъ крестъ, прицѣпили его къ мундиру. Раболѣпіе окружающихъ вознесло „маленькаго человѣка" на такую высь, что онъ дѣйствительно вѣрилъ въ свою способность измѣнять ходъ исторіи и вліять на судьбы народовъ. Онъ привыкъ, что „присутствіе его на всѣхъ концахъ міра, отъ Африки до степей Московіи одинаково поражаетъ и повергаетъ людей въ безуміе самозабвенія". Это бездушное величіе, не сознающее своего ничтожества, особенно ярко проявляется во время свиданія Наполеона съ Балашовымъ передъ началомъ войны двѣнадцатаго года. Онъ встрѣтилъ обычнымъ привѣтствіемъ посла императора Александра, но онъ говорилъ съ нимъ какъ „человѣкъ, дорожащій всякой минутой своего времени и не снисходящій до того, чтобы приготавливать свои рѣчи, а увѣренный въ томъ, что онъ всегда скажетъ хорошо и что нужно сказать". Во время разговора онъ смотрѣлъ мимо Балашова. Было очевидно, что личность этого послѣдняго нисколько не интересовала Наполеона. „Видно было, что только то, что происходило въ *его* душѣ, имѣло интересъ для него. Все, что было внѣ его, не имѣло для него значенія, потому что все въ мірѣ, какъ ему казалось, зависѣло только отъ его воли". Наполеонъ былъ до того влюбленъ въ себя, что въ разговорѣ съ Балашовымъ держалъ себя такъ, словно предъ нимъ стоялъ человѣкъ, который сочувствовалъ ему во всемъ, радовался его торжеству и оскорбленіямъ, расточаемымъ имъ по адресу императора Александра. Въ минуту гнѣва онъ вышелъ

изъ себя, говорилъ вещи, за которыя, по мнѣнію Балашова, онъ долженъ былъ устыдиться впослѣдствіи. Но при новой встрѣчѣ съ посломъ Наполеонъ не только не чувствовалъ никакой неловкости, а, напротивъ, старался ободрить Балашова. Видно было, что онъ давно уже не вѣрилъ въ возможность ошибокъ съ своей стороны: „въ его понятіи все, что онъ дѣлалъ, было хорошо не потому, что оно сходилось съ представленіемъ того, что хорошо и дурно, но потому, что *онъ* дѣлалъ это". На почтительныя попытки возразить Наполеонъ обращался къ Балашову съ такимъ видомъ, словно хотѣлъ сказать: „Знаю, такъ говорить ваша обязанность, но вы сами въ это не вѣрите, вы убѣждены мною". Слово „я" — любимое слово Наполеона. Указывая Балашову на тѣ выгоды, которыя Россія могла извлечь изъ дружбы съ нимъ, онъ не замѣчаетъ даже, какое оскорбленіе наноситъ императору Александру фразами въ родѣ слѣдующихъ: „Я далъ бы вашему государю эти провинціи (Молдавію и Валахію) такъ же, какъ я далъ ему Финляндію" или: „Всѣмъ этимъ онъ былъ бы обязанъ моей дружбѣ. О, какое прекрасное было бы царствованіе". И на полѣ битвы и въ тѣ моменты, когда онъ обдумываетъ диспозицію будущаго сраженія Наполеонъ чувствуетъ себя творцомъ событій, центромъ міра, предметомъ общаго вниманія.

Этому гордому самомнѣнію, этой ослѣпленной личности, скользящей надъ бездной, противопоставлена другая сила въ лицѣ вождя русской арміи. Кутузовъ—антиподъ Наполеона. Онъ—національный герой не только въ историческомъ значеніи этого слова, но и въ высшемъ символическомъ смыслѣ. Онъ—не только побѣдитель Наполеона на полѣ битвы. Онъ—побѣдитель его на томъ высшемъ полѣ, гдѣ происходитъ борьба вѣчныхъ нравственныхъ началъ. Онъ — носитель той

идеи, которую Толстой считалъ выраженіемъ народной правды. Въ противоположность Наполеону „въ этомъ старикѣ“ не было ничего личнаго. „У него не будетъ ничего своего,—думалъ про него князь Андрей. —Онъ ничего не придумаетъ, ничего не предприметъ, но онъ все выслушаетъ, все запомнитъ, все поставитъ на свое мѣсто, ничему полезному не помѣшаетъ и ничего вреднаго не позволитъ. Онъ понимаетъ, что есть что-то сильнѣе и значительнѣе его воли, — это неизбѣжный ходъ событій; и онъ умѣетъ видѣть, умѣетъ понимать ихъ значеніе, я, въ виду этого значенія умѣетъ отрекаться отъ участія въ этихъ событіяхъ, отъ своей личной воли, направленной на другое. А главное, почему вѣришь ему,—это то, что онъ русскій“... Въ этой характеристикѣ національнаго героя Толстой снова выступаетъ апологетомъ нравственнаго принципа, господствовавшаго въ его повѣстяхъ. Личное должно отступить на задній планъ передъ тѣмъ, что „сильнѣе и значительнѣе“ его воли. Побѣда Кутузова это—побѣда Христа надъ антихристомъ, отреченія и смиренія надъ гордой мятежной личностью. Долголѣтнимъ военнымъ опытомъ Кутузовъ зналъ и старческимъ умомъ понималъ, что руководить сотнями тысячъ человѣкъ, борющихся со смертью, нельзя одному человѣку, и зналъ, что рѣшаютъ участь сраженія не распоряженія главнокомандующаго, не мѣсто, на которомъ стоятъ войска, не количество пушекъ и убитыхъ людей, а неуловимая сила, называемая духомъ войска, и онъ слѣдилъ за этой силой и руководилъ ею, насколько это было въ его власти. И этимъ чувствомъ смиренія передъ высшей силой, этимъ „отсутствіемъ личнаго“ велики всѣ дѣйствующія лица разыгрывающейся трагедіи, отъ главнокомандующаго до послѣдняго солдата. Только нѣкоторые офицеры, адъютанты и приближенные Кутузова своими часто-

любивыми планами, своими мечтами о карьерѣ, составляютъ исключеніе. Настоящіе побѣдители, это—герои въ родѣ Тушина, просто исполняющаго свой долгъ, растворяющаго свою личность въ общемъ дѣлѣ. Тушинъ совершенно забываетъ о своемъ *я*. Онъ—частица великаго цѣлаго. Не разсуждая, не мечтая объ отличіи, онъ ежеминутно рискуетъ жизнью, и, только очутившись передъ лицомъ своего начальника, приходитъ въ себя и начинаетъ чувствовать себя личностью, воля которой могла оказать то или другое вліяніе на ходъ событій.

Но лучшимъ выраженіемъ идеаловъ Толстого является фигура Платона Каратаева. Одинъ изъ критиковъ назвалъ Кутузова Каратаевымъ въ фельдмаршальскомъ мундирѣ. И дѣйствительно, Каратаевъ былъ такимъ же проявленіемъ народнаго духа, какъ Кутузовъ, выразителемъ народной воли. Оба — орудія стихійнаго, неотразимаго—народной массы, жизни милліоновъ. Каратаевъ — крестьянинъ, и его міросозерцаніе сложилось на основахъ крестьянскаго или, какъ онъ выговаривалъ, „христіанскаго“ быта. Какія же идеи заключаетъ въ себѣ міросозерцаніе Каратаева? Прежде всего идею счастья, для котораго созданъ человѣкъ, того счастья, которое заключается въ немъ самомъ, въ удовлетвореніи естественныхъ человѣческихъ потребностей. Каратаевъ счастливъ. Никто въ мірѣ не въ состояніи нарушить его счастья, потому что несчастье проистекаетъ отъ излишествъ, чуждыхъ Каратаеву. Тѣ потребности, удовлетвореніе которыхъ необходимо для существованія человѣка, Каратаевъ всегда можетъ удовлетворить самъ. Онъ всегда за дѣломъ. Онъ занятъ тѣмъ нормальнымъ трудомъ, который обезпечиваетъ человѣку жизнь и здоровье. Онъ пекъ, варилъ, шилъ, строгалъ, тачалъ сапоги. Онъ никогда никого не утруждалъ, такъ какъ эти разно-

образныя житейскія знанія позволяли ему добывать все необходимое. Эта простота потребностей и привычка къ полезному труду давали ему независимость, обезпечивали счастье и здоровье; несмотря на то, что ему было за пятьдесятъ лѣтъ, онъ не зналъ утомленія и шутя переносилъ лишенія въ плѣну. И этому счастью позавидовалъ Пьеръ, какъ позавидовалъ Нехлюдовъ Ильѣ и Оленинъ—казакамъ. Тоскующій баринъ, не находившій себѣ мѣста, не умѣвшій найти исхода своимъ силамъ, увидѣлъ что-то глубокое и серьезное въ этой простой и ясной жизни крестьянина. „Пьеру чувствовалось что-то пріятное, успокоительное и круглое въ этихъ скорыхъ движеніяхъ, въ этомъ благоустроенномъ въ углу его хозяйствѣ, въ запахѣ даже этого человѣка“... Этотъ „эпикуреизмъ“ Каратаева, это довольство и личное счастье не только не противорѣчатъ идеѣ жертвы и отреченія отъ своей личности, но, напротивъ, гармонически сливаются съ нею. „Не нашимъ умомъ, а Божьимъ судомъ“—девизъ Каратаева. Всѣ моменты его жизни не были его твореніемъ. Его судьбу рѣшали другіе. Вмѣсто брата взяли его въ солдаты. Въ минуту усталости застрѣлили его французскіе солдаты. И Каратаевъ не роптал. Онъ вѣрилъ, что гдѣ-то въ высшемъ мірѣ ходъ жизни опредѣлялся въ цѣляхъ высшей справедливости, вѣрилъ, что „рокъ головы ищетъ“, и съ умиленіемъ разсказываетъ исторію о купцѣ, который за преступленіе другого человѣка умеръ на каторгѣ, не дождавшись освобожденія и награды, назначенной ему послѣ обнаруженія его невинности. „А его ужъ Богъ простилъ — померъ“,—закончилъ Каратаевъ свой разсказъ о купцѣ. Это смиреніе передъ высшимъ закономъ жизни, передъ Божьей правдой, даетъ Каратаеву великую силу любви ко всему живущему. Онъ одинаково ласковъ и съ Пьеромъ, и съ собачкой, онъ лю-

бить все, въ чемъ слышится трепетъ жизни, подобно Касьяну и Лукерьѣ. И любовь его и ласковость особенныя. Въ этой любви тоже отсутствовала примѣсь личнаго. Онъ любилъ въ каждой личности проявленіе высшаго начала и потому не привязывался ни къ кому особенно. Привязанностей, дружбы, любви, какъ понималъ ихъ Пьеръ, Каратаевъ не имѣлъ никакихъ; но онъ любилъ и любовно жилъ со всѣмъ, съ чѣмъ его сводила жизнь, и въ особенности съ человѣкомъ,— не съ извѣстнымъ какимъ-нибудь человѣкомъ, а съ тѣми людьми, которые были передъ его глазами. Онъ любилъ свою шавку, любилъ товарищей, французовъ, любилъ Пьера, который былъ его сосѣдомъ въ плѣну. И въ то же время Пьеръ чувствовалъ, что Каратаевъ, несмотря на всю свою ласковую нѣжность къ нему, ни на минуту не огорчился бы разлукой съ нимъ. Несмотря на то, что потребности Каратаева ограничены самымъ необходимымъ, не слѣдуетъ думать, что жизнь его сводится къ примитивнымъ, почти животнымъ интересамъ. Каратаевъ живетъ не только глубокой нравственной, но и эстетической жизнью. Онъ любитъ пѣсни. Но эстетическая жизнь его души носитъ тоже своеобразный отпечатокъ, чуждый искусственному творчеству культурнаго общества. Его пѣсня свободна отъ сложныхъ требованій техники, отъ мысли о постороннемъ слушателѣ. Она—естественная потребность здоровой натуры послѣ нормальнаго утомленія отъ трудовъ. Онъ поетъ только по ночамъ послѣ работы. Онъ пѣлъ пѣсни не такъ, какъ поютъ пѣсенники, знающіе, что ихъ слушаютъ, но пѣлъ такъ, какъ поютъ птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было такъ же необходимо издавать, какъ необходимо бываетъ потянуться или расходиться; и звуки эти всегда бывали тонкіе, нѣжные, почти женскіе, заунывные, и лицо его при этомъ бывало очень серьез-

но. Каратаевъ — носитель идеаловъ Толстого. Онъ — живое воплощеніе его будущей религіозно-нравственной системы, его философскихъ и эстетическихъ идей. Онъ—носитель того міросозерцанія, которое отыскалъ Толстой въ крестьянской жизни, которое спасло его отъ отчаянія, какъ спасало прикосновеніе къ народу многихъ баръ той эпохи, какъ спасло оно Пьера, познавшаго истину послѣ знакомства съ Каратаевымъ. Это—ученіе о любви и жертвѣ, объ отреченіи, но отреченіи не отъ естественной потребности счастья, а отъ излишествъ и вкусовъ, привитыхъ господствующимъ классамъ, какъ думаетъ Толстой, ложной цивилизаціей. Проповѣдь Толстого не является проповѣдью чистаго буддизма или аскетизма, такъ же, какъ и эпикуреизма. Его ученіе, по вѣрному замѣчанію одного критика (Л. Е. Оболенскаго), есть „слитіе воедино этихъ обоихъ полюсовъ человѣческой морали“, въ ней „примиряется и то, что наша жизнь имѣетъ смыслъ только въ связи съ безконечнымъ (буддизмъ), и то, что о ней слѣдуетъ заботиться... въ томъ смыслѣ, чтобы эта жизнь выполняла божественный законъ, т.-е. развивала тѣ блага, которыя сообразны этому закону, и устраняла тѣ, которыя ему противорѣчатъ... тогда она станетъ не только временной и земной, но и божественной, вѣчной въ смыслѣ вѣчности своего божественнаго закона“.

Каратаевъ, Кутузовъ, Тушинъ, солдаты, наконецъ, вся стихійная борьба русскаго народа противъ Наполеона являются, такимъ образомъ, только частями общей символической картины, изображающей торжество народной правды надъ идеалами ложной культуры. Въ этой картинѣ не доставало бы самаго главнаго эпизода, если бы Толстой не показалъ, какъ къ этой правдѣ приводится душа интеллигента и даже не интеллигента вообще, а интеллигента-барина, пред-

ставителя великосвѣтскаго общества. Исторія духовнаго развитія двухъ главныхъ героевъ романа, князя Андрея Болконскаго и Пьера Безухова, это — исторія Иртеньева и Нехлюдова, только болѣе глубоко и детально разработанная. Это въ новой формѣ знакомая намъ исторія души пробудившагося барства въ эпоху ликвидаціи стараго хозяйственнаго уклада жизни.

Князь Андрей отъ идеала гордой, самонадѣянной личности въ началѣ романа черезъ путь страданій и житейскаго опыта приходитъ къ идеалу христіанской любви и смиренія передъ высшей правдой въ концѣ своей жизни. Въ первый разъ мы видимъ его блестящимъ офицеромъ. Онъ отправляется на войну. Наполеонъ — предметъ его зависти. Онъ сгораетъ отъ честолюбія. Онъ одержимъ той сатанинской гордостью, которая толкаетъ человѣка на вмѣшательство въ жизнь, заражаетъ его, по мнѣнію Толстого, безумной мыслью, будто личность можетъ измѣнить ходъ того неотвратимаго, что зовется жизнью. Андрей мечтаетъ одинъ перевернуть судьбы народовъ, своими силами повернуть колесо исторіи. Наканунѣ Аустерлицкой битвы онъ мечтаетъ о своемъ „Тулонѣ“, о томъ счастливомъ случаѣ, который выдвинетъ его въ первые ряды людей, вершащихъ судьбу Россіи. Ему чудится опасный моментъ сраженія. Всѣ растерялись. Онъ одинъ указываетъ выходъ, одинъ оказывается въ состояніи выполнить его, ему предоставляютъ полную власть, онъ спасаетъ армію, онъ герой, слѣдующую битву уже выигрываетъ одинъ. „Ну, а потомъ?“ — шепчетъ ему тайный голосъ. И онъ не находитъ отвѣта. Онъ не ищетъ его. Величайшее, по мнѣнію Толстого, заблужденіе человѣческаго ума,—вѣра въ способность личности вліять на судьбу людей, — находитъ въ князѣ Андреѣ свое высшее выраженіе. „Я не знаю, что будетъ потомъ, не хочу и не могу знать, но ежели хочу

этого, хочу славы, хочу быть извѣстнымъ людямъ, хочу быть любимымъ ими, то вѣдь я не виноватъ, что я хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу. Да, для одного этого!“ Онъ ничего не любитъ, „какъ только славу и любовь людскую“. Какъ ни дороги ему близкіе люди, отецъ, сестра, жена, но онъ отдалъ бы ихъ всѣхъ за минуту славы, торжества надъ людьми, за любовь къ себѣ людей, которыхъ онъ не знаетъ и не будетъ знать. И романъ Толстого долженъ былъ показать, какъ пришелъ Андрей къ сознанію нелѣпости подобнаго міровоззрѣнія. Именно на полѣ битвы, при видѣ потоковъ крови и страданій, при видѣ сраженій, ходъ которыхъ опредѣлялся не усиліями личности, а какой-то невѣдомой волей, сталъ исцѣляться Андрей отъ своихъ индивидуалистическихъ воззрѣній. Слушая приказанія Багратіона, онъ, „къ удивленію, замѣчалъ, что приказаній никакихъ отдаваемо не было“, и князь Багратіонъ только дѣлалъ видъ, что все совершавшееся помимо его воли согласовалось съ его намѣреніями. Слѣдя за ходомъ битвы, князь Андрей убѣждался, какъ мало значила предусмотрительность вождей, тщательно обдуманные планы единичныхъ умовъ, тѣ техническіе термины, въ которые военная наука укладываетъ различные моменты сраженія. Дѣйствительность была сильнѣе всего. Она отливалась въ такія неожиданныя формы, которыя опрокидывали всѣ усилія единичной воли, всѣ измышленія отдѣльнаго ума. Онъ видитъ, что солдаты производятъ какія-то дѣйствія: „Это не можетъ быть атака, потому что они не двигаются, это не можетъ быть карре: они не такъ стоятъ“. Онъ слушаетъ докладъ полкового командира Багратіону объ отбитіи атаки французовъ, но чувствуетъ, что полковой командиръ „придумалъ это военное названіе тому, что происходило въ его полку, но онъ дѣйствительно

самъ не зналъ, что происходило въ эти полчаса во ввѣренныхъ ему войскахъ". Онъ глубоко задумывается послѣ инцидента съ Тушинымъ. Онъ видитъ, что истинный героизмъ прячется въ массѣ и чуждается славы, что оффиціальное признаніе, котораго онъ такъ жаждалъ, и истинный подвигъ—совершенно чуждыя другъ другу начала, и князю Андрею было грустно и тяжело: „все это было такъ странно, такъ не похоже на то, чего онъ надѣялся". Полученная имъ рана оставила въ душѣ Андрея глубокій слѣдъ. Истекая кровью, онъ понялъ, что „ничего не зналъ до сихъ поръ". Наполеонъ со своимъ мелкимъ тщеславіемъ и радостью побѣды показался ему мелочнымъ, и онъ думалъ „о ничтожности величія, о ничтожности жизни, которой никто не могъ понять значенія, и объ еще большемъ ничтожествѣ смерти, смыслъ которой никто не могъ понять и объяснить изъ живущихъ". Андрей, благодаря войнѣ и страданію прошелъ второй этапъ своего развитія. Онъ почувствовалъ, что первый этапъ былъ ложью, что жажда славы была заблужденіемъ. Для него наступилъ періодъ исканій, — „какъ хорошо было бы знать, гдѣ искать помощи въ этой жизни и чего ждать послѣ нея за гробомъ!" Онъ убѣждается, что ничего нѣтъ вѣрнаго, кромѣ ничтожества всего того, что ему понятно и „величія чего-то непонятнаго, но важнѣйшаго".

Онъ проходитъ одинъ за другимъ рядъ этаповъ. Въ разговорѣ съ Пьеромъ онъ рѣзко нападаетъ на усилія послѣдняго поднять благосостояніе мужика, нападаетъ на школы и больницы, заведенныя Пьеромъ. „Ты хочешь вывести его изъ его животнаго состоянія и дать ему нравственныхъ потребностей, а мнѣ кажется, что единственно возможное счастье есть счастье животное, а ты его-то хочешь лишить его. Я завидую ему, а ты хочешь сдѣлать его мною, не давъ ему моихъ средствъ". Онъ смѣется надъ проектомъ Пьера

объ освобожденіи крестьянъ. Мужику не хуже отъ того, что его бьютъ, сѣкутъ, ссылаютъ въ Сибирь. Если и нужно освободить крестьянъ, то ради самихъ дворянъ, которые гибнутъ нравственно, „наживаютъ себѣ раскаянье, подавляютъ это раскаянье и грубѣютъ оттого, что у нихъ есть возможность казнить право и неправо". Въ сущности въ этой изувѣрской проповѣди выражена озлобленнымъ умомъ та же идея о безплодности вмѣшательства въ жизнь, о необходимости оцѣнивать общественныя явленія только съ точки зрѣнія ихъ вліянія на нравственную жизнь человѣка. „Мнѣ жалко человѣческаго достоинства, — говоритъ Андрей,—спокойствія совѣсти, чистоты, а не ихъ спинъ и лбовъ, которыхъ сколько ни сѣки, сколько ни брей, все останутся такими же спинами и лбами". На-время въ душѣ Андрея снова просыпается жажда дѣятельности и вѣра въ значеніе личности при встрѣчѣ съ Сперанскимъ. Онъ видѣлъ въ немъ разумнаго, строго мыслящаго, огромнаго ума человѣка, энергіей и упорствомъ достигшаго власти и употребляющаго ее только для блага Россіи. Князь Андрей восхищался имъ какъ раньше Наполеономъ. Но вскорѣ онъ убѣдился, что его участь въ государственной законодательной дѣятельности—такая же праздная работа, какъ и его дѣятельность въ арміи на войнѣ. Ему стало смѣшно, какъ онъ могъ ждать чего-то отъ Сперанскаго, и когда онъ вспомнилъ своихъ мужиковъ, то, „приложивъ къ нимъ права лицъ, которыя онъ распредѣлялъ по параграфамъ", князь Андрей удивился, какъ могъ онъ такъ долго заниматься этой безплодной работой. И только лежа на смертномъ одрѣ послѣ новой раны, князь Андрей понялъ смыслъ жизни. Онъ понялъ, что „состраданіе, любовь къ братьямъ, къ любящимъ, любовь къ ненавидящимъ насъ, любовь къ врагамъ", — словомъ, „та любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, которой его учила княжна Марья, и которой

онъ не понималъ,—вотъ отчего ему было жалко жизни, вотъ оно то, что еще оставалось ему, если бы онъ былъ живъ". Его предсмертныя мысли принадлежали любви. „Любовь мѣшаетъ смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существуетъ только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть Богъ, и умереть — значитъ мнѣ, частицѣ любви, вернуться къ общему и вѣчному источнику".

Еще болѣе сложный путь проходитъ Пьеръ. Его исторія, это—исторія самого Толстого, онъ тоже бросается отъ одного занятія къ другому, ищетъ исхода своимъ дѣятельнымъ силамъ, стремится удовлетворить запросы своей совѣсти въ тѣхъ или другихъ формахъ служенія ближнему. И онъ, подобно Толстому, находитъ успокоеніе, прикоснувшись къ народу, приходитъ къ народной правдѣ, благодаря Платону Каратаеву. Пьеръ, подобно Андрею, началъ съ восхищенія Наполеономъ, но въ другомъ отношеніи. Въ его глазахъ Наполеонъ былъ носителемъ идей французской революціи, которая была „великимъ дѣломъ", потому что она, несмотря на крайности, провозгласила „права человѣка, эмансипацію отъ предразсудковъ и равенство гражданъ". И въ то же время Пьеръ проводитъ свою жизнь въ кутежахъ и оргіяхъ. Но его душа не находитъ успокоенія. Демократическія идеи, провозглашенныя революціей, не захватываютъ его существа. Онъ разсуждаетъ о нихъ и одобряетъ ихъ, какъ передовой человѣкъ своего времени. Но не въ этихъ идеяхъ могъ онъ найти то, что дало бы смыслъ его жизни. Кутежи еще менѣе могли удовлетворить ищущую душу Пьера. Далѣе мы видимъ Пьера богачомъ и графомъ Безуховымъ. Новая ложь окружила его, и на-время ему показалось, что онъ нашелъ удовлетвореніе и смыслъ въ жизни. Онъ „почувствовалъ себя до такой степени окруженнымъ, заня-

тымъ, что ему только въ постели удавалось остаться одному съ самимъ собою". Дѣла, управляющій, присутственныя мѣста, просители,—все это, какъ показалось, заполнило его жизнь, дало пищу исканіямъ его духа. Ему „такъ естественно казалось, что всѣ его любятъ, такъ казалось бы неестественно, ежели бы кто-нибудь не полюбилъ его, что онъ не могъ не вѣрить въ искренность людей, окружавшихъ его". Онъ чувствовалъ себя „центромъ какого-то важнаго общаго движенія", чувствовалъ, что „отъ него что-то постоянно ожидается". Его опутываютъ той ложью, которой опутана жизнь всякаго вліятельнаго и богатаго человѣка. Эти путы, эта ложь находятъ свое самое яркое выраженіе въ его женитьбѣ на Эленъ. Онъ чувствовалъ, что „что-то гадкое, противоестественное, нечестное было въ этомъ бракѣ", что-то гадкое, „запрещенное" было въ томъ чувствѣ, которое она возбуждала въ немъ, что она не любила его, что она была глупа и развратна. И, тѣмъ не менѣе, онъ женился на ней. Объ этомъ позаботились родные Эленъ, къ этому направляли его волю всѣ окружающіе, и ложь показалась ему правдой. „Нѣтъ, она не глупа, она прекрасная дѣвушка",—рѣшилъ онъ. И ложь этого брака стала ему ясна послѣ дуэли съ Долоховымъ, убійцей котораго онъ считалъ себя. Онъ понялъ, что женился не любя", что „обманулъ и себя и ее". Онъ краснѣлъ при воспоминаніи о медовомъ мѣсяцѣ.

Отъ кутежей, отъ демократическихъ идей, отъ упоенія богатствомъ, свѣтскими удовольствіями и красавицей-женой Піеръ переходитъ къ новому увлеченію. Отвергнувъ прежніе пути, онъ ищетъ выхода для своей тоскующей совѣсти въ масонствѣ. Масонъ, казалось ему, разсказалъ ему его самого и ярко формулировалъ муки его совѣсти. „Посмотрите на свою жизнь, государь мой. Какъ вы ее проводили? Въ буйныхъ оргіяхъ и развратѣ. Все получая отъ общества

и ничего не отдавая ему, вы получили богатство. Какъ вы употребили его? Что вы сдѣлали для ближняго своего? Подумали ли вы о десяткахъ тысячъ вашихъ рабовъ, помогли ли вы имъ физически и нравственно? Нѣтъ. Вы воспользовались ихъ трудами, чтобы вести распутную жизнь. Вотъ что вы сдѣлали. Избрали ли вы мѣсто служенія, гдѣ бы приносили пользу своему ближнему? Нѣтъ, вы въ праздности проводили свою жизнь. Потомъ вы женились, государь мой, взяли на себя отвѣтственность въ руководствѣ молодой женщины и что же вы сдѣлали? Вы не помогли ей, государь мой, найти путь истины, а ввергнули ее въ пучину лжи и несчастья. Человѣкъ оскорбилъ васъ, и вы убили его, и вы говорите, что вы не знаете Бога и что вы ненавидите свою жизнь". И Толстой продолжаетъ пересмотръ всѣхъ сторонъ жизни. Показавъ устами масона ложь прежней жизни Пьера, онъ вскрываетъ ложь самого масонства. Оно тоже не дало Пьеру удовлетворенія. Изъ трехъ назначеній масонства онъ не исполнялъ того, которое предписывало каждому человѣку быть образцомъ нравственной жизни, и утѣшалъ себя тѣмъ, что зато исполнялъ другое назначеніе—исправленія рода человѣческаго, и гордился своей щедростью. Онъ видѣлъ изъ-подъ масонскихъ фартуковъ и знаковъ мундиры и кресты, которыхъ добивались въ жизни знатные члены ложъ. И Пьеръ покинулъ масонство, убѣдившись, что въ основѣ дѣятельности братьевъ лежала та же ложь и что масонство не указало пути его исканіямъ. И только въ плѣну, узнавъ Каратаева и прикоснувшись въ лицѣ его и солдатъ къ народу, онъ обрѣлъ „то спокойствіе и довольство собой, къ которымъ онъ тщетно стремился прежде". Исторія Пьера, это—исторія отреченія отъ всѣхъ видовъ лжи, царящей въ жизни, это исторія ложныхъ путей, черезъ которые нужно было пройти для того, чтобы придти къ истин-

ному. „Онъ долго,—говоритъ авторъ,—въ своей жизни искалъ съ разныхъ сторонъ этого успокоенія, согласія съ самимъ собою, того, что такъ поразило его въ солдатахъ въ Бородинскомъ сраженіи, онъ искалъ этого въ филантропіи, въ масонствѣ, въ разсѣяніи свѣтской жизни, въ винѣ, въ геройскомъ подвигѣ самопожертвованія, въ романтической любви къ Наташѣ, онъ искалъ этого путемъ мысли, — и всѣ эти исканія и попытки, всѣ обманули его. И онъ, самъ не думая о томъ, получилъ это успокоеніе и это согласіе съ самимъ собою только черезъ ужасъ смерти, черезъ лишенія и черезъ то, что онъ понялъ въ Каратаевѣ".

„Война и миръ"—народная эпопея, но въ этой эпопеѣ всѣ детали служатъ фономъ, на которомъ развертывается жизнь души, особенно близкой ея автору. Исторія мыслящаго представителя великосвѣтскаго общества служитъ центральнымъ сюжетомъ этой эпопеи. Безсодержательная жизнь великосвѣтской среды, которая въ изображеніи Толстого пріобрѣтаетъ, какъ и въ повѣстяхъ, характеръ чего-то ненужнаго, ненастоящаго, ужасы войны, Наполеонъ съ его наивнымъ самомнѣніемъ, Кутузовъ съ его умомъ и вѣрнымъ пониманіемъ событій, Каратаевъ и простые люди, Сперанскій и бюрократическія претензіи на устроеніе счастья милліоновъ, наконецъ, равнодушные и умные карьеристы или пустые эпикурейцы, или просто незатѣйливые добрые люди, въ родѣ кн. Василія, Курагина, Николая Ростова,—все это поучительные эпизоды, уроки жизни для Андрея и Пьера. Оба они дополняютъ другъ друга. По справедливому замѣчанію проф. Овсянико-Куликовскаго, князь Андрей принадлежитъ къ числу людей „дѣла", къ призваннымъ дѣятелямъ на почвѣ общественной или государственной, Пьеръ, напротивъ,—натура, не пригодная для практической дѣятельности. Кн. Андрей—лучшій

представитель аристократіи, типичный „человѣкъ чести и долга, съ призваніемъ къ широкой государственной дѣятельности, дѣятель оппозиціи“. Онъ умираетъ рано, до декабрьской революціи, но онъ типиченъ для той среды, изъ которой вышли ея вожди. Пьеръ, напротивъ того,—идеалистъ, несклонный къ практической дѣятельности, способный къ самоуглубленію, ищущій осуществленія свободы внутри самого человѣка, а не въ преобразованіи внѣшнихъ отношеній. Андрей умираетъ рано, и эта ранняя смерть избавляетъ автора отъ трудной необходимости указать тотъ выходъ, на которомъ успокоилась бы въ концѣ-концовъ эта активная натура, жаждущая практическаго дѣла. Онъ умираетъ случайно отъ раны. Его смерть не была необходимостью, логически вытекающей изъ его жизни. Такъ умирали и другіе „лишніе люди“, не находившіе примѣненія своимъ активнымъ силамъ, не исключая даже Лаврецкаго, который хотя и дожилъ до старости, но для жизни умеръ рано. Толстой, какъ великій художникъ, чувствовалъ, что для Андрея не было выхода, что такія дѣятельныя натуры не могли найти примиренія въ тогдашней обстановкѣ русской жизни. Поэтому выходъ, который указалъ онъ обществу, изображенъ въ исторіи Пьера, натуры созерцательной. Пьеръ ближе Толстому, и въ итогѣ онъ и найденный имъ выходъ являются новымъ моментомъ въ автобіографіи Толстого,—моментомъ, логически слѣдующимъ за исторіей Иртеньева, Нехлюдова и Оленина.

Если въ „Войнѣ и мирѣ“ передъ нами обрисованы лучшіе представители высшаго дворянства, въ эпоху, предшествовавшую декабрьской революціи, то въ „Аннѣ Карениной“ мы видимъ тѣ пути, по которымъ направлялись отдѣльныя группы этого класса послѣ паденія крѣпостного права. Та гордость и независимость, которой отличаются старый князь Болконскій и его сынъ Андрей, уже поколеблены въ великосвѣт-

ской средѣ. Князья Болконскіе — не бюрократы. Они усвоили отъ своихъ предковъ привычку къ командованію, они умѣютъ не смиряться ни предъ кѣмъ и удаляются въ родовыя помѣстья, когда въ высшихъ сферахъ не мирятся съ ихъ независимымъ характеромъ. Они не боятся разрушить свою военную или чиновничью карьеру, не льстятъ и не поддѣлываются. Они не нуждаются ни въ чинахъ, ни въ казенномъ жалованьи, потому что они слишкомъ знатны для первыхъ и слишкомъ богаты для второго. Въ ихъ душѣ мысль о государственномъ служеніи хотя и соединяется съ чувствомъ честолюбія, облагораживается однако инстинктивной вѣрой въ свое прирожденное право управлять народомъ, какимъ-то неопредѣленнымъ сознаніемъ своей отвѣтственности передъ исторіей за судьбы государства. Въ „Аннѣ Карениной“ этотъ типъ независимаго и гордаго потомка Рюриковичей исчезаетъ. Паденіе крѣпостного права потрясло экономическое благосостояніе высшаго дворянства, а вмѣстѣ съ тѣмъ отразилось на его психикѣ. Князья и графы обѣднѣли. Они ищутъ службы для жалованья. Своими старыми связями, именами своихъ предковъ они пользуются для полученія хорошихъ казенныхъ мѣстъ, которыя нерѣдко являются главнымъ источникомъ ихъ существованія. Они не прочь порою пойти на поклонъ къ дѣльцамъ, ростовщикамъ и крупнымъ представителямъ торговаго и промышленнаго міра для полученія выгоднаго мѣста. Даже Вронскій, нѣсколько напоминающій независимыхъ представителей командующаго класса своими богатствами, своимъ пренебреженіемъ къ служебной карьерѣ, своимъ инстинктивнымъ презрѣніемъ къ людямъ не своего круга, — даже Вронскій не можетъ идти въ сравненіе съ Андреемъ Болконскимъ.

Толстой вывелъ представителя высшей бюрократіи въ лицѣ Каренина. Алексѣй Александровичъ отли-

чался упорнымъ честолюбіемъ, сдержанностью, честностью и самоувѣренностью. Онъ—по-своему талантливый бюрократъ, человѣкъ настоящаго дѣла. Его характерная черта, какъ государственнаго человѣка, состояла въ пренебреженіи къ оффиціальной перепискѣ, въ сокращеніи ея, въ прямомъ, насколько возможно, отношеніи къ живому дѣлу и въ экономности. Онъ—одинъ изъ добросовѣстнѣйшихъ и энергичныхъ людей, но бюрократъ съ ногъ до головы, и его энергія, его могучія силы уходятъ не на живое, нужное дѣло. Непосредственные и живые инстинкты, потребности сердца и порывы духа сковываются работой холоднаго ума, яснымъ разсчетомъ трезвой мысли. Онъ — реалистъ до мозга костей. Въ каждомъ затруднительномъ случаѣ онъ быстро разсчитываетъ преимущества того или другого рѣшенія, опредѣляетъ шансы успѣха. И это даетъ ему возможность сравнительно легко выходить изъ колебаній и сомнѣній. Онъ—человѣкъ дѣла, дѣйствія прежде всего. Для него нѣтъ неразрѣшимыхъ задачъ, которыя терзали Рудина и Лаврецкаго. Какъ ни тяжело для него то или иное рѣшеніе, онъ все-таки его приметъ. Остаться на распутьи, не остановиться ни на чемъ онъ не можетъ. Онъ воспитался въ канцеляріяхъ, гдѣ бумажное искусство и чиновничій умъ пріучился находить исходы всегда, не исключая и тѣхъ случаевъ, когда исхода не можетъ быть. И Каренинъ переноситъ эту фальшь изъ департамента въ область сердечной жизни, въ ту область, гдѣ теоретическія построенія еще менѣе могутъ исправить и исцѣлить какія бы то ни было страданія. Онъ хочетъ и здѣсь взять факты такими, какъ они есть, и, холодно и ясно обсудивъ ихъ, вывести изъ нихъ наиболѣе разумное рѣшеніе. Узнавъ объ измѣнѣ жены, онъ испыталъ „жестокую боль“. Но это длилось недолго. Послѣ признанія Анны онъ, „къ удивленію своему и радости, почувствовалъ совершенное

освобожденіе". Его занимало одно,—„вопросъ о томъ, какъ наилучшимъ, наиприличнѣйшимъ, удобнѣйшимъ для себя и потому справедливѣйшимъ образомъ отряхнуться отъ той грязи, которою она забрызгала его въ своемъ паденіи, и продолжать идти по своему пути дѣятельной, честной и полезной жизни". Онъ исходитъ не отъ себя, не отъ своего сердца, не отъ потребностей своей души, а отъ сложившихся формъ жизни и дѣйствій, которыя были приняты въ его кругу. Онъ перебираетъ мысленно „подробности образа дѣйствій людей, находившихся въ такомъ же положеніи, какъ и онъ". Онъ обсуждаетъ дуэль, разводъ, раздѣльную жизнь съ женой, холодно взвѣшиваетъ преимущества и неудобства каждаго изъ этихъ рѣшеній, отвергаетъ ихъ всѣ и останавливается на одномъ — удержать ее при себѣ, скрывъ отъ свѣта случившееся и употребивъ всѣ зависящія мѣры для прекращенія связи и, „главное, въ чемъ самому себѣ не признавался—для наказанія ея". Онъ застылъ въ формахъ бюрократическаго рѣшенія вопросовъ. Онъ не понялъ, что ясный и трезвый выводъ его ума столкнется съ ирраціональной жизнью женской души, что всѣ тонкія и вѣрныя построенія разума будутъ сметены непосредственнымъ чувствомъ любви и страсти. Трагедія Каренина—новое художественное воплощеніе той идеи, которая красной нитью проходитъ черезъ всѣ творенія великаго писателя. Черезъ страданіе пришелъ онъ къ тому единственному выводу, который могъ дать спокойствіе его душѣ, къ мысли, что истинное счастье заключается въ любви и отреченіи отъ искусственнаго счастья, отъ ложныхъ страстей и потребностей, рожденныхъ фальшивой культурой. Тонкіе расчеты бюрократическаго ума оказались несостоятельными передъ высшимъ таинственнымъ смысломъ жизни. Каренинъ всю свою жизнь былъ могучимъ оплотомъ сложившихся формъ общественной жизни, въ непогрѣшимости ко-

торыхъ онъ ни на минуту не сомнѣвался, и вотъ этотъ надменный бюрократъ оказывается жалкимъ и безсильнымъ существомъ передъ сложной жизнью женской души, которую онъ пытался уложить въ рамки своихъ схемъ. Онъ увидѣлъ Анну на одрѣ болѣзни, изстрадавшуюся, жестоко заплатившую за свою вину, и онъ простилъ ее, и „счастье прощенія открыло ему его обязанность“, онъ „молилъ Бога только о томъ, чтобы онъ не отнялъ у него счастья прощенія“. Жизнь Каренина была ложью. Его раскаяніе, его мистицизмъ, въ который онъ впадаетъ подъ конецъ своей жизни и который отдаетъ его въ руки шарлатановъ,—печальная кара, изъ которой великій художникъ куетъ новое оружіе въ защиту своихъ идей, вскрываетъ ложь современной жизни, указываетъ, какъ не слѣдуетъ жить, и разоблачаетъ эфемерность фальшивыхъ радостей, влекущихъ человѣчество и закрывающихъ отъ него истинный смыслъ жизни.

Еще болѣе яркимъ свидѣтельствомъ упадка высшаго дворянства является фигура князя Степана Аркадьевича Облонскаго. Это—эпикуреецъ, добродушный и безпринципный, утратившій совершенно ту гордость, независимость и родовыя помѣстья, которыя придавали извѣстное благородство и красоту командующимъ классамъ въ ту эпоху, когда еще не было потрясено ихъ господство. Своимъ происхожденіемъ и связями онъ пользуется для того, чтобы обезпечить себѣ праздное существованіе хорошо оплачиваемымъ казеннымъ мѣстомъ. Половина Москвы и Петербурга были родня и пріятели Степана Аркадьевича. Ему бы смѣшно показалось, если бы ему сказали, что онъ не получитъ мѣста съ тѣмъ жалованьемъ, которое ему нужно. Къ дѣлу своему онъ относится съ полнымъ равнодушіемъ, вслѣдствіе чего онъ никогда не увлекался и не дѣлалъ ошибокъ. По своимъ воззрѣніямъ онъ—либералъ, но не потому, чтобы онъ находилъ

либеральное направленіе разумнымъ, но потому, что оно подходило ближе къ его образу жизни. Оно давало ему право бранить бракъ, что вполнѣ гармонировало съ его враждебнымъ отношеніемъ къ семейной жизни. Либеральное направленіе ему нравилось еще потому, что онъ не любилъ молебновъ и страшныхъ словъ о томъ свѣтѣ, что онъ любилъ вообще побранить все въ Россіи, такъ какъ имѣлъ долги и денегъ ему не хватало. Но этого тунеядца любили и сослуживцы, и всѣ окружающіе за его добродушіе, за отсутствіе зависти и честолюбія. Какъ дворянинъ и помѣщикъ, онъ—живое воплощеніе экономическаго и политическаго паденія сословія. Онъ сбываетъ за полцѣны кулаку родовыя помѣстья, прокучивая въ короткое время полученныя деньги. Онъ добивается мѣста „члена комиссіи отъ соединеннаго агентства кредитно-взаимнаго баланса южно-желѣзныхъ дорогъ“. И при всемъ своемъ добродушіи даже онъ испытываетъ чувство неловкости при мысли о томъ, что онъ, потомокъ Рюрика, князь, долженъ часами дожидаться въ пріемной вліятельнаго дѣльца, какого-то Болгаринова, отъ котораго зависитъ назначеніе на это мѣсто, что онъ не слѣдуетъ примѣру предковъ, служившихъ правительству, и выступаетъ на новое поприще. Та же безпринципность руководитъ Облонскимъ и въ его отношеніяхъ къ людямъ, и въ семейныхъ отношеніяхъ. Онъ не разборчивъ въ знакомствахъ. Онъ готовъ зачислить въ число своихъ пріятелей всякаго, кто предложитъ ему „завтракъ съ лафитомъ“, и возбуждаетъ негодованіе Левина тѣмъ, что ѣздитъ къ желѣзнодорожному богачу Мальтусу, который безчестными путями нажилъ свое состояніе. Облонскій—символъ упадка родовитаго дворянства. Свои гербы, родословныя дерева, родовыя помѣстья оно размѣниваетъ на деньги, доживая въ традиціонной праздности послѣдніе дни и постепенно уступая свое мѣсто торжествующимъ Ря-

бининымъ, Болгариновымъ и Мальтусамъ. „У дѣтей Рябинина будутъ средства къ жизни и образованію, а у твоихъ, пожалуй, не будетъ“,—говоритъ Левинъ Облонскому, формулируя въ этой фразѣ сущность происходящаго экономическаго переворота, перехода экономическаго господства изъ рукъ землевладѣльческаго дворянства въ руки предпринимателей-капиталистовъ.

Болѣе другихъ походитъ на типъ прежняго независимаго аристократа графъ Вронскій. Онъ обладаетъ огромнымъ состояніемъ и не нуждается въ казенной службѣ. Но его независимость далеко не напоминаетъ независимости Болконскихъ. Въ немъ нѣтъ того благороднаго жара, который дѣлаетъ князя Андрея государственнымъ человѣкомъ, заставляетъ его искать вліянія на судьбы государства безъ примѣси постороннихъ мыслей. Андрей тоже честолюбивъ, но его честолюбіе носитъ благородный оттѣнокъ. Въ немъ течетъ кровь тѣхъ князей-воиновъ, которые взамѣнъ своей власти несли великія обязанности, сражаясь въ первыхъ рядахъ своей дружины. Въ честолюбіи и независимости Вронскаго нѣтъ этой непосредственности. Его коснулась уже бюрократическая муть, въ которую окунулось высшее дворянство, выгнанное изъ своихъ имѣній купцами и ростовщиками и устремившееся въ погоню за хлѣбными мѣстами. Первые шаги Вронскаго въ свѣтѣ и на службѣ были удачны, но онъ сдѣлалъ ошибку, отказавшись отъ предложеннаго ему мѣста въ надеждѣ, что этотъ отказъ придастъ ему большую цѣну. „Но оказалось, что онъ былъ слишкомъ смѣлъ, и его оставили, и, волей-неволей сдѣлавъ себѣ положеніе человѣка независимаго, онъ носилъ его, весьма тонко и умно держа себя, такъ, какъ-будто онъ ни на кого не сердился, не считалъ себя никѣмъ обиженнымъ“. Но въ дѣйствительности ему было тяжело, и червь честолюбія просыпался въ немъ всякій разъ, когда онъ слышалъ о служебныхъ успѣхахъ своихъ

товарищей по корпусу. У него былъ сводъ правилъ, который освобождалъ его отъ всякихъ сомнѣній и колебаній въ жизни. Онъ зналъ, что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно; что лгать не надо мужчинамъ, но женщинамъ можно; что обманывать нельзя никого, но мужа можно. Его отношеніе къ людямъ лучше всего выясняется въ небольшомъ эпизодѣ. Вронскій былъ прикомандированъ къ одному иностранному принцу, пріѣхавшему въ Петербургъ. Эта миссія была тяжела Вронскому потому, что въ принцѣ онъ видѣлъ свой портретъ. „Это былъ очень глупый и очень самоувѣренный, и очень здоровый, и очень чистоплотный человѣкъ, и больше ничего. Онъ былъ джентльмэнъ, — это была правда, и Вронскій не могъ отрицать этого. Онъ былъ ровенъ и не искателенъ съ высшими, былъ свободенъ и простъ въ обращеніи съ равными и былъ презрительно добродушенъ съ низшими. Вронскій самъ былъ таковымъ и считалъ это большимъ достоинствомъ; но въ отношеніи принца онъ былъ низшій, и это презрительно-добродушное отношеніе къ нему возмущало его“. И весь запасъ честолюбія Вронскаго ушелъ на мелкія побѣды и ничтожныя стремленія. Онъ велъ широкую свѣтскую жизнь, онъ улаживалъ „исторіи“, случавшіяся съ его товарищами по полку, радовался своему успѣху въ обществѣ и у женщинъ и гордился тѣмъ, что былъ баловнемъ въ полку, гдѣ его цѣнили за богатство, аристократическое происхожденіе и за то, что онъ былъ добрымъ товарищемъ. Величайшимъ горемъ его жизни была несчастная случайность, лишившая его побѣды на скачкахъ: „въ первый разъ въ жизни онъ испыталъ величайшее несчастье, несчастье неисправимое и такое, въ которомъ виною онъ самъ“. И въ его лицѣ великій врагъ современной культурной жизни, Толстой снова произноситъ осуждающій приговоръ ложному счастью и призрачнымъ идеаламъ,

въ погонѣ за которыми богатые и культурные люди забываютъ естественныя потребности духа и здоровыя нормальныя радости жизни. Вронскій, подобно Каренину, безсильно отступаетъ передъ высшимъ таинственнымъ смысломъ жизни, когда она обрушивается на него своею тяжестью. Его романъ съ Анной, который представлялся такимъ простымъ съ точки зрѣнія его „кодекса", оказался сложнымъ и непостижимымъ фактомъ. Онъ зналъ, какъ держать себя по отношенію къ ней: она была порядочная женщина, и онъ уважалъ ее какъ законную жену. У него не было сомнѣній и по отношенію къ мужу: единственное, на что имѣлъ право мужъ, это—потребовать отъ него удовлетворенія съ оружіемъ въ рукахъ, и Вронскій всегда былъ готовъ къ дуэли. Но сводъ его правилъ оказался слишкомъ узкимъ. Анна страдала, потому что у нея былъ сынъ, Каренинъ не дрался на дуэли, а превратилъ его жизнь въ сплошное страданіе тѣмъ, что рѣшилъ поддерживать ложь, сковавшую всѣхъ трехъ героевъ. И Вронскій утратилъ руководящую нить. Онъ запутался въ сѣтяхъ той лжи, которую представляетъ изъ себя искусственная жизнь высшаго общества. Для рѣшенія загадки жизни не годятся „правила" Вронскаго, какъ не подошли „правила" Каренина. Всѣ эти „правила"—продуктъ извращенной, а не истинной жизни. Уже въ первыхъ повѣстяхъ и въ „Войнѣ и мирѣ" безпредѣльная ширь жизни, обрисованная Толстымъ, служитъ только фономъ, на которомъ развертывается исторія развитія его собственной души. И „Анна Каренина" не составляетъ исключенія. Въ романѣ выведенъ герой, который является новымъ этапомъ въ великой автобіографіи Толстого.

Левинъ—выразитель идеи романа. Его устами авторъ высказываетъ свои воззрѣнія. Онъ стоитъ особнякомъ среди другихъ героевъ и разоблачаетъ ложь каждаго момента несущейся мимо него жизни. Онъ—живое от-

рицаніе всѣхъ стремленій культурнаго общества, современнаго ему воспитанія, общественной дѣятельности, свѣтскаго кодекса правилъ, идейной борьбы. Въ земской дѣятельности онъ разочаровался: съ одной стороны, это „игра въ парламентъ“, съ другой—средство „для уѣздной coterie наживать деньжонки“. Въ свѣтской жизни и воспитаніи онъ чувствовалъ какую-то ложь, какъ ни привлекательно и поэтично казалось ему то, что скрывалось въ ея изяществѣ. Онъ не понималъ, для чего въ семьѣ Щербацкихъ „тремъ барышнямъ нужно было говорить черезъ день по-французски и по-англійски, для чего онѣ въ извѣстные часы играли попеременкамъ на фортепіано... для чего ѣздили эти учителя французской литературы, музыки, рисованія, танцевъ; для чего въ извѣстные часы всѣ три барышни съ m-lle Linon подъѣзжали въ коляскѣ къ Тверскому бульвару въ своихъ атласныхъ шубкахъ“ и т. д. Непонятны были модные длинные ногти свѣтскихъ франтовъ ему, жителю деревни, гдѣ стараются „привести руки свои въ такое положеніе, чтобы ими удобно было работать“, обстригаютъ для этого ногти, засучиваютъ рукава. Не могъ понять обжорства въ ресторанахъ житель деревни, гдѣ стараются „скорѣе наѣсться, чтобы быть въ состояніи дѣлать свое дѣло“. Впечатлѣнія Левина въ столицѣ, это—тотъ же протестъ Оленина противъ лжи, проникающей свѣтскую жизнь, то же бѣгство Нехлюдова въ деревню, тѣ же исканія Пьера. И выходъ изъ лжи, проникающей жизнь его круга, Левинъ, подобно другимъ героямъ Толстого, находитъ только при соприкосновеніи съ трудовой естественной жизнью простого народа. Такіе разнородные по душевному складу писатели, какъ Тургеневъ и Толстой, видѣли для здоровыхъ элементовъ усадебнаго барства одинъ и тотъ же выходъ. Лаврецкій собирался пахать землю и притомъ пахать ее какъ можно лучше. Левинъ осуществляетъ

это намѣреніе на глазахъ читателя. Онъ работаетъ вмѣстѣ съ мужиками. Онъ коситъ траву, и его охватываетъ „пріятное ощущеніе холода по жаркимъ вспотѣвшимъ плечамъ“. Онъ чувствуетъ, что у него нѣтъ ни мыслей, ни желаній, кромѣ одного, „чтобы не отстать отъ мужиковъ и какъ можно лучше сработать“. Счастливѣйшими минутами его жизни были тѣ моменты, когда онъ чувствовалъ, что сравнялся съ крестьянами въ быстротѣ и ловкости, а особенно тѣ, когда, дойдя до рѣки, онъ пилъ изъ нея воду, и эта теплая вода съ плавающей зеленью казалась ему прекраснѣйшимъ напиткомъ въ мірѣ. Вскорѣ совершенно исчезло разстояніе, отдѣлявшее барина отъ крестьянъ, Левинъ пересталъ ѣздить домой обѣдать, ѣлъ тюрьку со старикомъ-крестьяниномъ, и она казалась ему болѣе вкусной, чѣмъ его домашній обѣдъ. Черезъ крестьянина можетъ спастись баринъ, не трудовая жизнь народа должна идти на выучку къ культурѣ, а напротивъ, эта послѣдняя лживая жизнь высшаго общества должна смириться передъ простой и великой народной правдой. Характеръ Левина разработанъ глубже и шире, чѣмъ его предшественниковъ. Идея опрощенія въ „Аннѣ Карениной“ поставлена лицомъ къ лицу съ сложными условіями современной дѣйствительности. Левинъ стоитъ во главѣ сложнаго хозяйства. Онъ не только практикъ, но и теоретически работаетъ надъ экономическими вопросами. Ему приходится имѣть дѣло и съ дворянствомъ, и съ купцами, и съ учеными экономистами, и съ крестьянами. И онъ сумѣлъ справиться съ той задачей, съ которой не удалось справиться Нехлюдову. Левинъ пришелъ къ тому выводу, къ которому въ свое время пришелъ Пьеръ. Когда Пьеръ сбросилъ съ себя ярмо умствованій и принциповъ, когда онъ просто отдался непосредственному инстинкту жизни, ему вдругъ стало ясно все, что до тѣхъ поръ составляло для него предметъ за-

трудненій. Онъ зналъ, кому отказывать и кого удовлетворять. Толстой — врагъ умствованій. Сквозь строки его твореній можно прочесть рѣшительную филиппику противъ тѣхъ общихъ началъ, теорій и принциповъ, къ которымъ развитая культурная мысль стремится отнести частные факты и явленія жизни. Творецъ „Войны и мира“ не замѣчаетъ, что онъ часто становится проповѣдникомъ нравственнаго квіетизма, что его проповѣдь простоты и безыскусственнаго отношенія къ жизни граничитъ порою съ полнымъ отрицаніемъ нравственнаго усилія, что часто онъ рекомендуетъ человѣку безраздумное признаніе общепринятыхъ представленій о порядочности, и лучшимъ выходомъ изъ колебаній и сомнѣній представляется ему просто добросовѣстное въ общепринятомъ смыслѣ исполненіе своего дѣла въ томъ положеніи, въ которое поставила человѣка судьба. Пьеръ не задумался передать въ полное владѣніе безсердечной женщинѣ тысячи своихъ рабовъ, чтобы откупиться отъ нея. Левинъ, который, несомнѣнно, противопоставляется празднымъ аристократамъ, обрѣлъ спокойствіе и прочную опору своимъ дѣйствіямъ въ сомнительномъ идеалѣ. „Прежде, когда онъ старался сдѣлать что-нибудь такое, что сдѣлало бы добро для всѣхъ, для человѣчества, для Россіи, для всей деревни, онъ замѣчалъ, что мысли объ этомъ были пріятны, но самая дѣятельность всегда была нескладная, не было полной увѣренности въ томъ, что дѣло необходимо нужно“. Когда же онъ просто занялся дѣломъ, онъ получилъ увѣренность, „что дѣло его необходимо“. Хозяйство вмѣстѣ съ охотой „наполняло всю ту жизнь Левина, которая не имѣла для него никакого смысла, когда онъ думалъ“. Теперь онъ твердо зналъ, *что* нужно дѣлать и *какъ* дѣлать и какое дѣло важнѣе другого. И слѣдующія строки являются отвѣтомъ на вопросъ, *что дѣлать?*—на тотъ вопросъ, надъ которымъ билась и мучилась русская интеллигенція:

„Онъ зналъ, что нанимать рабочихъ надо было какъ можно дешевле; но брать въ кабалу ихъ, давая впередъ деньги, дешевле, чѣмъ они стоятъ, не надо было, хотя это и было очень выгодно. Продавать въ безкормицу мужикамъ солому можно было, хотя и жалко было ихъ; но постоялый дворъ и питейный, хотя они и доставляли доходъ, надо было уничтожить. За порубку лѣсовъ надо было взыскивать сколь возможно строже, но за загнанную скотину нельзя было брать штрафовъ; и хотя это и огорчало караульщиковъ и уничтожало страхъ, нельзя было не отпускать загнанную скотину. Петру, платившему ростовщику десять процентовъ въ мѣсяцъ, нужно было дать взаймы, чтобы выкупить его; но нельзя было спустить и отсрочить оброкъ мужикамъ-неплательщикамъ". Разсужденія приводили его въ сомнѣнія и мѣшали ему видѣть, „что должно и что не должно", но когда онъ не думалъ, а жилъ, онъ чувствовалъ въ душѣ своей „присутствіе непогрѣшимаго судьи, рѣшавшаго, который изъ двухъ возможныхъ поступковъ лучше и который хуже, и какъ только онъ поступалъ не такъ, какъ нужно, онъ тотчасъ же чувствовалъ это". Итакъ, жизнь Левина текла безъ колебанія. Его мучило только отсутствіе цѣли и смысла въ ней, и, подобно всѣмъ героямъ Толстого, онъ открылъ эту цѣль и этотъ смыслъ черезъ крестьянина. „Подавальщикъ" Ѳедоръ случайно сказалъ при немъ: „Фоканычъ — правдивый старикъ. Онъ для души живетъ. Бога помнитъ". И эти слова произвели въ душѣ Левина „дѣйствіе электрической искры, вдругъ преобразившей и сплотившей въ одно цѣлое рой разрозненныхъ, безсильныхъ, отдѣльныхъ мыслей, никогда не перестававшихъ занимать его". Онъ понялъ, что поступалъ какъ ребенокъ, когда старался разумомъ отыскать „значеніе силъ природы и смыслъ жизни человѣка", что всѣ философскія теоріи въ сущности только „страннымъ несвойственнымъ че-

ловѣку путемъ“ приводятъ его „къ знанію того, что онъ давно знаетъ и такъ вѣрно знаетъ, что безъ того и жить бы не могъ“. Словомъ, Левинъ „жилъ для души“ и „помнилъ Бога“ раньше, чѣмъ узналъ это. И простой мужикъ открылъ ему смыслъ его собственной жизни, и онъ пересталъ искать этого смысла разумомъ, который не можетъ открыть этотъ смыслъ. Это знаніе просто *дано* каждому человѣку, и нужно только не заглушать его въ себѣ ложью искусственной культурной жизни. Послѣ этого открытія вся жизнь Левина получила смыслъ. Онъ зналъ, что будетъ по-прежнему сердиться на кучера Ивана, спорить, некстати высказывать свои мысли, не понимать разумомъ, зачѣмъ онъ молится, и все-таки молиться. „Но жизнь моя теперь,—говоритъ онъ,—вся моя жизнь, независимо отъ всего, что можетъ случиться со мною, каждая минута ея—не только не безсмысленна, какъ была прежде, но имѣетъ несомнѣнный смыслъ добра, который я властенъ вложить въ нее“.

Левинъ обрѣлъ свой идеалъ. Этотъ идеалъ—добросовѣстный помѣщикъ, старающійся поменьше эксплоатировать крестьянъ, покупающій свое благосостояніе неустаннымъ трудомъ. Идеалъ Толстого не выходитъ за предѣлы усадьбы и земли. Для мятущейся души представителя родовитаго земледѣльческаго дворянства онъ не видитъ другого исхода, какъ добросовѣстное служеніе той миссіи, которая возложена на него его происхожденіемъ. Онъ обрѣтаетъ этотъ идеалъ въ соприкосновеніи съ крестьянствомъ, добрымъ руководителемъ котораго онъ долженъ бы быть по историческому представленію объ истинномъ помѣщикѣ. Толстой инстинктивно видитъ идеалъ въ той жизни, въ той дѣятельности, которая нѣкогда создала могущество и богатство высшаго дворянства и которая одна могла удержать его отъ разложенія и вырожденія. Этотъ идеалъ естественной простой трудовой жизни,

это возстаніе противъ лжи и испорченности свѣтскаго общества отражается и на женскихъ образахъ, выведенныхъ Толстымъ. Между героинями Тургенева и Толстого лежитъ цѣлая пропасть. Тургеневъ выводилъ дѣвушекъ, полныхъ предчувствіемъ будущаго. Онѣ—женщины прежде всего. Ихъ сила, красота и энергія раскрываются только въ любви. Но онѣ требовательны къ своимъ избранникамъ. Онѣ ищутъ сильныхъ людей, людей дѣла, онѣ пытаются порою сами проявить свою активную силу не только въ сферѣ любви, но и въ общественной дѣятельности. Не таковы героини у Толстого. У него почти не встрѣтишь дѣвушки, интересы которой переходили бы за предѣлы суетныхъ свѣтскихъ удовольствій и флирта. Лучшія изъ его героинь—честныя матери и супруги, которымъ невѣдомы томительныя думы о человѣчествѣ, неясные, но широкіе, захватывающіе порывы тургеневскихъ женщинъ. Въ своей средѣ Толстой не нашелъ ни Елены, ни Маріанны. Вспомнимъ, какъ начинается любовь тургеневской дѣвушки. Въ этой любви нѣтъ даже оттѣнка страсти, къ ней не примѣшивается ничто земное. Подъ непроницаемымъ покровомъ скрываетъ авторъ грѣховныя чувства. Мы видимъ только духовную сторону отношеній между Натальей и Рудинымъ, Еленой и Инсаровымъ, Лизой и Лаврецкимъ. Вспомнимъ теперь, какъ зарождается любовь въ романахъ Толстого. Пьеръ влюбился въ Эленъ на вечерѣ. Она была въ „открытомъ по тогдашней модѣ спереди и сзади платьѣ". Она находилась „въ такомъ близкомъ разстояніи отъ его глазъ, что онъ своими близорукими глазами невольно различалъ живую прелесть ея плечъ и шеи, и такъ близко отъ его губъ, что ему стоило немного нагнуться, чтобы прикоснуться до нея", и т. д. Она имѣла вызывающій видъ и точно говорила: „Вы не замѣчали, что я женщина?"—и Пьеръ почувствовалъ, что она „должна быть его женой, что это не могло

быть иначе". Такое же возбуждающее дѣйствіе производитъ на Вронскаго Анна. Ревнивымъ взоромъ слѣдила за ними на балу Кити и видѣла „знакомую ей самой черту возбужденія отъ успѣха". Она видѣла, что „Анна пьяна виномъ возбуждаемаго ею восхищенія", видѣла „дрожащій, вспыхивающій блескъ въ глазахъ и улыбку счастья и возбужденія, невольно изгибающую губы, и отчетливую грацію, вѣрность и легкость движеній". Даже у самыхъ поэтическихъ и чистыхъ героевъ и героинь Толстого любовь начинается съ физическаго возбужденія, по большей части въ чаду бала. Князь Андрей пошелъ танцовать съ Наташей Ростовой только потому, что она „первая изъ хорошенькихъ женщинъ" попала ему на глаза; „но едва онъ обнялъ этотъ тонкій подвижной станъ, и она зашевелилась такъ близко отъ него и улыбнулась такъ близко ему, вино ея прелести ударило ему въ голову: онъ почувствовалъ себя оживщимъ и помолодѣвшимъ, когда, переводя дыханье и оставивъ ее, остановился и сталъ глядѣть на танцующихъ". Толстой никогда не забываетъ напомнить, что женщина прежде всего самка. Даже Анна Каренина послѣ пережитыхъ ею страданій, несмотря на ея глубокую любовь къ Вронскому, кокетничаетъ съ Левинымъ и безсознательно, „какъ она дѣйствовала въ отношеніи ко всѣмъ молодымъ мужчинамъ", старалась возбудить въ немъ чувство любви къ себѣ.

Княжна Марья составляетъ на первый взглядъ исключеніе среди героинь Толстого. Она напоминаетъ нѣсколько тургеневскую Лизу по своему глубоко-религіозному чувству, по своимъ аскетическимъ наклонностямъ. Она любитъ размышлять, что такъ рѣдко бываетъ съ другими дѣвушками у Толстого. Она вѣритъ, что „религія, одна только религія, можетъ насъ избавить отъ отчаянія". Она безропотно склоняетъ голову передъ несчастьемъ и вѣритъ, что оно является

особой милостью Творца, выраженіемъ Его безконечной благости, такъ какъ всѣ Его дѣйствія, „хотя мы ихъ большею частью не понимаемъ, суть только проявленія Его безконечной любви къ Своему творенію“. Подобно Лизѣ, она видѣла свое назначеніе въ отреченіи и жертвѣ. „Мое призваніе — быть счастливой другимъ счастьемъ, счастьемъ любви и самопожертвованія“. Подобно Лизѣ, княжна Марья считаетъ грѣховной и преступной самую мысль о земныхъ радостяхъ, о любви и счастьи. Но и въ изображеніи грѣховныхъ отступленій отъ аскетическаго идеала Толстой и Тургеневъ рѣзко расходятся между собою. Лиза только на мгновеніе поддалась обаянію рѣчей Лаврецкаго, допустила мысль о возможности счастья. Въ изображеніи ея земного порыва поэтъ не повелъ насъ за предѣлы безгрѣшной мечты, и она не сошла съ того пьедестала чистой религіозной жизни, на который возвелъ ее Тургеневъ. Совершенно иначе изобразилъ Толстой грѣховный порывъ княжны Марьи. „Она, безсильно опустивъ глаза и руки, молча сидѣла и думала. Ей представлялся мужъ, мужчина, сильное, преобладающее и непонятно-привлекательное существо, переносящее ее вдругъ въ свой, совершенно другой, счастливый міръ. Ребенокъ *свой*, такой, какого она видѣла вчера у дочери кормилицы, представлялся ей у своей собственной груди... Въ помышленіяхъ о бракѣ княжнѣ Марьѣ мечталось и семейное счастье и дѣти, но главною, сильнѣйшею и затаенной ея мечтою была любовь земная“. И, подобно тургеневской Лизѣ, она старается молитвой искупить эту жажду счастья, она спрашиваетъ Бога, какъ подавить въ сердцѣ „мысли дьявола“, какъ отказаться „отъ злыхъ помысловъ“, чтобы спокойно исполнять Его волю. И въ то же время грѣховныя мечты не покидаютъ ее.

Въ русской литературѣ трудно указать писателя, который создалъ такой ослѣпительно художественный

образъ женщины-самки, какъ Толстой. Великому писателю земли русской почти неизвѣстенъ типъ женщины въ родѣ тургеневской Маріанны или гончаровской Ольги, мысль которыхъ не удовлетворяется предѣлами дѣтской и кухни и неопредѣленно стремится къ болѣе широкой сферѣ. Толстовскій идеалъ женщины—въ семьѣ и въ домашнемъ хозяйствѣ. Душа мятущагося барина находитъ успокоеніе на лонѣ природы, въ здоровомъ естественномъ трудѣ, въ освобожденіи отъ суетности и пустоты свѣтской жизни. Женщина обрѣтаетъ безмятежный миръ въ уходѣ за дѣтьми и мужемъ, цѣликомъ растворяя свою личность въ интересахъ семьи. И въ „Войнѣ и мирѣ", и въ „Аннѣ Карениной" мы находимъ толстовскій идеалъ семейнаго счастья. Тургеневъ любилъ изображать внутренній міръ дѣвушки, ея борьбу за свое счастье, исканія ея души, ожидающей своего избранника. Авторъ „Рудина" задергиваетъ завѣсу надъ ея дальнѣйшей судьбою. Мы не видимъ Натальи послѣ ея замужества, не знаемъ, что сталось съ Еленой. Еле-еле приподнята предъ нами завѣса, скрывающая Лизу въ монастырѣ или Маріанну послѣ пережитыхъ ею потрясеній. Точно только въ преддверіи зрѣлости, въ преддверіи долгой однообразной жизни раскрывается натура женщины. Иначе относится къ женщинѣ Толстой. Для него главное начинается послѣ замужества. Внутренній міръ матери есть то настоящее, гдѣ опредѣляется характеръ женщины. Можно почти сказать, что въ оцѣнкѣ женщины Толстой пользуется однимъ критеріемъ, степенью ея близости къ идеалу матери и семьянинки. Его отрицаніе обращается противъ тѣхъ женщинъ, которыя позволили восторжествовать въ себѣ инстинктамъ, уничтожившимъ въ нихъ матерей и женъ. Его идеалъ—тѣ, кто побѣдилъ эти инстинкты. Другихъ оцѣнокъ у Толстого почти нѣтъ. Женщина внѣ семьи, женщина въ ея стремленіи къ обществен-

ной дѣятельности, къ участію въ умственной и политической жизни страны для Толстого не существуетъ. Кити и Левинъ, Ростовъ и Марья, Пьеръ и Наташа, эти пары, въ лицѣ которыхъ идеализирована старая барская семья, — семья, гдѣ мужъ занятъ дѣлами по имѣнію, умственной и служебной жизнью, а жена— кухней и дѣтской,—эти пары представляютъ собою несомнѣнный идеалъ Толстого. Въ изображеніи жизни Пьера и Наташи Толстой самъ подвелъ итоги этому идеалу женщины. Въ чемъ же онъ заключается? Прежде всего служеніе семьѣ. „Предметъ, въ который погрузилась вполнѣ Наташа, была семья, т.-е. мужъ котораго нужно было держать такъ, чтобы онъ нераздѣльно принадлежалъ ей, дому, и дѣти, которыхъ надо было носить, рожать, кормить и воспитывать". Что касается мужа, то изъ его жизни Наташа исключила все, что могло бы послужить ущербомъ для общихъ интересовъ семьи, но взамѣнъ того она считала своимъ долгомъ удовлетворять всѣ его малѣйшія желанія, которыя представлялись ей законными. Съ первыхъ дней супружества она заявила свои требованія. Пьеръ удивился очень этому новому для него воззрѣнію жены, состоявшему въ томъ, что каждая минута его жизни принадлежитъ ей и семьѣ. Онъ удивился этимъ требованіямъ, но „былъ польщенъ" и подчинялся имъ. „Подвластность Пьера заключалась въ томъ что онъ не смѣлъ не только ухаживать, но не смѣлъ съ улыбкой говорить съ другой женщиной, не смѣлъ ѣздить въ клубы на обѣды, *такъ*, для того, чтобы провести время, не смѣлъ расходовать деньги для прихотей" и т. д. Отлучки изъ дому допускались только по дѣламъ, въ которыя Наташа включила и занятія науками. „Взамѣнъ этого, Пьеръ имѣлъ полное право у себя въ домѣ располагать не только самимъ собою, какъ онъ хотѣлъ, но и всей семьей. Наташа у себя въ домѣ ставила себя на ногу рабы мужа, и весь домъ

ходилъ на цыпочкахъ, когда Пьеръ занимался—читалъ или писалъ въ своемъ кабинетѣ. Стоило Пьеру показать какое-нибудь пристрастіе, чтобы то, что онъ любилъ, постоянно исполнялось". Она угадывала его желанія, опредѣляла ихъ съ намека, и „образъ, мѣсто жизни, знакомства, связи, занятія Наташи, воспитаніе дѣтей",—все это дѣлалось согласно волѣ Пьера, или прямо выраженной или угаданной. Осталось ли что-нибудь въ Наташѣ изъ того, что нѣкогда составляло ея красоту? Она безжалостно покончила съ прошлымъ. Она „бросила сразу всѣ свои очарованія", и въ томъ числѣ самое сильное — пѣніе. Она не только покинула прежнее кокетство, перестала „взбивать локоны, надѣвать роброны и пѣть романсы", она пошла дальше и опустилась до небрежности и неряшества, избѣгала общества и любила только тѣхъ людей, къ которымъ она могла выйти большими шагами, растрепанная, въ халатѣ, и которымъ она могла сообщить послѣднія свѣдѣнія о состояніи желудка у ребенка. Вопросы отвлеченнаго характера не занимали ее. „Толки и разсужденія о правахъ женщинъ, объ отношеніяхъ супруговъ, о свободѣ и правахъ ихъ... эти вопросы не только не интересовали Наташу, но она рѣшительно не понимала ихъ". Вопросы эти,—замѣчаетъ Толстой,—существовали только для тѣхъ людей, которые въ бракѣ видятъ одно удовольствіе, получаемое супругами другъ отъ друга, т.-е. одно начало брака, а не все его значеніе. Наташа просто слишкомъ была занята семьей, чтобы думать объ этихъ вопросахъ. Ей „нуженъ былъ мужъ". Мужъ былъ ей данъ; онъ далъ ей семью, и „такъ какъ всѣ силы душевныя ея были устремлены на то, чтобы служить этому мужу и семьѣ, она и не могла себѣ представить и не видѣла никакого интереса въ представленіи о томъ, что было бы, если бы было другое".

„Анной Карениной" заканчивается тотъ періодъ ли-

тературной дѣятельности Толстого, который относится къ интересующей насъ эпохѣ. Тургеневъ изобразилъ кающееся дворянство и кончилъ пессимизмомъ. Толстой увѣковѣчилъ высшій слой этого дворянства. Поэтому „ненужность“ этого класса, а вмѣстѣ съ нимъ и той культуры, той жизни, въ которой онъ вѣками игралъ роль командующаго класса, выступила въ твореніяхъ Толстого съ неотразимой ясностью. Но Толстой не впалъ въ отчаяніе, не пошелъ по пути Тургенева. Онъ хотѣлъ вернуть высшій классъ общества къ его вѣковой роли, къ землѣ и къ мужику, къ той сѣрой безыскусственной жизни массъ, отъ которой уходили крупные землевладѣльцы, гонимые ростовщиками, мануфактурами и собственной распущенностью. И этотъ могучій порывъ совѣсти, проснувшейся отъ сотрясенія старыхъ формъ хозяйственной жизни, разрастется впослѣдствіи въ душѣ великаго аристократа въ безпримѣрный по своей силѣ и мощи протестъ противъ всякаго тунеядства и всякаго командованія, прозвучитъ по всему міру призывомъ къ простой и естественной жизни, къ освобожденію изъ сѣтей ложной культуры.

VIII.

Д. В. Григоровичъ.— Впечатлѣнія дѣтства: ужасы крѣпостного права, французскіе уроки, камердинеръ.— Литературныя знакомства и вліянія.—Исторія появленія „Деревни“ и „Антона Горемыки“ и отзывъ Бѣлинскаго объ этихъ повѣстяхъ. — Фальшивый тонъ въ послѣдующихъ произведеніяхъ Григоровича. — Главныя черты, отличающія повѣсти „Деревня“ и „Антонъ Горемыка“: пессимизмъ и реализмъ.— Изображеніе помѣщиковъ и семейной жизни крестьянина въ „Деревнѣ“.— Безправіе и нужды крестьянства въ повѣсти „Антонъ Горемыка“.— „Рыбаки“.— Заключеніе.

Въ декабрьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ за 1846 годъ почти одновременно съ „Хоремъ и Калинычемъ“ (былъ напечатанъ въ первой книжкѣ „Современника“ за 1847 годъ) появился разсказъ Д. В.

Григоровича „Деревня“. Этотъ разсказъ былъ такимъ же крупнымъ событіемъ, какъ и знаменитый разсказъ Тургенева. Григоровичъ можетъ занять почетное мѣсто въ исторіи просвѣщеннаго кающагося барства, стремившагося уплатить народу вѣковой долгъ дворянства. Въ одномъ отношеніи онъ даже ушелъ дальше Тургенева и Толстого въ этомъ благородномъ стремленіи: у Григоровича мужикъ занимаетъ центральное мѣсто въ его повѣствованіи, а не является фономъ, на которомъ развертывается исторія душевныхъ мукъ тоскующаго и ищущаго дворянства. Съ горькой ироніей говоритъ онъ въ „Деревнѣ“ о помѣщикѣ, прихоть котораго погубила несчастную Акулину: „Хотя разсказчикъ этой повѣсти чувствуетъ неизъяснимое наслажденіе говорить о просвѣщенныхъ, образованныхъ и принадлежащихъ къ высшему классу людяхъ; хотя онъ вполнѣ убѣжденъ, что самъ читатель несравненно болѣе интересуется ими, нежели грубыми, грязными и вдобавокъ еще глупыми мужиками и бабами, однако-жъ, онъ перейдетъ скорѣе къ послѣднимъ, какъ лицамъ, составляющимъ — увы! — главный предметъ его повѣствованія“. И въ то же время, быть-можетъ, никто въ такой степени, какъ Григоровичъ, не доказалъ безсилія тогдашняго барства овладѣть стоявшей передъ нимъ задачей, никто болѣе его не имѣетъ права на имя кающагося дворянина и лишняго человѣка. Критика давно уже установила недостатки разсказовъ Григоровича, давно уже признала, что въ нихъ звучитъ какая-то фальшивая или, по меньшей мѣрѣ, искусственная нота. Эта искусственность заключается въ томъ нѣсколько сантиментальномъ, барски-жалостливомъ отношеніи къ страданіямъ крестьянства, которое отличаетъ автора „Деревни“. И этотъ тонъ, проникающій его разсказы, свидѣтельствуетъ о томъ, что и Григоровичъ сумѣлъ заглянуть въ душу крестьянина только со стороны, что его раз-

сказы такъ же, какъ творенія Тургенева и Толстого были въ концѣ-концовъ скорѣе изображеніемъ тяжелаго душевнаго состоянія барства, чѣмъ раскрытіемъ души русскаго народа. Подобно Тургеневу и Толстому, Григоровичъ пишетъ не для крестьянина, а для барина. Подобно имъ, онъ хочетъ указать путь этому послѣднему, а не первому. „Нѣтъ исхода", — такъ можно формулировать итоги, къ которымъ пришелъ Тургеневъ. „Вернитесь къ землѣ и живите жизнью мужика",— таковъ призывъ, съ которымъ обращается Толстой къ людямъ своего круга. „Пожалѣйте мужика, пролейте слезу надъ его страданіями",—таковъ голосъ, звучащій въ разсказахъ Григоровича. Ни одному изъ этихъ трехъ представителей передовой дворянской литературы не пришло въ голову искать отвѣта внѣ своей среды. Въ самомъ ихъ смиреніи передъ мужикомъ, въ самой идеализаціи его слышится голосъ людей, воспитанныхъ въ сознаніи, что судьбы страны въ цѣломъ зависятъ отъ того, какъ поведутъ себя высшіе, а не низшіе классы. Въ этой инстинктивной вѣрѣ и заключается то общее, что роднитъ этихъ трехъ писателей при всемъ несходствѣ ихъ талантовъ и воззрѣній. Они не видѣли, или, если видѣли, то плохо понимали начинавшееся въ низахъ броженіе, которое одно рано или поздно опрокинетъ вѣковые устои насилія и несправедливости. Они остались внѣ тѣхъ путей, которыми должна была пойти Россія по смыслу исторіи, и ихъ положительные идеалы остались навсегда гуманнымъ порывомъ, лишеннымъ реальной почвы.

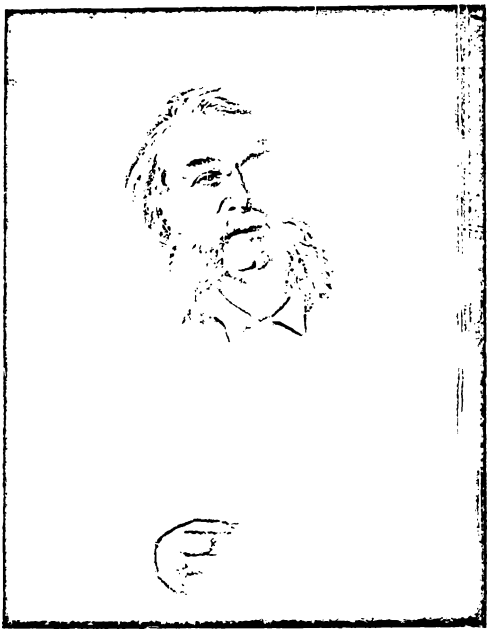
Дѣтство Григоровича богато общими для тогдашняго барства, не разъ здѣсь отмѣченными впечатлѣніями. Потрясающій эпизодъ изъ картинъ крѣпостного права, французскій языкъ, пансіоны и даже дворовый человѣкъ, обучающій ребенка русскому языку и прививающій ему любовь къ родному народу, — все это мы находимъ въ біографіи Григоровича.

Онъ родился въ 1822 году въ дворянской семьѣ и еще ребенкомъ потерялъ отца, полтавскаго помѣщика и отставного гусара. Мать Григоровича была француженка, дочь роялиста, погибшаго жертвой революціи. Воспитаніемъ мальчика завѣдывала бабушка со стороны матери, „шестидесятилѣтняя старуха, по замѣчательно сохранившаяся, умная, начитанная, вольтерьянка въ душѣ, насквозь пропитанная понятіями, господствовавшими во Франціи въ концѣ прошлаго столѣтія“. Въ своихъ воспоминаніяхъ Григоровичъ разсказываетъ потрясающій фактъ, одинъ изъ тѣхъ эпизодовъ, который всколыхнулъ мысль не одного чуткаго ребенка, вызвалъ на уста не одну „аннибалову клятву“. Ему врѣзался въ память одинъ изъ помѣщичьихъ домовъ, гдѣ пировали круглый годъ, „благо крестьяне, помимо другихъ повинностей, обязаны были поставлять къ барскому столу яйца, куръ, барановъ, грибы, ягоды и проч.“. Это былъ домъ съ многочисленной дворней, шутами, приживальщиками обоего пола. Попавъ туда съ матерью на званый обѣдъ, мальчикъ не могъ оторвать взора отъ маленькаго столика, за которымъ сидѣли шутъ и шутовка „въ желтыхъ халатахъ и колпакахъ съ нашитыми на нихъ изъ краснаго сукна изображеніями звѣрей. Хозяинъ этого дома былъ извѣстенъ во всемъ околоткѣ своей неукротимою строгостью. Когда онъ выѣзжалъ на улицу деревни, въ сопровожденіи крѣпостного Грызлова, его экзекутора или, вѣрнѣе, домашняго палача, ребятишки стремглавъ ныряли въ подворотни, бабы падали ничкомъ, у мужиковъ ознобъ пробѣгалъ по тѣлу. Его боялись всѣ домашніе, начиная съ жены. Побѣждая въ себѣ робость, намолившись и накрестившись въ образной, жена рѣшалась иногда просить мужа отпустить ее въ Москву для свиданія съ родственниками. Мужъ иногда соглашался, призывалъ къ себѣ тогда Грызлова и отдавалъ ему такое приказаніе: „Марья Ѳедо-

ровна въ Москву собирается; нужны деньги... Проѣзжая по деревнямъ, я видѣлъ много тамъ этой мелкоты, шушеры накопилось,—распорядись!“ Это значило, что Грызлову поручалось объѣхать деревни помѣщика, забрать по усмотрѣнію лишнихъ дѣтей и дѣвокъ, продать ихъ, а деньги доставить помѣщику. Самъ Григоровичъ говоритъ о томъ, какое сильное впечатлѣніе производили на него подобные разсказы о жизни помѣщиковъ. Другое яркое воспоминаніе дѣтства, это—уроки французскаго языка. Особенно тяжело достались будущему писателю глаголы „être“ и „avoir“, изъ-за которыхъ онъ пролилъ немало слезъ. До восьми лѣтъ мальчикъ не видалъ ни одной русской книги и, вѣроятно, никогда не научился бы родному языку, если бы не простые дворовые люди, не разъ игравшіе такую огромную роль въ развитіи нашихъ великихъ писателей. Воспоминанія Григоровича о камердинерѣ Николаѣ дышатъ такой любовью, какой проникнуты были стихи Пушкина, посвященные его нянѣ. „Онъ любилъ меня, какъ-будто я десять разъ былъ его роднымъ сыномъ, какъ-будто отецъ мой, передъ памятью котораго онъ благоговѣлъ, завѣщалъ ему утѣшать меня, любить и ласкать. О немъ можно сказать то же, что Филаретъ сказалъ о русскомъ народѣ: *въ немъ свѣту мало, но теплоты много.* По цѣлымъ часамъ караулилъ онъ, когда меня пустятъ гулять, бралъ на руки, водилъ по полямъ и рощамъ, разсказывалъ разныя приключенія и сказки. Не помню, конечно, его разсказовъ, помню только его ласковое сердечное обращеніе; за весь холодъ и одиночество моей дѣтской жизни я отогрѣвался только, когда былъ съ Николаемъ. Когда рѣшено было везти меня въ Москву и наступила минута разставанья съ Николаемъ, я, какъ изступленный, съ крикомъ бросился ему на шею, истерически рыдалъ, кричалъ и такъ крѣпко обхватилъ его руками, что пришлось силой меня оторвать“.

За этими впечатлѣніями дѣтства слѣдуетъ московская гимназія, въ которой Григоровичъ пробылъ всего два мѣсяца и запомнилъ только мальчиковъ, трунившихъ надъ нимъ и кричавшихъ ему надъ ухо: „команъ ву франсе“, и мучительные уроки, на которыхъ онъ постоянно терялъ голову, такъ какъ плохо читалъ по-русски и притомъ съ иностраннымъ акцентомъ. Далѣе, пансіонъ Монигетти, куда перевели мальчика, чуть не заболѣвшаго въ гимназіи нервной горячкой. У Монигетти Григоровичъ чувствовалъ себя хорошо, но, по его собственнымъ словамъ, его „умственныя способности не двинулись ни на одинъ градусъ“ за три года пребыванія въ пансіонѣ. По выходѣ изъ пансіона мальчикъ также случайно попадаетъ въ военное инженерное училище, только потому, что мать его въ разговорѣ съ другой дамой услыхала, что инженерное училище считается первымъ военно-учебнымъ заведеніемъ въ Россіи. Здѣсь Григоровичъ между прочимъ познакомился съ Достоевскимъ, который оказалъ на будущаго писателя большое вліяніе. „Первыя литературныя сочиненія, — разсказываетъ Григоровичъ, — читанныя мною на русскомъ языкѣ, были мнѣ сообщены Достоевскимъ“. Черезъ одного изъ своихъ товарищей Григоровичъ познакомился съ Некрасовымъ. Любовь къ чтенію и пристрастіе къ живописи, къ которой Григоровичъ почувствовалъ склонность очень рано, вредно отражались на его занятіяхъ въ инженерномъ училищѣ. Въ праздничные дни онъ посѣщалъ академію художествъ и бралъ тамъ уроки живописи и рисованія у одного художника. Наконецъ, счастливый случай избавилъ Григоровича отъ инженернаго училища. Однажды онъ не замѣтилъ великаго князя, проѣзжавшаго мимо него. Великій князь подозвалъ его, и, подъ вліяніемъ паническаго страха, юноша бросился въ какой-то картинный магазинъ, гдѣ хозяинъ, сжалившись надъ его судьбой, скрылъ его у

себя въ семьѣ. Григоровичъ разсчитывалъ, что великій князь не замѣтилъ его формы. Но по прибытіи въ училище онъ узналъ, что случай уже сталъ извѣстенъ, и „кондуктору“ (такъ называли воспитанниковъ училища) оставалось только сознаться въ своемъ преступленіи. Его привели во дворецъ. Великій князь велѣлъ посадить его подъ арестъ. Григоровичъ заболѣлъ, и перепуганная мать рѣшила его взять изъ училища. Онъ поступаетъ въ академію художествъ. Его пребываніе въ академіи ознаменовано первой любовью. Григоровичъ страстно влюбился въ воспитанницу театральной школы и былъ нѣкоторое время въ сильномъ отчаяніи, когда мать строго запретила ему жениться на ней. Своего художественнаго образованія Григоровичъ тоже не довелъ до конца и поступилъ на службу въ канцелярію директора театровъ Гедеонова. Эта служба дала ему возможность стать ближе къ театральнымъ, а впослѣдствіи къ литературнымъ кругамъ. Григоровичъ самъ сталъ писать, но первыя его вещи были пустяки, написанные по заказу. Болѣе интереса представляетъ исторія очерка „Шарманщики“, написаннаго для затѣяннаго Некрасовымъ изданія „Физіологія Петербурга“,—она свидѣтельствуетъ о томъ, какой сильный толчокъ развитію реалистическаго направленія далъ Гоголь, въ духѣ котораго стала воспитываться литературная молодежь. „Писать наобумъ, дать волю своей фантазіи, сказать себѣ: „и такъ сойдетъ!“—казалось мнѣ равносильнымъ безчестному поступку; у меня, кромѣ того, тогда уже пробуждалось влеченіе къ реализму, желаніе изображать дѣйствительность такъ, какъ она въ самомъ дѣлѣ представляется, какъ описываетъ ее Гоголь въ „Шинели“—повѣсти, которую я съ жадностью перечитывалъ. Я прежде всего занялся собираніемъ матеріала. Около двухъ недѣль бродилъ я по цѣлымъ днямъ въ трехъ Подъяческихъ улицахъ, гдѣ преимущественно сели-



лись тогда шарманщики, вступалъ съ ними въ разговоръ, заходилъ во всевозможныя трущобы, записывалъ потомъ до мелочи все, что видѣлъ и о чемъ слышалъ". Этотъ разсказъ—яркій моментъ въ исторіи русской литературы, эпизодъ, одинаково характерный и для „Записокъ охотника". Изученіе жизни, почти научное изслѣдованіе ея стало одной изъ задачъ литературы, покончившей съ романтизмомъ и вступившей на путь реализма. Писатели, художники бросались во всѣ уголки Россіи, стараясь поскорѣе собрать матеріалы для предстоявшей великой работы, и литература становилась союзницей общественной науки и публицистики. Большую пользу принесло Григоровичу знакомство съ кружкомъ братьевъ Бекетовыхъ, молодыхъ естественниковъ, у которыхъ онъ встрѣчалъ много выдающихся людей, между прочимъ Достоевскаго и поэта А. Н. Плещеева. Кружокъ этотъ оказалъ на него большое вліяніе въ томъ смыслѣ, что заставилъ его впервые серьезно взглянуть на жизнь и задуматься надъ цѣлымъ рядомъ вопросовъ. До тѣхъ поръ, по его собственнымъ словамъ, Григоровичъ читалъ много, но безъ всякаго выбора и системы, совершенно не интересовался общественными вопросами. Въ кружкѣ Бекетовыхъ онъ впервые услышалъ „живое слово, отрезвляющее умъ отъ легкомыслія"; его самолюбію стало больно за его отсталость, онъ понялъ незначительность и незрѣлость своихъ прежнихъ произведеній, понялъ, что „дальше такъ идти нельзя", чувствовалъ, что „можетъ что-то сдѣлать", но для этого нужны другія условія, и прежде всего необходимо „разстаться съ праздной жизнью" въ Петербургѣ. Въ 1846 году онъ уѣхалъ въ деревню къ матери и здѣсь набрелъ, наконецъ, на случай, который послужилъ сюжетомъ для перваго крупнаго произведенія.

„Къ матушкѣ,—разсказываетъ Григоровичъ,—привезли больную молодую бабу. За обѣдомъ матушка

разсказала ея исторію. Ее противъ воли выдали замужъ за грубаго молодого парня, котораго тоже приневолили взять ее въ жены; онъ возненавидѣлъ ее, чему немало способствовали его сестры, началъ ее бить въ трезвомъ и пьяномъ видѣ и заколотилъ почти до смерти; баба была въ злѣйшей чахоткѣ и врядъ ли могла пережить весну. Она говорила, что ей легче умереть, чѣмъ жить; ее сокрушала только судьба дочки, двухлѣтней дѣвочки: „онъ и ее заколотитъ на смерть",—говорила она. Разсказъ этотъ произвелъ на меня сильное впечатлѣніе. Сюжетъ повѣсти былъ найденъ. Я тотчасъ же принялся его обдумывать и приводить въ повѣствовательную форму". И къ этому сюжету Григоровичъ отнесся съ такою же добросовѣстностью, какъ и къ „Шарманщикамъ". Первыя главы повѣсти стоили ему неимовѣрнаго труда. Онъ бился надъ каждой фразой, такъ какъ французскій языкъ давалъ себя чувствовать. Знакомый съ простонароднымъ русскимъ языкомъ только по рѣдкимъ книгамъ, которыя ему удавалось читать, онъ принялся усердно изучать его практически, проводилъ часы на мельницѣ, пользовался всякимъ случаемъ, чтобы побесѣдовать съ крестьянами, прислушивался къ ладу ихъ рѣчи, записывалъ выраженія, казавшіяся ему особенно живописными и характерными. Послѣ четырехъ мѣсяцевъ усидчивой работы повѣсть была готова, и Григоровичъ, полный самыхъ радужныхъ надеждъ, повезъ ее въ Петербургъ. Но Некрасовъ, заваленный дѣлами, продержавъ ее нѣсколько мѣсяцевъ, вдругъ возвратилъ ее автору, заявивъ, что не находитъ удобнымъ печатать ее въ „Современникѣ". Григоровичъ вынесъ убѣжденіе, что Некрасовъ не читалъ ея и просто хотѣлъ отдѣлаться. Благодаря встрѣчѣ у Бекетовыхъ съ извѣстнымъ критикомъ Валеріаномъ Майковымъ Григоровичу удалось напечатать ее въ декабрьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ". Бѣлинскій ото-

звался съ похвалой о „Деревнѣ“, и слѣдующая повѣсть „Антонъ Горемыка“ была уже напечатана въ „Современникѣ“ въ 1847 году. Исторія обстоятельствъ, которыми сопровождалось появленіе этого разсказа,— новая характерная страница въ исторіи цензуры. Послѣдняя не разрѣшила печатать „Антона Горемыку“ на томъ основаніи, что „бѣдственное состояніе крестьянина представлено въ слишкомъ мрачныхъ краскахъ“. Разсказъ былъ спасенъ благодаря заступничеству цензора Никитенко. Комитетъ согласился пропустить повѣсть подъ условіемъ уничтоженія послѣдней главы. „Она,—разсказываетъ Григоровичъ,—кончалась у меня тѣмъ, что крестьяне, доведенные до крайности злоупотребленія управляющаго, зажигаютъ его домъ и бросаютъ его въ огонь. А. В. Никитенко, не сказавъ никому ни слова, сочинилъ конецъ, въ которомъ управляющій остается неприкосновеннымъ, а возмутившіеся крестьяне, передъ тѣмъ, чтобы быть отправленными на поселеніе, каются въ своихъ дѣйствіяхъ и просятъ прощенія“.

Обѣ повѣсти Григоровича были встрѣчены сочувственнымъ отзывомъ Бѣлинскаго. Если разборъ „Деревни“ отличался сдержанностью (благодаря тому, что повѣсть была напечатана въ „Отечественныхъ Запискахъ“, а статья Бѣлинскаго въ „Современникѣ“), то „Антона Горемыку“ Бѣлинскій встрѣтилъ восторженно. Бѣлинскій правильно угадалъ главную черту таланта Григоровича. „Что касается собственно до очерковъ крестьянскаго быта, это блестящая сторона произведенія Григоровича, — писалъ Бѣлинскій по поводу „Деревни“.— Онъ обнаружилъ тутъ много наблюдательности и знанія дѣла и умѣлъ высказать то и другое въ образахъ простыхъ, истинныхъ, вѣрныхъ, съ замѣчательнымъ талантомъ. Его „Деревня“—одно изъ лучшихъ беллетристическихъ произведеній прошлаго года“. Вмѣстѣ съ тѣмъ Бѣлинскій находилъ, однако,

что у Григоровича нѣтъ „ни малѣйшаго таланта въ повѣсти“, но есть „замѣчательный талантъ для тѣхъ очерковъ общественнаго быта, которые теперь получили въ литературѣ названіе „физіологическихъ“. Фигуру Акулины критикъ нашелъ „довольно безцвѣтной и неопредѣленной“. Но уже восторженно звучитъ отзывъ о второй повѣсти, когда критикъ не былъ связанъ редакціонными соображеніями. Бѣлинскій даже какъ-будто измѣняетъ свой прежній взглядъ и замѣчаетъ: „Деревня“ и особенно „Антонъ Горемыка“ идутъ гораздо дальше физіологическихъ очерковъ. „Антонъ Горемыка“—больше, чѣмъ повѣсть: это романъ, въ которомъ все вѣрно основной идеѣ, все относится къ ней, завязка и развязка свободно выходятъ изъ самой сущности дѣла. Несмотря на то, что внѣшняя сторона разсказа вся вертится на пропажѣ мужицкой лошаденки; несмотря на то, что Антонъ—мужикъ простой, вовсе не изъ бойкихъ и хитрыхъ, онъ—лицо трагическое въ полномъ значеніи этого слова. Эта повѣсть трогательная, по прочтеніи которой въ голову тѣснятся мысли грустныя и важныя“. Бѣлинскій въ заключеніе выражаетъ пожеланіе, чтобы Григоровичъ продолжалъ идти по этой дорогѣ, на которой отъ его таланта можно ожидать такъ много. „И пусть,—заканчиваетъ критикъ свой отзывъ,—онъ не смущается бранью хулителей; эти господа полезны и необходимы для вѣрнаго опредѣленія объема таланта; чѣмъ большая ихъ стая бѣжитъ вслѣдъ успѣха, тѣмъ, значитъ, успѣхъ огромнѣе“. „Деревня“ и „Антонъ Горемыка“ принадлежатъ къ числу лучшихъ произведеній Григоровича. Быть-можетъ, это даже единственныя повѣсти, которыми опредѣляется его почетная роль въ исторіи нашей литературы. Въ нихъ дѣланный сантиментализмъ не такъ чувствуется. Искренній порывъ состраданія къ угнетенному народу, благородное стремленіе добросовѣстно изучить и въ

художественныхъ образахъ запечатлѣть его бытъ составляютъ неотъемлемыя достоинства этихъ двухъ произведеній, которыя остались не только славными памятниками въ исторіи передового барства, но даже и теперь не утратили извѣстнаго обаянія. Но въ этихъ повѣстяхъ Григоровичъ вылился весь. Ему нечего было больше сказать обществу. Его послѣдующіе большіе романы „Рыбаки", „Переселенцы", „Проселочныя дороги", появившіеся въ 50-хъ годахъ, не обладали художественными достоинствами. Григоровичъ не обладалъ чувствомъ мѣры. Онъ не умѣлъ сосредоточить дѣйствія около одной основной интриги, и его романы выходили скучными и растянутыми. Такъ же неудачны были его повѣсти, изображающія бытъ городскихъ интеллигентовъ, пустоту свѣтской жизни, внутренній міръ петербургскихъ фатовъ. Нѣкоторыя достоинства автора, его наблюдательность, тонкіе и мѣткіе отдѣльные штрихи не могли искупить отсутствія глубины и умѣнья широко захватывать изображаемую среду. Правда, въ „Рыбакахъ", „Переселенцахъ" и другихъ повѣстяхъ изъ крестьянской жизни лучшія качества литературнаго таланта Григоровича продолжаютъ сказываться: онъ остается въ нихъ тонкимъ, наблюдательнымъ, талантливымъ живописцемъ, бытописателемъ, гуманнымъ и просвѣщеннымъ врагомъ насилія и рабства. Но въ изображеніи чувствъ мужика, его любви, въ описаніи его признаній звучатъ фальшивыя ноты,—видна рука культурнаго человѣка, переносящаго барскія переживанія въ душу простого человѣка. И недаромъ за этими крестьянами утвердилась репутація „пейзанъ", списанныхъ у Жоржъ Сандъ. Въ 1858 году Григоровичъ совершилъ большое морское путешествіе, результатомъ чего явился „Корабль Ретвизанъ", описаніе этого путешествія. Въ 60-хъ годахъ Григоровичъ прекращаетъ надолго свою литературную дѣятельность и только въ 80-хъ годахъ возвращается

къ ней и пишетъ рядъ разсказовъ. Въ 1893 году появляются его „Литературныя воспоминанія“, въ которыхъ онъ сообщаетъ немало интересныхъ фактовъ о своихъ великихъ современникахъ-писателяхъ, хотя не всегда безпристрастно освѣщаетъ событія. Скончался онъ въ декабрѣ 1899 года.

„Деревня“ и „Антонъ Горемыка“ проникнуты однимъ настроеніемъ. Безнадежной тоской и безысходнымъ отчаяніемъ вѣетъ отъ этихъ разсказовъ. Изба, жалкая изба горемычнаго Антона—символъ той приниженности, нищеты и горя, которыя свили себѣ гнѣздо въ русской деревнѣ. Эта изба бросалась въ глаза своей ветхостью: одинъ бокъ ея, примыкавшій къ околицѣ, почти сгнилъ до-тла, отчего остальная часть зданія покачнулась и сѣла на ту сторону. Кровля отъ тяжести давившей ее когда-то соломы приняла совершенно другое направленіе: она сползла напередъ и грозила ежеминутнымъ паденіемъ. Трубы не было, ее замѣнялъ глиняный горшокъ съ выбитымъ дномъ для дыму. Деревянный пѣтушокъ, красовавшійся, вѣроятно, въ лучшія времена на макушкѣ крыши, принялъ также свое направленіе во время общаго обвала и уныло свѣсился влѣво. Единственное оконце, заткнутое лохмотьями и обмазанное кругомъ глиною, глядѣло невыразимо кисло. Изба со всѣхъ сторонъ подпиралась сучковатыми плахами, уподоблявшими ее согбенному старику-нищему, наступившему на костыли свои, — словомъ, все на ней, какъ говорится, было и валко, и шатко, и на сторону. Невыразимо тяжело и грустно становилось на сердцѣ, глядя на это жилище...

Или вотъ другая картина: „Осень. На дворѣ холодно; частый дождь превратилъ улицу въ грязную лужу; густой туманъ затянулъ село, и едва виднѣются, сквозь минутную сквозвину его, ветхія лачуги и обнаженныя нивы. Рѣзкій вѣтеръ раскачиваетъ

ворота и мечетъ по полямъ съ какимъ-то заунывнымъ болѣзненно хватающимъ за сердце воемъ груды пожелтѣвшихъ листьевъ. Улица пуста,—ни живой души... Все живущее прячется кто куда можетъ, лишь бы укрыться отъ холода и ненастья"... И только иногда въ упоительный лѣтній день слышится ликованіе во всей природѣ, во всемъ мірѣ, „все трепещетъ жизнью, все проникнуто ею; каждая травка, каждое растеніе издаетъ какой-то шелестъ, сливающійся въ стройную, нѣжную гармонію; все, на что устремляются взоры, наполняетъ душу радостнымъ, непостижимо-прекраснымъ чувствомъ". Но и это ликованіе природы только ярче оттѣняетъ безпросвѣтную тоску деревни, бездонное море крестьянскихъ слезъ. Эти грустныя картины—лучшіе моменты обѣихъ повѣстей. Въ нихъ звучитъ больше участія къ меньшему брату, чѣмъ въ „Запискахъ охотника" или въ „Утрѣ помѣщика". Въ нихъ нѣтъ идиллическаго благодушія и патріархальнаго примиряющаго чувства, которое смягчало тоску передового барства. Мракъ, безпросвѣтный мракъ окуталъ деревню въ изображеніи Григоровича. Нигдѣ ни одной смягчающей краски. Ни одного свѣтлаго явленія, на которомъ могъ бы отдохнуть взоръ читателя. И если мрачныя картины разсчитаны на то, чтобы пробудить состраданіе въ сердцахъ угнетателей, а не злобу и месть въ сердцахъ угнетенныхъ, то онѣ выполняютъ эту задачу съ успѣхомъ. Авторъ не щадитъ нервовъ читателей, онъ разрываетъ его сердце потрясающими картинами, и эти картины явились во́-время, когда сотрясался уже старый хозяйственный строй. Онѣ были симптомомъ, показателемъ и раньше попытокъ Нехлюдова и тоски Рудина озарили муки проснувшейся дворянской совѣсти.

Мрачное настроеніе, проникающее обѣ повѣсти, составляетъ ихъ основную черту. Но это настроеніе не превращаетъ автора въ тенденціознаго писателя,

искажающаго дѣйствительность въ угоду идеѣ. Напротивъ, Григоровичъ былъ писатель-реалистъ прежде всего. Онъ—почти собиратель документовъ, касающихся народнаго быта. Онъ пользуется каждымъ фактомъ для того, чтобы сообщить читателю то или другое свѣдѣніе относительно народныхъ обычаевъ и иногда изъ роли художника переходитъ въ роль этнографа. Этотъ интересъ къ народному быту, это стремленіе къ изученію народной жизни, такъ долго бывшей въ пренебреженіи у высшихъ классовъ, является второй характерной чертой творчества Григоровича. Не только славянофилы, обогатившіе русскую литературу цѣнными трудами, касавшимися различныхъ сторонъ народной жизни, — всѣ бросились изучать ее въ эпоху, когда явилась необходимость заплатить свой долгъ передъ русскимъ крестьяниномъ. Григоровичъ въ этомъ отношеніи, — быть-можетъ, наиболѣе характерный писатель эпохи. Мы уже видѣли, какъ добросовѣстно онъ изучилъ деревню, прежде чѣмъ приступилъ къ своей работѣ. И дѣйствительно, въ его повѣстяхъ немало интересныхъ свѣдѣній. Разсказывая о томъ, какъ послѣ смерти скотницы, ея родственницы рѣшили жребіемъ опредѣлить, кому достанется оставшаяся послѣ нея сиротка, — авторъ сообщаетъ, что этотъ способъ рѣшаетъ въ деревняхъ всякаго рода недоразумѣнія. У него же мы находимъ свѣдѣнія въ родѣ слѣдующаго: „Слово *авось* играетъ у насъ, какъ извѣстно, и понынѣ весьма важную роль и прикладывается русскимъ мужикомъ не только къ его собственному житью-бытью, но даже къ житью-бытью дѣтей его. Самый нѣжный отецъ, самая заботливая мать съ невыразимой безпечностью представляютъ свое дѣтище на волю судьбы, нисколько не думая даже о физическомъ развитіи ребенка, которое считается у нихъ главнымъ и въ то же время единственнымъ, ибо ни о какомъ другомъ и мысль не заходитъ

имъ въ голову. Не успѣетъ еще ребенокъ освободиться отъ пеленъ, какъ уже поручаютъ его сестрѣ, дѣвчонкѣ лѣтъ четырехъ или пяти, которая нянчится съ нимъ по-своему, т.-е. мнетъ и теребитъ его во сколько хватаетъ силенки, а иногда такъ пристукнетъ, что и черезъ двадцать лѣтъ отзовется". Эти свѣдѣнія были открытіемъ для русскаго общества, которое впервые узнавало о томъ, что милліоны дѣтей оставались безъ призора, что дѣти, отмораживающія себѣ ноги, заподанныя быками, топущія въ ушатѣ или раздавленныя крестьянской телѣгой, представляютъ обычныя явленія въ крестьянскомъ быту. Эта черта творчества Григоровича была чертой того благороднаго реализма, который Бѣлинскій сумѣлъ опредѣлить благодаря появленію этой новой литературы послѣ Гоголя. Это былъ тотъ реализмъ, который ставитъ задачей художественной литературы собираніе документовъ о человѣкѣ и обществѣ. Этотъ реализмъ расширилъ содержаніе литературы до необъятныхъ предѣловъ, низвелъ ее изъ сферы барскихъ чертоговъ и возвышенныхъ чувствъ въ безпросвѣтный мракъ народнаго невѣжества и горя. Это былъ тотъ реализмъ, который уничтожилъ рѣзкую границу, отдѣляющую науку отъ литературы, и превратилъ писателя въ ученаго изслѣдователя. И именно этотъ реализмъ сдѣлалъ литературную дѣятельность общественнымъ служеніемъ, потому что изображать правдиво бытъ народа, это значило звать къ борьбѣ: факты сами говорили за себя.

Первая повѣсть, „Деревня", раскрываетъ передъ нами главнымъ образомъ семейную жизнь крѣпостного крестьянства и наивное безсердечіе дореформеннаго барства. Безчеловѣчный поступокъ помѣщика производитъ тѣмъ болѣе потрясающее впечатлѣніе, что совершившій его не понималъ того, что творилъ. Онъ не былъ въ сущности злымъ человѣкомъ и, быть-

можетъ, искренне вѣрилъ, что устраиваетъ настоящую счастливую семью. Случайно баринъ, проводившій обыкновенно лѣто за границей или на дачѣ, заглянулъ въ свою деревню, случайно попалась ему на глаза злополучная Акулина, и не въ добрый для нея часъ вздумалъ кузнецъ Силантій просить барина, чтобы пожаловалъ онъ ему невѣсту. И не вздумай баринъ заѣхать въ свое имѣніе, протекла бы молодость Акулины, протекла бы до конца печальная жизнь ея „тихо, безъ треволненій и переворотовъ". Но капризъ барина и его молодой супруги съ трогательными филантропическими наклонностями превратилъ жизнь Акулины въ ужасную трагедію. Кузнецъ хотѣлъ женить своего сына на дѣвкѣ изъ сосѣдней деревни, а капризъ барина заключался въ томъ, чтобы женить его на дѣвкѣ изъ своей деревни, а такъ какъ онъ случайно вспомнилъ объ Акулинѣ, то и приказалъ кузнецу обвѣнчать своего сына съ нею. Авторъ тонко обрисовалъ добродушіе наивнаго деспота, обрушившаго тяжелый ударъ на цѣлую семью, превратившаго въ адъ жизнь двухъ существъ. Тщетно старуха Силантія обнимала ноги барина „съ плачемъ и воплемъ" и умоляла его „не губить парня". Помѣщикъ прогналъ „глупую бабу". Акулина подстерегала барина, собираясь просить его о пощадѣ, но каждый разъ, какъ она видѣла его, рѣшимость покидала ее: „затаивъ дыханіе, дрожа какъ осиновый листъ, пропускала она его мимо, давъ себѣ слово въ слѣдующій же разъ безъ обиняковъ броситься въ ноги къ нему и прямо разсказать, въ чемъ дѣло. Но много разъ на день являлись такіе случаи, и тысячу разъ результатъ выходилъ одинъ и тотъ же". Она не смѣла даже шевельнуться, боясь обратить на себя его вниманіе. Трагическое впечатлѣніе усиливается тѣмъ, что помѣщикъ былъ „человѣкъ добрый, благонамѣренный и отнюдь не давалъ своимъ подчиненнымъ повода трепетать въ

его присутствіи". Онъ шелъ себѣ спокойно, „слегка покуривая сигару, безпечно поглядывая на стороны и не подозрѣвая даже, чтобы за сосѣднимъ плетнемъ или обвалившеюся перегородкой могло происходить что-либо подобное". Барыня, которую едва удалось заманить на лѣто въ деревню, между прочимъ соблазномъ филантропической дѣятельности среди крестьянъ, сначала заинтересовалась судьбою Акулины. Но едва началось вѣнчаніе, она „чувствовала тоску и сильный позывъ къ зѣвотѣ; крестьянская свадьба, заинтересовавшая ее дня три тому назадъ, казалась ей весьма скучнымъ удовольствіемъ; невѣста была глупа и выглядывала настоящимъ уродомъ, женихъ и того хуже". Господа уѣхали домой, а вскорѣ навсегда покинули свою деревню, оставивъ страдать двухъ чуждыхъ другъ другу людей, которыхъ на всю жизнь связала ихъ барская прихоть, подаривъ имъ на прощаніе бѣленькую бумажку и заповѣдавъ жить „мирно и дружно".

Таковы помѣщики въ изображеніи Григоровича. Крестьяне вышли не лучше. Отсутствіе человѣческаго достоинства и какого-нибудь нравственнаго начала, невѣжество и пьянство, воровство и звѣрское безсердечіе,—только эти черты подмѣтилъ авторъ въ крестьянскомъ быту. „Деревня" — печальная картина семейной жизни. Первый день замужества Акулины вполнѣ выразилъ всю ея жизнь, все, что ожидало ее въ будущемъ. Вернувшись домой пьянымъ, Григорій хватилъ ее за волосы и однимъ движеніемъ руки повергъ на землю. „Бѣшенство, казалось, обуяло Григорія; тутъ все разомъ завозилось въ головѣ его: и неволя, съ которою онъ женился, и постороннія непріятности, и хмель, происшествіе утра, — кровь путала его; сначала долго возилъ онъ бѣдную женщину взадъ и впередъ по избѣ, самъ не замѣчая, что безпрерывно стукался по угламъ и прилавкамъ, и, нако-

нецъ, потащилъ ее вонъ". Акулина — типъ забитой русской крестьянки, переходящей изъ однѣхъ рукъ въ другія, типъ, точно выхваченный изъ народной русской пѣсни, поющей о неволѣ и горькой долѣ женщины, выданной замужъ за нелюбимаго человѣка. И недаромъ эпиграфы къ различнымъ главамъ авторъ взялъ изъ народныхъ пѣсенъ:

Ахъ, раскройся, мать-сыра земля,
Поглоти меня, несчастную!..
Ахъ, не жаль-то мнѣ роду-племени,
Не жаль-то мнѣ родимой сторонушки:
Мнѣ жаль-то малое дитятко;
Останется дитятко малешенько,
Малешенько дитятко, глупешенько,
Натерпится холода и голода.

Каждая глава — иллюстрація къ этимъ отрывкамъ. И въ результатѣ этой подневольной жизни — живой трупъ. Черезъ четыре года послѣ замужества трудно было узнать Акулину. „Оставалась только сухая, отцвѣтшая кожа да страшно выглядывавшія кости. Блѣдное лицо, изнуренное тяжкой жизнью и безвременьемъ, покрылось морщинами; скулы сильно выступили подъ мутными впалыми глазами, и вообще по всей физіономіи проскальзывала какая-то ноющая, неотразимая грусть, виднѣлось что-то столь печальное и унылое, что нельзя почти было отыскать въ ней и тѣни былого. Поступь ея стала медленна; идучи, она безпрерывно останавливалась, прикладывала свою тощую руку къ груди, и вслѣдъ за тѣмъ слышался тяжелый, жестокій долго не прерывавшійся кашель. Она, видимо, чахла"... И когда умирала Акулина, ея послѣдняя мольба была объ ея дѣвочкѣ Дунькѣ: „не бей ее". Любовь къ Дунькѣ — единственная свѣтлая точка въ этой мрачной картинѣ. Повѣсть заканчивается потрясающей сценой похоронъ. Въ страшную вьюгу повезъ пьяный Григорій убогій гробъ на кладбище, и вдругъ среди

завыванія вѣтра и шума мятелицы услышалъ крики. То бѣжала за гробомъ Дунька. А вьюга становилась все сильнѣе да сильнѣе; снѣжные вихри и ледяной вѣтеръ преслѣдовали младенца и забивались ему подъ худенькую его рубашонку и обдавали его посинѣвшія ножки, и повергали его въ сугробы... но онъ все бѣжалъ, все бѣжалъ... вьюга все усиливалась, вой вѣтра становился слышнѣе и слышнѣе; то взрывалъ онъ снѣжные хребты и яростно крутилъ ихъ въ замутившемся небѣ, то гналъ передъ собою необозримыя тучи снѣга и, казалось, силился затопить въ немъ поля, лѣса и все Кузьминское со всѣми его жителями, амбарами, угодьями и господскими хоромами"...

„Антонъ Горемыка" служитъ дополненіемъ этой печальной повѣсти, въ которой освѣщенъ семейный бытъ крестьянина и наивная жестокость барства. Во второй повѣсти предъ нами раскрывается весь ужасъ безправія и произвола, жертвой котораго сдѣлался обездоленный горемыка. Управляющій Никита Ѳедоровичъ самой внѣшностью своей производилъ отвратительное впечатлѣніе. На первый взглядъ не было ничего отталкивающаго въ „важности и спокойной гордости", стоявшей всегда въ чертахъ этого человѣка, „сознающаго въ себѣ чувство собственнаго достоинства"; его фигура, напротивъ того, имѣла какую-то пріятную соразмѣрность, даже стройность и была чрезвычайно характерна. „Но если всмотрѣться хорошенько,—говоритъ авторъ,—нельзя было не прочесть въ этихъ сѣрыхъ бойкихъ глазахъ, въ этой толстой круглой головѣ, важно закинутой назадъ, въ этихъ толстыхъ раздувшихся губахъ что-то столь наглое, дерзкое и подлое, что невольно напоминало любимца-камердинера, или дворецкаго, или вообще члена многочисленной семьи мерзавцевъ, богатой избалованной дворни или аристократической передней". Просить

милости у Никиты Ѳедоровича было совершенно напраснымъ дѣломъ. Мужики прекрасно знали это и называли его „колотырникомъ“. Дрался управляющій безъ всякаго повода, колотилъ и бабъ, и мужиковъ; „просто, здорово живешь, казнитъ нашего брата“,—разсказывали про него крестьяне. Карьеру свою онъ сдѣлалъ нечистыми путями. Старый баринъ выдалъ за него свою любовницу. Она и выпросила для своего мужа мѣсто управляющаго. Въ безконтрольное распоряженіе этого человѣка была отдана судьба сотенъ людей. Тяжелая картина безправія и насилія раскрывается въ разсказѣ одного изъ мужиковъ. Послѣ смерти стараго барина молодые господа, сынъ и дочь его, поселились въ Петербургѣ. Они никогда не заглядывали въ свою деревню, и смущенный крестьянскій умъ не винилъ ихъ: „они рады бы, можетъ, особливо баринъ, въ чемъ помочь мужикамъ своимъ, да вишь отъ нихъ все шито да крыто; имъ сказываютъ: то хорошо, другое хорошо, знато, молъ, жить вашимъ крестьянамъ, ну, и ладно, они тому и вѣрятъ, а господа хорошіе, грѣхъ сказать“. Они души не чаяли въ управляющемъ. Доведенные до отчаянія, мужики отправили къ господамъ жалобу. Но письмо не дошло по назначенію, такъ какъ Никита Ѳедоровичъ имѣлъ своихъ друзей при господахъ. Узнавъ о жалобѣ, управляющій созвалъ мужиковъ и потребовалъ назвать виновника. Трепеща отъ ужаса, мужики почему-то рѣшили сдѣлать козломъ отпущенія Антона: „маленько мы поплошали, тогда сробѣли“. Съ тѣхъ поръ началась казнь Антона. Его брата Ермолая, женатаго парня, Никита Ѳедоровичъ „записалъ въ первое рекрутство“, а Антона сталъ тягать на барщину безъ перерыва. Запустилъ Антонъ собственную землю, братнина семья у него же на рукахъ осталась. Далѣе, у Антона отняли его участокъ земли и дали ему самый плохой во всей вотчинѣ. Сталъ разоряться нѣкогда зажиточный

мужикъ, сталъ продавать то лошадку, то корову, то овцу. И продавалъ за безцѣнокъ, такъ какъ управляющій не пускалъ его въ городъ, и приходилось сбывать все въ деревнѣ, гдѣ неимущіе мужики платили гроши. „Такъ-таки совсѣмъ и разорилъ его, — заканчиваетъ свой разсказъ крестьянинъ, — довелъ дотолѣва, что не осталось у него въ домѣ ни полщепочки, живетъ какъ бы день къ вечеру, и голодную собаку нечѣмъ стало изъ-подъ лавки выманить“. По отношенію къ господамъ Никита Ѳедоровичъ держится искусной политики. Онъ прекрасно изучилъ ихъ и знаетъ, какъ вести себя, чтобы сохранить ихъ безусловное довѣріе. Собравъ оброкъ, онъ не посылаетъ денегъ барину, такъ какъ черезъ своего брата, состоящаго при баринѣ, знаетъ, что деньги ему теперь не нужны и что баринъ „опять сталъ ѣздить на игру“. Меня не учить,—говоритъ Никита Ѳедоровичъ женѣ,—я вѣдь знаю, какъ съ ними справляться, съ господами-то: „нѣтъ у меня денегъ“, написалъ ему, да и баста! „паръ, молъ, сударь, не запаханъ, овсы не засѣяны, греча перепрѣла“, вотъ тебѣ и все; покричитъ, покричитъ, да и перестанетъ; развѣ они дѣло разумѣютъ; имъ что греча, что овесъ, что пшеница— все одно, а про чечевицу и не спрашивай... имъ вотъ только шуры-муры, рюши да трюши, да знай, денежекъ посылай; на это они лакомки“. И, пользуясь этой небрежностью помѣщиковъ, Никита Ѳедоровичъ хозяйничаетъ въ полуразоренномъ имѣніи, беретъ взятки съ мельника, которому мирволитъ, и позволяетъ спаивать народъ, и всѣми способами обогащается на счетъ своего барина.

Задача повѣсти заключалась въ томъ, чтобы тронуть сердце читателя трагической участью Антона, жертвы безправія. Управляющій приказалъ Антону продать послѣднюю лошадь и внести подушныя. Поѣздка горемыки въ городъ, кража его лошади и без-

помощное состояніе мужика — лучшіе эпизоды повѣсти. Судъ, законъ, полиція — все, что могло помочь Антону, все, что питалось каторжнымъ трудомъ его и его собратьевъ, — все это оказалось чуждымъ, неприступнымъ, непонятнымъ и далекимъ въ минуту крестьянскаго горя. „Слушай, Антонъ, коли такъ, вотъ что ты сдѣлай: бѣги прямо въ судъ, никого не слушай, ступай какъ есть въ судъ". И этотъ наивный совѣтъ мужика, и совѣты другихъ мужиковъ, называющихъ наиболѣе извѣстные притоны конокрадовъ, звучатъ насмѣшкой надъ бѣдой Антона. Гдѣ-то существовала чиновная и бюрократическая Россія, поглощавшая плоды труда милліоновъ крестьянъ, гдѣ-то сидѣли чиновники, скрипѣли перья, писались бумаги, раздавались чины и награды, и никому не было вѣдомо, что общаго между этой командующей канцелярской Россіей и той тяжкой повседневностью, которая угнетала стомилліонный народъ. Чувствовалъ ли Григоровичъ, въ чемъ заключалось основное зло? Имѣлъ ли онъ въ виду объявить безпощадную войну крѣпостному праву и безконтрольной бюрократіи и дать выходъ тому настроенію, которое вскорѣ пріобрѣло опредѣленную формулировку въ ушахъ всѣхъ мыслящихъ людей: „отмѣна рабства". Стоитъ прислушаться внимательно къ общему тону повѣстей, мы увидимъ, что онѣ являются не чѣмъ инымъ, какъ однимъ изъ аккордовъ той общей покаянной пѣсни, которую пѣли представители передового барства. Вопросъ объ отмѣнѣ крѣпостного права даже не затрогивается въ повѣстяхъ. Если даже принять въ расчетъ цензурныя искаженія, то и то придется вывести заключеніе, что „Антонъ Горемыка" направленъ не противъ помѣщиковъ, а противъ управляющаго, что авторъ имѣлъ въ виду не столько самый институтъ крѣпостничества, сколько злоупотребленія, возникавшія на его почвѣ. Можно подумать, что Григоровичъ не сознавалъ, что са-

мый фактъ существованія рабства влечетъ за собою, въ качествѣ неизбѣжнаго слѣдствія, и нищету, и побои, и произволъ. Повѣсти Григоровича давали богатый матеріалъ для выясненія необходимости назрѣвшей реформы, онѣ могли служить могучимъ оружіемъ въ рукахъ противниковъ крѣпостного права, ихъ революціонизирующее вліяніе не подлежитъ сомнѣнію. Но едва ли можно спорить о томъ, что самъ авторъ больше былъ занятъ мыслью объ исправленіи помѣщиковъ, о возвращеніи ихъ къ ихъ обязанностямъ въ деревнѣ, чѣмъ мыслью объ уничтоженіи власти помѣщиковъ надъ крестьянами. Онъ писалъ не для угнетаемыхъ, а для угнетателей. Его „Деревня“ преслѣдовала только одну цѣль. Она должна была сказать помѣщикамъ: „не поступайте такъ, какъ поступилъ Иванъ Гавриловичъ, не пропадайте по цѣлымъ годамъ вдали отъ своихъ деревень, живите здѣсь, на мѣстѣ, вдумывайтесь глубже въ нужды и интересы крестьянъ, не относитесь къ нимъ съ той барской небрежностью, съ какой отнесся къ Акулинѣ ея баринъ, и ваши имѣнія будутъ процвѣтать, крестьяне будутъ благоденствовать, и совѣсть ваша будетъ чиста“. Какое другое значеніе могутъ имѣть эти постоянныя указанія на то, что основной причиной всѣхъ несчастій крестьянства является отсутствіе помѣщиковъ, ихъ невниманіе къ нуждамъ своихъ рабовъ. И въ первой, и во второй повѣсти къ этой первопричинѣ сводится трагедія главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Плохо приходилось мужику и тогда, когда господа не заглядывали въ свои усадьбы по цѣлымъ годамъ, и тогда, когда, отвыкнувъ отъ нихъ, они являлись неожиданно, и своимъ случайнымъ вмѣшательствомъ въ жизнь деревни,— вмѣшательствомъ, не основаннымъ на глубокомъ изученіи ея нуждъ,—наносили ей удары. Именно эта идея сквозитъ въ тѣхъ ироническихъ словахъ, въ которыхъ авторъ говоритъ объ Иванѣ Гавриловичѣ. „Ему уже,

правда, давно приходила мысль заглянуть туда (въ свое имѣніе) хоть разъ, посмотрѣть, все ли шло тамъ должнымъ порядкомъ, да какъ-то все не удавалось: то какъ на-зло одолѣютъ ревматизмы, и надо покориться волѣ врача, предписавшаго непремѣнную поѣздку въ Баденъ или Карлсбадъ, а оттуда въ Парижъ, гдѣ, по словамъ врача, только и можно было ожидать окончательнаго выздоровленія; то опять являлись какія-нибудь домашнія обстоятельства: жена родила, или общество, въ которомъ баринъ былъ однимъ изъ любезнѣйшихъ членовъ, переселялось почти на все лѣто въ Петергофъ, или на Каменный Островъ на дачи, или же просто не случалось вдругъ ни съ того, ни съ сего денегъ у нашего барина". Эта же идея слышится и въ словахъ мужиковъ, разсуждающихъ послѣ несчастья, случившагося съ Антономъ: „кабы они (т.-е. господа) здѣсь жили или понавѣдывались, примѣрно, хоть на-время, такъ ина была бы причина".

Если искать положительнаго идеала у Григоровича, то мы увидимъ, что этотъ идеалъ (хотя, быть-можетъ, не такъ ясно, какъ у Толстого) вырисовывается въ видѣ помѣщика-хозяина, въ родѣ Левина,—помѣщика, умѣющаго раціонально вести свое хозяйство, хранящаго въ своей душѣ вѣковую традицію о долгѣ дворянства, какъ руководящаго класса. Какъ ни различны воззрѣнія Тургенева, Толстого и Григоровича, но въ этихъ воззрѣніяхъ есть общая основа: всѣ трое ищутъ исхода въ деревнѣ, въ сложившихся вѣками отношеніяхъ, всѣ трое враждебны или чужды вновь возникающимъ формамъ жизни. У Тургенева крупный предприниматель-буржуа обрисованъ блѣдно; фабрику онъ изрѣдка покажетъ читателю, но какъ нѣчто отдаленное, для него самого еще неясное и неопредѣлившееся; рабочихъ мы не видимъ у Тергенева, если не считать двухъ—трехъ мимоходомъ брошенныхъ фразъ объ ихъ отношеніи къ Соломину. Зато тоску дворян-

ской души, ушедшей отъ земли, рвущейся къ дѣлу, муки дворянина, пытающагося пахать землю, онъ знаетъ и вскрываетъ во всѣхъ самыхъ скрытыхъ тайникахъ. Толстому не только чужды, но враждебны и непріятны новые классы общества, которымъ суждено было исторіей занять мѣсто сходящаго со сцены земледѣльческаго барства. Онъ тенденціозно изображаетъ Рябининыхъ и Болгариновыхъ, въ качествѣ людей, принесшихъ въ міръ идею голаго „чистогана“ на мѣсто идеаловъ труда, на мѣсто нравственныхъ исканій, которыхъ носителями у Толстого всегда являются представители родовитаго и богатаго дворянства. Мучительные вопросы, терзавшіе русское общество, и Тургеневъ, и Толстой стремились разрѣшить въ деревнѣ, игнорируя или не понимая другія общественныя группы. Григоровичъ въ этомъ смыслѣ дополняетъ кругъ идей, въ которомъ вращалось передовое дворянство эпохи.

Авторъ „Деревни“ наполняетъ цѣлыя страницы своихъ романовъ параллельными характеристиками крестьянъ и фабричныхъ, причемъ всѣ его симпатіи на сторонѣ прежняго крѣпостническаго уклада. Характерно, что писатель создавшій „Антона Горемыку“, показавшій безысходный мракъ и безнадежное горе крестьянской жизни, тѣмъ не менѣе боится разстаться съ укладомъ, создавшимъ эти ужасы, когда дѣло доходитъ до рѣшительнаго слова. Онъ съ ненавистью рисуетъ разлагающее вліяніе фабрики на деревню. Казалось бы, послѣ „Деревни“ и „Антона Горемыки“ можно было бы не жалѣть о гибели этого стараго міра. Но, изобразивъ правдиво неприглядную жизнь деревни, Григоровичъ старается удержать этотъ старый міръ, какъ только столкнулся съ новой силой, грозящей ему гибелью. Онъ пишетъ большой романъ изъ деревенской жизни „Рыбаки“, гдѣ излагаетъ результатъ своихъ наблюденій надъ „мужикомъ-фабричнымъ, промѣ-

нявшимъ соху на челнокъ, ниву на станъ, и мужикомъ-пахаремъ, который остался вѣренъ землѣ-кормилицѣ". Вотъ эти результаты: „Первое впечатлѣніе при въѣздѣ въ пахотную деревню будетъ, если хотите, не совсѣмъ выгодно: тутъ не увидите вы ситцевыхъ рубашекъ, самоваровъ, синихъ кафтановъ, не увидите гармоній и смазныхъ сапоговъ; но все это въ сущности одна только пустая внѣшность, которая можетъ обмануть поверхностный, далеко не наблюдательный взглядъ. Взамѣнъ всего этого пахотная деревушка, подобно плоской однообразной нивѣ чернозема, засѣянной свѣжимъ неиспорченнымъ зерномъ, сохраняетъ подъ скромной наружностью самыя добрыя сѣмена. Тутъ только найдете вы ту простую безхитростную жизнь, тотъ *истинно здравый житейскій смыслъ, который заключается въ безусловной покорности и полномъ примиреніи съ скромной долей, опредѣленной Провидѣніемъ;* тутъ видна домашняя, семейная жизнь, которая для всякаго человѣка,— тѣмъ болѣе для простолюдина,— служитъ залогомъ истиннаго счастья". Едва ли нужно доказывать, что Григоровичъ идеализируетъ въ подчеркнутыхъ нами словахъ тѣ же черты, которыя увѣковѣчилъ Тургеневъ въ лицѣ Касьяна и Лукерьи, а Толстой—въ лицѣ Платона Каратаева. Всѣ три писателя, гуманные противники рабства, благородные искатели правды и поборники счастья народнаго, не могли выйти изъ заколдованнаго круга деревни и, можетъ-быть, безсознательно воплощали съ особенной любовью тотъ идеалъ смиренія и покорности, который какъ-разъ выросъ на почвѣ крѣпостническаго строя. Всѣ трое чувствовали, что гдѣ-то создается новый укладъ отношеній, но, воспитавшись въ обстановкѣ усадебной культуры, всѣ трое не отнеслись къ нему съ надлежащимъ вниманіемъ, не поняли, что именно тамъ куются формы будущей жизни, что тамъ нужно искать разрѣшенія мучительныхъ вопросовъ. Тургеневъ не

могъ понять этого новаго міра и кончилъ пессимизмомъ. Толстой отвергъ его, и когда этотъ міръ возникъ на развалинахъ стараго, прошелъ мимо него, объявилъ ложью кипѣвшую внутри его борьбу, его горе и радости, остался одинокимъ сектантомъ, стоящимъ внѣ широкой и шумной дороги жизни. Григоровичъ кончилъ фальшивой идеализаціей крестьянства имъ же описаннаго въ мрачныхъ, но правдивыхъ краскахъ въ его первыхъ произведеніяхъ. „Рыбаки"—яркій примѣръ этого сантиментальнаго народничества. Это—обвинительный актъ противъ зачинающейся промышленной жизни и безсильныя попытки спасти умирающее. Въ фабричныхъ деревняхъ,—говоритъ авторъ „Рыбаковъ",—почти нѣтъ семейной жизни: здѣсь дѣти восьмилѣтняго возраста поступаютъ уже на фабрику къ какому-нибудь московскому или коломенскому купцу. Дурные примѣры губятъ молодое поколѣніе. Рабочіе отвыкаютъ отъ семьи, развратъ свиваетъ себѣ среди нихъ прочное гнѣздо. И въ то же время авторъ чувствуетъ, что „развитіе промышленности сильнѣйшимъ образомъ способствуетъ развитію матеріальнаго благосостоянія народа".

Этой идеей о разлагающемъ вліяніи фабрики проникнутъ романъ „Рыбаки". Всѣ отрицательныя черты рабочаго, какъ онѣ представляются Григоровичу, воплощены въ лицѣ Захара, который оказываетъ гибельное вліяніе на Гришку, пріемыша стараго рыбака Глѣба. Семья Глѣба—образецъ трудовой нравственной семьи, гдѣ все держится прочностью традиціи и семейнаго начала, повиновеніемъ главѣ семьи, Глѣбу, человѣку крутому, но трудолюбивому и сильному. Глѣбъ суровъ только къ праздности и пьянству, но онъ всегда готовъ поддержать работающаго и полезнаго человѣка. И Глѣба боятся всѣ. Даже самъ Захаръ, бравирующій передъ всѣми, робѣетъ передъ Глѣбомъ. Захаръ — „питомецъ фабрики", и его исто-

рія, это—исторія превращенія крестьянскаго мальчика въ негодяя подъ вліяніемъ условій фабричнаго труда. Съ семи лѣтъ до восемнадцати онъ просидѣлъ безвыходно за миткалевымъ станомъ. Когда дядя, „человѣкъ строгій, кредитный“, взялъ его къ себѣ, было уже поздно: Захаръ былъ испорченъ, волокитство и разныя продѣлки были его любимымъ занятіемъ. Не помогла и женитьба, при помощи которой дядя думалъ вернуть парня на истинный путь. Послѣ смерти дяди и жены Захаръ пошелъ снова по фабрикамъ и пріобрѣлъ отвратительныя замашки и самомнѣніе. Онъ занимался своей наружностью, гордился своими „побѣдами надъ прекраснымъ поломъ“, научился хвастаться и имѣлъ особыя наглыя манеры и развязный тонъ. Онъ научилъ Гришку пьянству и разврату, и „польстился, какъ выразился Глѣбъ, на жену его“. И въ противоположность Захару, вносящему деморализацію въ деревню, Ваня, сынъ Глѣба, долженъ воплощать ту народную правду, которая хранится только въ деревнѣ. Ваня жертвуетъ собою ради Гришки, которому уступаетъ любимую дѣвушку Дуню и за котораго идетъ въ солдаты. Когда возмущенный Глѣбъ, уже опредѣлившій мысленно въ солдаты Гришку, чуть не съ кулаками бросается на сына, Ваня говоритъ: „Выслушай меня, батюшка, слова мои, можетъ статься, батюшка, горькими тебѣ покажутся... Я, батюшка, во вѣки-вѣковъ не посмѣлъ бы передъ тобою слова сказать такого; да нужда, батюшка, заставила!.. Я, батюшка, пришелъ переговорить съ тобою о Гришкѣ... Батюшка, что ты дѣлаешь? опомнись... Зачѣмъ же ты тогда воспиталъ его? Затѣмъ ли поилъ, кормилъ, растилъ его, чтобы потомъ за насъ, за сыновей твоихъ, отвѣтъ держалъ... Батюшка, что ты хочешь дѣлать? опомнись. Вѣдь это выходитъ, батюшка, дѣлами добрыми торговать... Не бери, батюшка, тяжкаго грѣха на свою душу!.. Господь благословилъ насъ, берегъ

твой домъ, далъ тебѣ достатокъ... самъ ты сколько разъ говорилъ объ этомъ... Господь отступится отъ насъ за такое дѣло! Достатокъ твой не будетъ тогда Божьимъ благословеніемъ, все пойдетъ прахомъ—все назадъ возьметъ! за то и берегъ „Онъ“ насъ. Самъ же ты говоришь, что жили по правдѣ!“ И не столько въ этой проповѣди сына, сколько въ дѣйствіи, произведенномъ ею на крутого старика, сказывается искусственность и фальшь, столь свойственныя Григоровичу въ его разсказахъ послѣ „Деревни“ и „Антона Горемыки“. Трудно повѣрить, что суровый Глѣбъ, никогда не измѣнявшій своихъ рѣшеній, подъ вліяніемъ словъ сына сдѣлалъ ошибку, имѣвшую гибельныя послѣдствія для всей семьи. Заслуга Вани еще увеличивается тѣмъ, что онъ никому не разсказывалъ о величіи своей жертвы. Никто не узналъ, что Ваня любилъ Дуню, что онъ могъ достичь счастья, потому что родители обоихъ уже рѣшили сосватать ихъ, что онъ уступилъ ее Гришѣ, рѣшивъ не быть имъ помѣхой, и т. д. „Такъ простой русскій человѣкъ совершаетъ всегда великодушные поступки!“ Этими фальшиво звучащими словами заканчиваетъ авторъ разсказъ о жертвѣ Вани. Нѣтъ надобности доказывать, что цѣлые томы подобныхъ восклицаній не могутъ сравниться съ одной фигурой Каратаева въ смыслѣ достиженія тѣхъ цѣлей, которыя преслѣдовалъ авторъ. Критика давно уже установила, насколько искусственны нѣжные и добродѣтельные пейзане Григоровича, и его значеніе въ литературѣ опредѣляется главнымъ образомъ „Деревней“ и „Антономъ Горемыкой“, занимающими почетное мѣсто среди памятниковъ покаянія и тоски передовой части русскаго барства.

Тургеневъ, Толстой и Григоровичъ увѣковѣчили великій моментъ въ исторіи русской общественной мысли. Но характеристика этого момента была бы не-

полна, если бы мы не остановились на другомъ крупномъ теченіи въ русской литературѣ той эпохи. Мы имѣемъ въ виду то эстетическое направленіе, которое тоже звало въ сторону отъ жизни, звало въ міръ фантазіи, по ту сторону земли. Оно имѣло своимъ источникомъ то же недовольство дѣйствительностью, и лучшими представителями его также были отпрыски старинныхъ дворянскихъ фамилій.

Оглавленіе.

Стр.

ОТДѢЛЪ IV.

Кающееся дворянство.— Лишніе люди.—И. С. Тургеневъ.—Л. Н. Толстой.—Д. В. Григоровичъ.

I. Роль дворянства въ литературѣ 40-хъ и 60-хъ годовъ.—Появленіе разночинца въ литературѣ.—Его происхожденіе и міровоззрѣніе.—Зарожденіе крупной буржуазіи.—Идеологія дворянства и отношеніе писателей-дворянъ къ разночинской идеологіи: Тургеневъ.—Эстетическое направленіе: Тютчевъ, Фетъ и Майковъ.—Изображеніе буржуазіи въ литературѣ: Островскій и Гончаровъ.—Роль разночинцевъ въ исторіи развитія русской литературы. 7

II. Тургеневъ. — Впечатлѣнія дѣтства и юности.—Крѣпостное право, усадебная обстановка, университетъ, Бѣлинскій.—«Записки охотника» и аннибалова клятва.—Роль „Записокъ охотника" въ развитіи антикрѣпостническихъ идей. —Разсказы, проникнутые духомъ протеста противъ крѣпостного права.—Разсказы, освѣщающіе лучшія черты русскаго крестьянства, его идеализмъ, его нравственныя представленія и творческую силу . 24

III. „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда" и „Дневникъ лишняго человѣка". — Происхожденіе и міросозерцаніе „лишняго человѣка".—„Рудинъ".— Настроеніе, господствующее въ этомъ романѣ.—Гегеліанство Рудина. — Воспитаніе и исторія Рудина.—Праздность и кружки.—Паѳосъ и краснорѣчіе Рудина.—Его практическія попытки и безсиліе. —Отношеніе автора къ герою и роль Рудиныхъ въ жизни. —„Дворянское гнѣздо", какъ лучшее выраженіе тургеневскихъ настроеній.—Воспитаніе Лаврецкаго. — Практическая дѣятельность Лаврецкаго.—Дала ли она ему удовлетворені ? . . 50

IV. Тургеневъ и Віардо.—Разрывъ съ русскимъ обществомъ.—Примиреніе съ обществомъ и послѣдніе годы жизни.—Общее настроеніе, которымъ проникнутъ романъ „Накануне". — Инсаровъ среди русскихъ интеллигентовъ.—Характеристика Инсарова.—Заглавіе романа.—Происхожденіе „Отцовъ и дѣтей", отношеніе Тургенева и критики къ Базарову.—„Отцы": Павелъ Петровичъ Кирсановъ. — Міросозерцаніе Базарова и характеръ его.—Послѣдователенъ ли онъ?—Общее настроеніе, царящее въ „Отцахъ и дѣтяхъ" 73

Стр.

V. Новыя теченія среди русской интеллигенціи и молодежи, возникшія съ началомъ реакціи. — Отношеніе къ нимъ Тургенева.—Реакціонная Россія и интеллигенція въ „Дымѣ".—Правильно ли изобразилъ ихъ Тургеневъ.—Положительные идеалы и отрицаніе Потугина.—Изображеніе революціонныхъ кружковъ въ романѣ „Новь". — Нежданов. Соломинъ.—Женщины у Тургенева: Лиза, Наталья, Елена, Маріанна.—„Стихотворенія въ прозѣ", какъ самое яркое выраженіе души Тургенева и его общаго настроенія. 96

VI. Л. Н. Толстой и человѣчество.—Великое недоразумѣніе между ними.—Толстой и усадебная культура.—Вопросъ о „переворотѣ" въ міросозерцаніи Толстого.—Біографія и исторія душевнаго развитія Толстого.—„Дѣтство, отрочество и юность". — Общій характеръ повѣсти. — Николенька Иртеньевъ.—Черты свѣтскаго человѣка въ немъ.—Его характеръ, наблюдательность, совѣстливость, самолюбіе, застѣнчивость, воображеніе, склонность къ анализу.—Типы изъ народа.—„Утро помѣщика". Нехлюдовъ.—„Казаки". Оленинъ 124

VII. „Война и миръ", какъ глубочайшее выраженіе нравственныхъ воззрѣній Толстого.—Наполеонъ.—Кутузовъ.—Платонъ Каратаевъ. — Исторія душевнаго развитія князя Андрея Болконскаго и Пьера Безухова. — Изображеніе высшаго дворянства въ „Аннѣ Карениной". — Его упадокъ.—Каренинъ.—Облонскій.—Графъ Вронскій.—Левинъ, какъ выразитель идеаловъ Толстого.—Сравненіе женскихъ типовъ у Тургенева и Толстого.—Идеалъ женщины у Толстого. Заключеніе. . . 164

VIII. Д. В. Григоровичъ. — Впечатлѣнія дѣтства: ужасы крѣпостного права, французскіе уроки, камердинеръ. — Литературныя знакомства и вліянія. — Исторія появленія „Деревни" и „Антона Горемыки" отзывъ Бѣлинскаго объ этихъ повѣстяхъ. — Фальшивый тонъ въ послѣдующихъ произведеніяхъ Григоровича.—Главныя черты, отличающія повѣсти „Деревня" и „Антонъ Горемыка": пессимизмъ и реализмъ.—Изображеніе помѣщиковъ и семейной жизни крестьянина въ „Деревнѣ". — Безправіе и нужды крестьянства въ повѣсти „Антонъ Горемыка".—Рыбаки".— Заключеніе 202

Указатель источниковъ.

Полное собраніе сочиненій И. С. Тургенева въ 12 томахъ. СПБ. Изд. Маркса. 1898 г.

Н. М. Гутьяръ. Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Юрьевъ. 1907 г.

А. Е. Грузинскій. Къ исторіи „Записокъ охотника" (въ „Лит. Оч.". М. 1908 г.).

Первое собраніе писемъ И. С. Тургенева. СПБ. 1885 г.

Иностранная критика о Тургеневѣ. Пер. *Е. И. Ш.* Изд. 2-е.

Проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскій. Этюды о творчествѣ Тургенева. СПБ. 1904 г. Изд. 2-е.

И. И. Ивановъ. И. С. Тургеневъ. Жизнь, личность, творчество.

К. Я. Стечькинъ. Изъ воспоминаній объ И. С. Тургеневѣ (съ прилож. семи его неизд. писемъ). СПБ. 1903 г.

И. С. Тургеневъ. Неизданныя письма къ г-жѣ Віардо и его французскимъ друзьямъ. М. 1900 г.

В. П. Батуринскій. Герценъ и Тургеневъ („Герценъ, его друзья и знакомые". СПБ. 1904 г.).

А. К. Бороздинъ. И. С. Тургеневъ („Литературныя характеристики. Т. II. В. II. СПБ. 1907 г.).

Н. Страховъ. Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ (1862—1865 гг.). Кіевъ. 1901 г.

Сочиненія графа Л. Н. Толстого. Изданіе одиннадцатое. М. 1903 г.

Левъ Николаевичъ Толстой. Біографія. Т. I. По неизданнымъ матеріаламъ составилъ *П. Бирюковъ.*

П. Бирюковъ. Л. Н. Толстой (къ 80-лѣтнему юбилею). Изд. „Посредника". М. 1908 г.

Н. К. Михайловскій. Критическіе опыты. Гр. Л. Н. Толстой. СПБ. 1887 г.

А. Скабичевскій. Графъ Л. Н. Толстой какъ художникъ и мыслитель. СПБ. 1887 г.

Л. Н. Толстой, его философскія и нравственныя идеи. Критическій этюдъ *Л. Е. Оболенскаго.* Изд. 2-е. СПБ. 1887 г.

М. С. Громека. О Толстомъ. Критическій этюдъ по поводу романа „Анна Каренина". Изд. 5-е. М. 1894 г.

Л. Толстой и Достоевскій. *Д. С. Мережковскаго.* Т. I. СПБ. 1901 г. Т. II. СПБ. 1902 г.

Л. Н. Толстой. Монографія *Андреевича.* СПБ. 1905 г.

Левенфельдъ. Гр. Л. Н. Толстой, его жизнь и сочиненія. М. 1897 г.

Евгеній Цабель. Графъ Левъ Николаевичъ Толстой. Переводъ съ нѣмецкаго В. Григоровича. Кіевъ. 1903 г.

Проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскій. Левъ Николаевичъ Толстой. Къ 80-лѣтію великаго писателя. СПБ. 1908 г.

Проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскій. Л. Н. Толстой какъ художникъ. Изд. 2-е. СПБ. 1905 г.

Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Собралъ *В. Зелинскій.* Части I, II, III. Изд. 3-е. М. 1903—1905 гг. Части IV, V, VI, VII. Изд. 2-е. М. 1902—1906 гг.

Полное собраніе сочиненій Д. В. Григоровича. Въ 12 томахъ. СПБ. Изданіе Маркса. 1896 г.

А. К. Боровъ'инъ. Д. В. Григоровичъ. Въ „Лит. характеристикахъ" Томъ II. Вып. II. СПБ. 1907.

Книгоиздательство „ЗАРЯ“.

Москва, книжн. маг. „Сотрудникъ Провинціи“, уг. Тверского бульвара и М. Бронной, д. № 1. Телеф. 27-96.

Ю. Айхенвальдъ.

ОТДѢЛЬНЫЯ СТРАНИЦЫ.

Сборники педагогическихъ, философскихъ и литературныхъ статей.

ВЫПУСКЪ I.

СОДЕРЖАНІЕ: Шопенгауэръ о дѣтяхъ. — Очеркъ педагогическихъ воззрѣній Фихте. — О воспитаніи Д. С. Милля.—В. Гюго какъ поэтъ семьи и дѣтей.—Памяти Ушинскаго.—Предисловіе къ русск. переводу книги Элленъ Кей „Вѣкъ ребенка“.—Чувства пола у дѣтей.—О застѣнчивости.—Изъ мыслей Гете и о Гете.—Вл. Соловьевъ.—Очеркъ этическ. воззрѣній Н. Я. Грота.

Цѣна 1 р. 25 к.

ВЫПУСКЪ II.

СОДЕРЖАНІЕ: Педагогическій идолъ.—Р. Гильдебрандъ о преподаваніи родного языка.—Замѣтка о Рескинѣ.—Книга Фолькельта о Шопенгауэрѣ. — Брандъ философіи — Киркегоръ. — Монотеизмъ и любовь.—О Ницше.—Эдг. По.—Авель убивающій.—О книгѣ Радищева „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“.—Мережковскій о Лермонтовѣ.—Смѣшная смерть (Къ открытію памятника Гоголю).—Памяти Кольцова.—Письма Чехова.—Замѣтки о разныхъ книгахъ.

Цѣна 1 р. 25 к.

КРИТИЧЕСКІЕ АЛЬМАНАХИ

Книга I.

СОДЕРЖАНІЕ: „Оскаръ Уайльдъ“ *Ю. И. Айхенвальда.* — „Наши литературн. кумиры: Ст. Пшибышевскій. Мор. Метерлинкъ“ *П. С. Когана.*— „Дж. Рсденбахъ“ *Н Я. Абрамовича.*—„Ст. Пшибышевскій“. Литер. характеристика. *В. Фельдмана.* Перев. *Я. Мацкевича.*—„Ан. Франсъ“ *Г. Брандеса.*— „Арт. Шницлеръ“ *Г. Брандеса.* Перев. *А. Койранскаго.*—„Казимиръ Тетмайеръ“. Литер. характ. *Е. Заюрскаго.*—„Германъ Бангъ“ *Г. Брандеса.* Перев. *А. Койранскаго.*—„Г. д' Аннунціо“ *Г. Брандеса.* Пер. *А. Койранскаго.*—„Ст. Выспянскій“. Крит. этюдъ *Вл. Высоцкаго.*—„Кн. Гамсунъ“ *Ш. Горелика.* Пер. *Я. Бера.*

Цѣна 1 р.

Книга II.

СОДЕРЖАНІЕ: „Ш. Бодлеръ. „Цвѣты зла“. *Ю. Айхенвальда.*—„Б. Зайцевъ“. Очеркъ *П. С. Когана.*— „А. Стриндбергъ“. Патол. этюдъ *С. Рамера.* Пер. *С. Чериковера.* „М. Метерлинкъ“ *І. Шлаффа.* Пер. *С. Чериковера.*—„Эм. Зола“ *Г. Сенкевича.* Пер. *И. Хвойника.* „Г. Ибсенъ“ *Г. Брандеса.* Пер. *С. Чериковера.*—„Ст. Пшибышевскій“. Пер. *И. Хвойника.*— „В. Сѣрошевскій“. Очеркъ *В. Фельдмана.* Перев. *И. Хвойника.*

Цѣна 1 р.

Юбилейный Чеховскій сборникъ

СОДЕРЖАНІЕ: „Человѣческій путь". **Н. А. Абрамовича** — „Антонъ Чеховъ". **А. Волынскаго.**—„Безъ крыльевъ". **М. Невѣдомскаго.** — „А. П. Чеховъ". **В. Розанова.** — „Бытъ, событія и небытіе". **Д. Философова.**

Обложка художн. **Ю. Артамонова.**

Цѣна 1 руб.

Критическая Библіотека

№ 1. Ю. Айхенвальдъ.—**Валерій Брюсовъ.** Съ портр. Ц. **20** к.
№ 2. С. Рамеръ.—**Августъ Стриндбергъ** (Патологич. очеркъ). Ц. **30** к.
№ 3. Н. Я. Абрамовичъ.—**Кнутъ Гамсунъ.** Ц. **20** к.
№ 4. Н. Я. Абрамовичъ.—**Фридрихъ Ницше.** Ц. **20** к.
№ 5. П. Минскій.—**I. Толстой и реформація. II. Идеи „Саломеи".** Ц. **20** к.
№ 6. Зин. Венгерова.—**Анатоль Франсъ.** Ц. **20** к.
№ 7. Л. Козловскій.—**Вл. Короленко.** Ц. **20** к.
№ 8. Георгъ Брандесъ.—**Генрихъ Ибсенъ.** Ц. **20** к.
№ 9. Іосифъ Шлафъ.—**Морисъ Метерлинкъ.** Ц. **20** к.

Собраніе соч. В. Бельше.

ТОМЪ I.

СОДЕРЖАНІЕ: Религія нашего времени.—Въ нѣдрахъ земли.—Гибель міра.—Тайна южнаго полюса.

Переводъ С. М. Чериковера и Я. Д. Мацкевича.

Цѣна 1 руб.

ТОМЪ II.

СОДЕРЖАНІЕ: Пять сказокъ жизни. — Непостижимое въ природѣ.—У берега моря.—Окаменѣвшее животное и живая мысль.

Переводъ С. М. Чериковера.

Цѣна 1 руб.

ТОМЪ III.

СОДЕРЖАНІЕ: Гибель животнаго царства.—Зачатки культуры у животныхъ.—Языкъ обезьянъ.—Сказки о драконахъ.—Опровергнутъ ли дарвинизмъ?

Переводъ С. М. Чериковера.

Цѣна 1 руб.

ТОМЪ IV.

СОДЕРЖАНІЕ: Тайна одного растенія.—Продолжительность существованія жизни на землѣ. — Кухня первобытнаго времени. — Вейсманъ и дарвинизмъ.

Переводъ С. М. Чериковера.

Цѣна 1 руб.

Готовится къ печати V томъ.